

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2017

№ 50

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Индексируется в БД Scopus и
Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index

**Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»**

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Аизикова (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Ю.М. Ершов (Томск, Россия) – зам.
главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) – отв.
секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)

**Editorial Board of the
Tomsk State University
Journal of Philology**

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) – Editor-in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Tomsk, Russia) – Deputy Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) – Executive Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) – Deputy Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)

**Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»**

Дж.Ф. Бейлин (Стони-Брук, США)
Е.Л. Березович (Екатеринбург, Россия)
Е.Л. Вартanova (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)
М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)

**Editorial Council of the
Tomsk State University
Journal of Philology**

J.F. Bailyn (Stony Brook, US)
E.L. Berezovich (Yekaterinburg, Russia)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, UK)
M.N. Lipovetsky (Boulder, US)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, US)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Арсентьева Е.Ф., Арсентьева Ю.С. Расширенная метафора как один из типов окказионального использования фразеологизмов-эвфемизмов: экспериментальное исследование	5
Гынгазова Л.Г., Иванцова Е.В. Трансформация сибирской пищевой традиции в дискурсе диалектной языковой личности: напитки.....	17
Демешкина Т.А., Тубалова И.В. Диалектный дискурс как сфера реализации национальной культуры: константы и трансформации.....	36
Дурягин П.В. Неполная нейтрализация как результат ассимиляции мягких «свистящих» «шипящими» в позиции внешнего сандхи в русском языке	55
Ефанова Л.Г. Семантика нормы прогнозируемости в высказываниях с дискурсивными словами	70
Морозова И.С., Смольянина Е.А. Особенности политической научной метафоры (на материале научной статьи А.Дж. Грегора «Корни революционной идеологии»).....	87
Резанова З.И., Ершова Е.Ю. Влияние грамматического рода на концептуализацию объектов (экспериментальное исследование)	104
Урманчеева И.С. Ритмико-рифмическая организация как проявление конструктивной вариантиности печорских и общерусских фразеологизмов.....	125
Чернявская В.Е. Методологические возможности дискурсивного анализа в корпусной лингвистике	135

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Волков И.О., Жилякова Э.М. Драматическая природа повести И.С. Тургенева «Степной Король Лир» (по материалам рукописного наследия)	149
Горенинцева В.Н., Губайдуллина А.Н. Новая модель «значимого взрослого» во внутрисемейных отношениях (по материалам современной российской прозы для детей и подростков).....	176
Ковалев П.А., Струкова Т.В. «Две загадки» Фридриха Шиллера в переводе В.А. Жуковского.....	188
Королева С.Б. Русская литература в издательской политике «Хогарт Пресс» (1920–1930-е гг.)	197
Плеханова И.И. Принцип неопределенности в применении к поэтическому мышлению Екатерины Боярских.....	209
Tulyakov D.S. «The Attempt at Objectivity»: Modernism in Wyndham Lewis's Autobiography	224
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	236

CONTENTS

LINGUISTICS

Arsenteva E.F., Arsenteva Yu.S. Extended metaphor as one of the types of occasional use of phraseological euphemisms: an experimental study	5
Gyngazova L.G., Ivantsova E.V. Transformation of Siberian food tradition in the discourse of a dialect language personality: drinks.....	17
Demeshkina T.A., Tubalova I.V. Dialect discourse as a sphere of national culture representation: constants and transformations	36
Duryagin P.V. Incomplete neutralisation as a result of place assimilation of palatalised sibilants at word boundaries in Modern Standard Russian.....	55
Efanova L.G. The semantics of the norm of predictability in statements with discursive markers	70
Morozova I.S., Smolianina E.A. Specificity of scientific political metaphor (a case study of A.J. Gregor's scientific article "The Roots of Revolutionary Ideology").....	87
Rezanova Z.I., Ershova E.Yu. The influence of the grammatical gender on the conceptualisation of objects (an experimental study).....	104
Urmancheeva I.S. Rhythm and rhyme organisation as manifestation of constructural variability of Pechora and all-Russian phraseological units.....	125
Chernyavskaya V.E. Towards methodological application of discourse analysis in corpus-driven linguistics.....	135

LITERATURE STUDIES

Volkov I.O., Zhilyakova E.M. The dramatic nature of the story "A Lear of the Steppes" by I. Turgenev (according to the manuscript heritage)	149
Gorenintseva V.N., Gubaidullina A.N. A new model of a "significant adult" in the intra-family relationships (based on modern Russian prose for children and young adults).....	176
Kovalev P.A., Strukova T.V. "Two Riddles" of Friedrich Schiller in V.A. Zhukovsky's translation	188
Koroleva S.B. Russian literature in the publishing policy of the Hogarth Press (1920s–1930s).....	197
Plekhanova I.I. The indeterminacy principle in the application to Catherine Boyarskikh's poetic mentality	209
Tulyakov D.S. "The Attempt at Objectivity": Modernism in Wyndham Lewis's Autobiography	224
INFORMATION ABOUT THE AUTHORS	236

ЛИНГВИСТИКА

УДК 81'373.7

DOI: 10.17223/19986645/50/1

Е.Ф. Арсентьева, Ю.С. Арсентьева

РАСШИРЕННАЯ МЕТАФОРА КАК ОДИН ИЗ ТИПОВ ОККАЗИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ- ЭВФЕМИЗМОВ: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В статье представлены результаты экспериментального исследования одного из наиболее сложных типов окказионального использования английских фразеологизмов-эвфемизмов – расширенной метафоры. Дается краткая история экспериментального изучения фразеологических единиц отечественными и зарубежными лингвистами, выделяются характерные особенности фразеологизмов-эвфемизмов. Описываются дизайн, гипотеза, цель проведенного комплексного эксперимента. На основе полученных в ходе эксперимента данных определяются основные требования для успешного использования расширенной метафоры не носителями языка.

Ключевые слова: фразеологизм-эвфемизм, окказиональное использование, типы трансформаций, расширенная метафора, метафорический перенос значения.

Конец шестидесятых годов прошлого столетия считается датой начала изучения контекстуального употребления фразеологических единиц (ФЕ). Первым из отечественных ученых, который начал исследование окказиональных изменений ФЕ в контексте, был выдающийся российский ученый А.В. Кунин [1–3]. Именно благодаря ему в научный оборот впервые были введены лингвистические термины «узуальное употребление» и «окказиональное употребление» фразеологических единиц и определены три типа фразеологического контекста. Первый из них – внутрифразовый – включает фразеологизм и его актуализатор, выраженный словом или словосочетанием в составе простого или сложного предложения. Фразовый контекст включает ФЕ и актуализатор, выраженный предложением. Последний тип контекста – сверхфразовый – представляет собой сложное синтаксическое целое, состоящее из предложений, объединенных в смысловом и синтаксическом отношении.

Несмотря на то, что существуют определенные расхождения в терминологии, используемой исследователями фразеологического материала, большинство ученых выделяют два основных способа контекстуального употребления фразеологических единиц: употребление контекстуально нетрансформированных ФЕ и использование контекстуально трансформированных фразеологизмов. К первому способу относится использование фразеологических единиц в контексте в их основной, словарной форме. Второй способ подразумевает трансформации различного типа при окказиональном употреблении ФЕ.

Абсолютное большинство исследований окказионального использования фразеологических единиц выполнено на материале различного рода текстов (художественных, публицистических, креолизованных). Поскольку наше исследование базируется на материале, полученном в ходе экспериментального изучения окказионального поведения фразеологических единиц, представим краткий экскурс в его историю.

Впервые к экспериментальному изучению фразеологизмов (по терминологии американских ученых, идиом) в дискурсе обратились американский исследователь Р.Г. Гиббс и его коллеги в Университете Калифорнии в Санта Круз в конце восьмидесятых годов двадцатого века [4, 5]. Ученых в первую очередь интересовало синтаксическое поведение английских идиом с точки зрения психолингвистики. В проведенных шести экспериментах студентам – носителям языка были представлены предложения с уже осуществленными тремя типами трансформаций: вклиниванием прилагательных и наречий, пассивизацией (использование глагольных идиом в страдательном залоге) и грамматическими трансформациями основной формы идиом (использование идиом в функции причастия настоящего времени). Целью эксперимента американских ученых было доказательство так называемой «гипотезы разложения идиом», которая подразумевала, что «способность» идиом, имеющих переосмыщенное значение, к синтаксическим трансформациям в значительной степени зависит от их внутренней семантики и компонентного состава. Данная гипотеза была убедительно доказана в результате проведенного эксперимента. Также было определено, что идиомы с прозрачной внутренней формой легко подвергаются различного рода трансформациям в отличие от непрозрачных идиом, в свою очередь, тип образности переосмыщленных словосочетаний не влияет на их трансформационные способности.

Дальнейшие эксперименты, проведенных Р.Г. Гиббсом и его коллегами в том же университете на материале пословиц с переосмыщленным значением, дали ученым основание утверждать, что прямое значение прототипа идиом, равно как и процессы метафорического переосмысления, играют значительную роль в процессе восприятия их значения носителями языка при трансформациях различного рода [6]. Таким образом, было экспериментально доказано, что метафоры, которые лежат в основе образного переосмысления идиом как со структурой предложений, так и со структурой словосочетаний, являются живыми для носителей языка и представляют значительную часть их концептуальной системы.

Дальнейшее экспериментальное изучение окказионального употребления фразеологических единиц разноструктурных языков продолжено в трудах казанских ученых.

Так, А.Р. Абдуллинав числе других задач ставит задачу выявления ключевых компонентов ряда фразеологизмов английского и русского языков со структурой словосочетания при их контекстуальных трансформациях с помощью лингвистического эксперимента, проведенного в Казанском государственном университете [7]. Основываясь на достижениях зарубежных и отечественных исследователей, указывающих на то, что ключевые слова (слово) несут на себе основную часть значения фразеологической единицы, в то время как остальные компоненты ФЕ определяют только дополнительную ин-

формацию [8–13], А.Р. Абдуллина смогла доказать, что самыми действенными и востребованными типами окказиональных трансформаций ФЕ для определения их ключевых компонентов являются замена компонента (компонентов) и эллипсис. Полученные в ходе эксперимента примеры свидетельствуют о том, выделенные ключевые компоненты воссоздают законченный образ, лежащий в основе английских и русских фразеологизмов.

Определение ключевых компонентов (компонента) восьми широко распространенных в английском языке пословиц со структурой предложения с помощью лингвистического эксперимента представлено в статье Е.Ф. Арсентьевой и Ю.С. Арсентьевой [14]. Результаты эксперимента, в котором были задействованы такие виды трансформации ФЕ, как замена компонента/компонентов, эллипсис и фразеологическая аллюзия, еще раз подтвердили тот факт, что ключевые компоненты (компонент) действительно представляют собой «носители» образа и значения пословицы, поскольку именно благодаря им в сознании реципиента возникает образ, лежащий в основе самой пословицы. Полученные результаты доказали, что когнитивный потенциал и знания не носителей английского языка (студентов Казанского федерального университета – будущих специалистов в области данного языка) являются вполне достаточными для определения ключевого компонента/компонентов иноязычной пословицы при условии достаточно высокого уровня владения английским языком и понимания механизмов окказиональных трансформаций фразеологических единиц. Большое значение также имеет вывод об определении зависимости трансформационных возможностей ФЕ от количества ее компонентов: чем больше количество компонентов фразеологизма, что характерно для пословиц со структурой предложения в отличие от других классов ФЕ, тем выше его трансформационный потенциал.

Результаты экспериментального изучения ряда образных английских и русских фразеологических единиц, являющихся по отношению друг к другу фразеологическими соответствиями – эквивалентами и аналогами, с точки зрения их когнитивного потенциала представлены в статье Е.Ф. Арсентьевой и Е.Ю. Семушиной [15]. В эксперименте были задействованы как носители, так и не носители двух языков – студенты Казанского федерального университета, будущие специалисты в области английского языка. При проведении данного эксперимента был использован самый сложный тип трансформации ФЕ – расширенная метафора. Именно сложность механизма создания расширенной метафоры повлияла на полученные результаты: в качестве необходимых требований учеными указываются не только достаточно высокий уровень владения информантами иностранным языком, но и хорошее знание данного типа окказиональной трансформации ФЕ, включающего в себя когнитивное развертывание основного образа и подобразов для обеспечения непрерывности фразеологической цепи.

Одна из глав кандидатской диссертации Л.М. Зинатуллиной также была посвящена описанию результатов проведенного лингвистического эксперимента в Казанском федеральном университете. Экспериментальному анализу были подвергнуты шесть типов окказиональных трансформаций адвербиальных фразеологических единиц в английском и русском языках: замена компонента/компонентов, добавление компонента/компонентов, в том числе

вклинивание, фразеологический разрыв, фразеологический повтор, расширенная метафора, фразеологическое насыщение контекста [16]. Результаты эксперимента наглядно свидетельствуют о том, что метафоры, лежащие в основе метафорического переосмыслиения ФЕ такого достаточно обширного грамматического класса единиц, как адвербиальные, являются «живыми» не только для носителей языка (что уже было подтверждено американскими учеными), но и для его не носителей. Важным выводом также можно считать сходство когнитивных механизмов создания указанных выше шести типов трансформаций фразеологических единиц в английском и русском языках.

Результаты экспериментального исследования контекстуального поведения фразеологических единиц с колоративным компонентом в английском и турецком языках представлены во второй главе кандидатской диссертации Я.А. Быйык [17]. В работе были использованы следующие типы окказионального употребления ФЕ: фразеологический каламбур, добавление компонента/компонентов, вклинивание, разорванное использование ФЕ, замена лексического компонента/компонентов, эллипсис, фразеологическая аллюзия, фразеологический повтор, расширенная метафора, фразеологическое насыщение контекста. Впервые фактический материал был получен не от студентов, а от преподавателей вузов, а именно преподавателей университета Коджаэли Республики Турция, носителей турецкого и английского языка, которые работают в университете на кафедре современного английского языка, а также преподавателей английского языка ряда американских университетов. Все информанты предварительно были хорошо ознакомлены с различными способами окказиональных трансформаций ФЕ. В то же время результаты эксперимента показали определенные различия, обусловленные в первую очередь экстралингвистическими факторами. Так, для носителей турецкого языка неодолимую трудность составили такие виды трансформаций, как фразеологический разрыв, фразеологическая контаминация и расширенная метафора, примеры данных трансформаций не были созданы в турецком языке. Последний тип трансформации – расширенная метафора. В силу своей значительной сложности она вызывает особый интерес: «Анализ приведенных примеров расширенной метафоры, представленной информантами – носителями английского языка, наглядно продемонстрировал, что для успешного ее создания необходимо наличие у информантов образного и ассоциативного мышления, умение одновременного прочтения прямого и переносного значения фразеологической единицы, понимание механизма расширения основного метафорического образа фразеологизма и создание на его основе подобраза (подобразов), объединенных в одну метафорическую цепь» [17. С. 106–107].

Фразеологическая игра слов и расширенная метафора как два наиболее сложных и «могущественных» способа окказионального использования английских фразеологизмов-эвфемизмов, обозначающих увольнение с работы, были рассмотрены в статье Е.Ф. Арсентьевой и Ю.С. Арсентьевой [18]. Экспериментальное изучение фактического материала позволило ученым прийти к следующему выводу: не носители языка также способны иметь двойное «видение» метафоры, лежащей в основе метафорического переосмыслиения фразеологизма-эвфемизма, и распространять ее с помощью ассоциативных

метафор. Необходимыми требованиями для получения успешных результатов эксперимента являются следующие: высокий уровень владения иностранным языком (не ниже Upper Intermediate), подразумевающий достаточный словарный запас и глубокое знание «структур» языка, знание когнитивных механизмов создания фразеологической игры слов и расширенной метафоры, творческое мышление.

Для того чтобы перейти непосредственно к изложению результатов исследования, необходимо прояснить понятие термина фразеологизм-эвфемизм. «В лингвистической науке эвфемизм определяют как замену слова или выражения грубого, неприемлемого по той или иной причине словом или выражением мягкой или завуалированной коннотации. В целом ученые единодушны в определении экстралингвистической природы эвфемизмов. Эвфемия рассматривается ими как сложное и многогранное языковое явление, имеющее три взаимосвязанных аспекта: социальный, психологический и собственно лингвистический» [18. С. 38].

Фразеологическую эвфемизацию рассматривают в настоящее время как замену грубых, неприемлемых по той или иной причине слов и выражений фразеологическими единицами более мягкой или завуалированной номинации. Как указывает Ю.С. Арсентьева, фразеологизмы-эвфемизмы (ФЭ) представляют собой сложные языковые единства, объединяющие характерные особенности как фразеологических, так и эвфемистических единиц. Как фразеологизмам им присущи переосмысленность значения, раздельнооформленность, стабильность (лексическая и грамматическая) с возможностью контекстуальных трансформаций, образность и высокая значимость коннотации в структуре их фразеологического значения. Как эвфемизмы они представляют собой единицы косвенной номинации, главная цель которой – смягчение и вуалирование табуированных или социально и морально порицаемых денотатов реальных [18].

Поскольку в данной статье рассматриваются результаты эксперимента, полученные при использовании только одного вида оккциональных преобразований английских фразеологизмов-эвфемизмов – расширенной метафоры, представим краткий обзор литературы вопроса.

Впервые расширенная метафора (*extended metaphor*, по терминологии автора) была подвергнута детальному анализу в монографии латышского исследователя А. Начисчоне, вышедшей в свет в 2001 г. [10]. В 2010 г. появляется вторая ее монография, значительное место в которой уделено рассмотрению данного типа оккционального употребления английских ФЕ [11]. В обеих монографиях механизм создания расширенной метафоры рассматривается с точки зрения когнитивистики и дискурсивного анализа. На большом количестве иллюстративного материала А. Начисчоне убедительно доказала, что расширенная фразеологическая метафора заключается в создании подобразов или добавочных образов (*subimages*), группирующихся вокруг базовой метафоры ФЕ, основанной на метафорическом переносе значения. Важным в создании расширенной метафоры является то, что в развитии подобразов одновременно задействовано переносное значение фразеологизма и прямое значение его прототипа. В результате возникает метафорическая цепь, включающая в себя базовую метафору и группирующиеся вокруг нее

подобразы (подобраз), связанные с базовой метафорой. А. Начисчионе особое внимание обращает на то, что именно ассоциативное мышление человека делает возможным создание такого сложного когнитивного механизма.

В дальнейшем данный тип окказионального использования ФЕ стал объектом изучения ученых Казанской лингвистической школы. Расширенная метафора была подвергнута детальному исследованию в коллективной монографии, вышедшей в 2009 г. [19], а также в ряде кандидатских диссертаций [16, 17]. В результате анализа использования расширенной метафоры в художественных произведениях отечественных, английских и американских авторов Ю.С. Арсентьева отмечает: «Наиболее ярким и стилистически насыщенным средством окказионального использования фразеологизмов-эвфемизмов как в английском, так и в русском языке является расширенная метафора» [18. С. 154]. В то же время расширенная метафора представляет собой достаточно редко употребляемый тип окказионального использования фразеологических единиц в силу сложности когнитивных процессов, лежащих в ее основе.

В проведенном нами комплексном эксперименте, включающем разные виды экспериментов (естественный, преобразующий, открытый и мысленный), приняли участие студенты третьего курса Казанского федерального университета – будущие специалисты в области английского языка, прослушавшие курс специализации «Основы английской фразеологии». Дизайн эксперимента включал ряд шагов: установление цели и гипотезы эксперимента, обеспечение условий для получения достоверных результатов, постановка правильной задачи, точное определение результатов, которые могут быть измерены количественно. Целью проведения эксперимента явилось определение основных требований, необходимых для успешного выполнения студентами не носителями языка наиболее сложного вида окказионального использования английских фразеологизмов-эвфемизмов. Гипотеза эксперимента была определена нами следующим образом: три основных фактора лежат в основе успешного использования расширенной метафоры: достаточно высокое знание иностранного языка не носителями языка, понимание механизма создания расширенной метафоры, хорошо развитое логическое и образное мышление.

Эксперимент проводился в конце учебного года, уровень знаний (по результатам тестов и международных экзаменов FCE и TOEFL, ежегодно проводимых Лингвистическим центром Казанского федерального университета, был следующим: 88% Higher Intermediate, 12% Intermediate. Число участников эксперимента – 36, так как в эксперименте приняли участие студенты, специализирующиеся только в области лингвистики (а не литературоведения). Поскольку курс «Основы английской фразеологии» включает 18 лекционных и семинарских часов, посвященных изучению окказионального использования фразеологических единиц, информанты уже были ознакомлены с механизмами окказиональных трансформаций фразеологических единиц и апробировали их на семинарских занятиях на ряде примеров, взятых из художественных произведений английских и американских писателей. Нами еще раз были проработаны со студентами механизмы создания расширенной метафоры, которые включают одновременное использование ряда сложных

когнитивных процессов, указанных А. Начисчионе: фразеологической игры (phraseological pun) прямого значения прототипа и переносного значения фразеологизма, умения на базе прямого значения компонента (компонентов) ФЕ или всего фразеологизма построить подобраз (подобразы), развивающие и интенсифицирующие значение всей фразеологической единицы [10, 11]. Данные три фактора способствовали обеспечению условий для получения достоверных результатов эксперимента. Перед информантами была поставлена задача создать десять примеров употребления расширенной метафоры, используя восемь английских фразеологизмов-эвфемизмов. Отводимое внеурочное время на создание примеров – 2 часа, что было предварительно оговорено с информантами.

Приведем список восьми английских фразеологизмов-эвфемизмов, используемых для эксперимента, все они относятся к фразеосемантической группе, обозначающей бедность, тяжелое материальное положение:

be in Queer Street – иметь финансовые трудности, неприятности; быть в долгах;

live from hand to mouth – 2) кое-как перебиваться, еле сводить концы с концами; влечь полуголодное существование;

not to have a shirt to one's back – впасть в крайнюю нищету;

not <to have> a penny to bless oneself with – не иметь гроша за душой;

without a penny to one's name – не иметь гроша за душой;

keep body and soul together – жить впроголодь, с трудом поддерживать существование, еле перебиваться, еле сводить концы с концами;

make <both, two> ends meet – сводить концы с концами;

fall on evil days – впасть в нищету, бедствовать; влечь жалкое существование; = черные дни наступили.

Все полученные результаты были обработаны нами и измерены количественно для выяснения правильного использования механизма создания расширенной метафоры не носителями английского языка. В целом от участников эксперимента было получено 360 примеров, однако 38 примеров оказались неудачными, что, с одной стороны, согласуется с процентным соотношением уровня знаний студентов (ниже Upper Intermediate), с другой – свидетельствует о неспособности наиболее слабых студентов оперировать сложными процессами одновременного «прочтения» прямого и переносного значения ФЕ и создания фразеологической цепи. Данные студенты при опросе причин неудачи называли как недостаточный уровень знаний английского языка, так и невозможность для них воспринимать образ фразеологизма и одновременно оперировать прямым значением прототипа ФЕ и ее переосмысленным значением для дальнейшего создания подобраза (подобразов), что свидетельствует о недостаточном развитии их образного мышления. Логика построения фразеологической цепи от базовой метафоры также представляла для них значительную трудность.

Обратимся к результатам эксперимента и приведем наиболее яркие и интересные примеры, полученные от информантов. Примеры приводятся для подтверждения полученных данных о полном понимании информантами сложных когнитивных механизмов создания расширенной метафоры.

Так, в следующем примере первоначальный образ «быть на странной (чудаковатой) улице» ФЕ «be in Queer Street» продолжен подобразом этой улицы, причем студенту удалось обыграть прямое и переносное значение английского выражения «in Queer Street», которое получило свое наименование «по названию воображаемой улицы, населенной несостоятельными должностями» [20. С. 730]. Таким образом, мы наблюдаем линейную расширенную метафору, подобразы которой развертывают прямое значение лексемы «queer», в результате чего получается, что те люди, которые не могут заработать достаточно денег, «не в своем уме»:

A lot of people who get the sack are soon in a Queer Street. A strange name for the street... Does it mean that those who can't have enough money are not right in the head?

В данном примере мы также наблюдаем фразеологическое насыщение контекста благодаря уместному использованию еще одной английской ФЕ «get the sack» со значением «быть уволенным».

Линейная расширенная метафора также использована и в следующем примере, в котором расширению подлежит образ «evil days» – «недобрых дней», которые «скоро станут счастливыми днями»:

When Emily got a letter from her old school friend who had fallen on evil days she immediately hurried to the rescue. She was sure that the evil days would soon become happy days and they would meet again.

В результате приведенный контекст приобретает следующее значение: «Когда Эмили получила письмо от старой школьной подруги, впавшей в нищету, она немедленно поспешила ей на помощь. Она была уверена, что скоро черные дни пройдут и они встретятся вновь».

Образ рубашки, которую бедный человек «не имеет на своей спине», линейно расширен подобразами «раной, изодранной рубашки» (ragged shirt), которую можно «надеть и согреться» в следующем примере:

Tom has been out of employment for over a year now! No wonder he doesn't have a shirt to his back. Use your imagination! Not a coat but even a ragged shirt to put on his back and feel warmer...

Интересно отметить, что информант предварил использование расширенной метафоры восклицательным предложением «Use your imagination!» – «Используйте свое воображение!» и сравнением рубашки с пальто, как бы подталкивая читателей обратиться к их образному мышлению.

Во всех следующих рассматриваемых примерах расширению подлежит образ не одного компонента фразеологизма, а всего фразеологизма.

Так, ФЕ «not to have a penny to bless yourself with» со значением прототипа «не иметь ни пенни, чтобы получить благословение» и переносным значением «не иметь гроша за душой» получает дополнительные подобразы «Будет ли достаточно пенни, чтобы пойти в церковь и попросить священника благословить тебя?». В данном случае значительную роль играет обыгрывание значения лексемы «penny» – «пенни, пенс», представляющей самую мелкую английскую монету. Использование информантом разделительных вопросов делает пример более ярким и интересным:

*It's rather hard **not to have a penny to bless yourself with**, isn't it? But **will a penny be enough to go to church and ask a priest to bless you?** **The sum of money is too little, isn't it?***

Ироничное расширение нереального образа «держать тело и душу вместе» английской ФЕ «keep body and soul together» с переосмысленным значением «жить впроголодь, с трудом поддерживать существование, еле перебиваться, еле сводить концы с концами» представляет следующий пример:

*It was quite clear for John that he would have **to keep body and soul together** now. What a misfortune! He was accustomed to living in luxury for quite a long time... Suddenly a strange idea struck him. **His body and soul which were also accustomed to getting everything they wanted, would they like to be so close to each other now?***

Информанту удалось мастерски обыграть образ английского ФЭ «держать тело и душу вместе» и расширить метафорическую цепь следующим образом: «Его душа и тело, которые также привыкли получать все, что хотели, захотят ли они теперь быть так близки друг к другу?».

Подобный же интересный пример расширенной метафоры мы наблюдаем и в следующем случае, в котором прямое значение прототипа «живь из руки в рот» ФЭ «live from hand to mouth» – «кое-как перебиваться, еле сводить концы с концами; влечь полуголодное существование» расширено подобразами того, что можно положить в руки и в рот. В результате полученное прямое значение подобразов «Она сама имела так мало денег, что было невозможно положить что-то из них в руки ее родителей и помочь им купить достаточно еды для их ртов» с помощью метафорического переосмысливания приобретает значение «Она сама имела так мало денег, что ей было невозможно помочь своим родителям поддерживать нормальное существование»:

*Sue knew quite well that her parents **were living from hand to mouth** in their shabby house. But what could she do? She herself had so little money that it was impossible **to put some of it into her parents' hands and help them to buy enough food for their mouths.***

В последнем приводимом примере развитие образа «без пенни на свое имя» происходит за счет противопоставления самой мелкой английской монеты и тысяч долларов, причем для экспрессивизации отрывка, построенного в форме диалога, применяются еще три способа оккционального использования фразеологизма – замена компонентов «without a penny» на «thousands of dollars», повтор компонента «his name» и усечение компонентов «to his name». В то же время основным стилистическим приемом остается расширенная метафора:

– A poor chap is really **without a penny to his name**. And only about two years ago *his name* was repeated with enthusiasm by thousands of his admirers.

– Art and people may be merciless. You *may have thousands of dollars to your name last year, and be without a penny now.*

Итак, в целом информанты справились с поставленной задачей, было получено достаточное количество интересных и ярких примеров расширенной метафоры. В то же время примерно в 10% случаев наблюдались явные ошибки в создании подобразов, не выдерживался принцип построения метафорической цепи, что свидетельствует о значительной сложности данного типа

окказионального использования ФЭ для информантов не носителей английского языка. Результаты проведенного эксперимента подтвердили нашу гипотезу и показали, что для успешного создания расширенной метафоры необходимы: достаточно высокий уровень владения иностранным языком (не ниже Upper Intermediate); знание сложного механизма ее возникновения; хорошо развитое образное и логическое мышление, поскольку данный механизм включает одновременное использование ряда сложных когнитивных процессов, а именно фразеологической игры прямого значения прототипа и переносного значения ФЕ, умения на базе прямого значения компонента (компонентов) ФЕ или всего фразеологизма построить подобраз (подобразы), развивающие и интенсифицирующие значение всей фразеологической единицы.

Литература

1. Кунин А.В. Основные понятия английской фразеологии как лингвистической дисциплины и создание англо-русского фразеологического словаря: дис. ... д-ра филол. наук. М., 1964. 1229 с.
2. Кунин А.В. Основные понятия фразеологической стилистики // Проблемы лингвистической стилистики. М., 1969. С. 71–81.
3. Кунин А.В. Английская фразеология (теоретический курс). М.: Выш. шк., 1970. 344 с.
4. Gibbs R.W. Speakers' Assumptions about the Lexical Flexibility of Idioms / R.W. Gibbs, N. Nayak, J.I. Bolton, M.E. Keppel // Memory and Cognition. 1989. № 17/1. P. 58–68.
5. Gibbs R.W. How to Kick the Bucket and not Decompose : Analyzability and Idiom Processing / R.W. Gibbs, N.P. Nayak, C. Cutting // Journal of Memory and Language. 1989. № 28. P. 576–593.
6. Gibbs R.W. Idioms and Mental Imagery: the Metaphorical Motivation for Idiomatic Meaning / R.W. Gibbs, J. O'Brien // Cognition. 1990. № 36. P. 35–68.
7. Абдуллина А.Р. Контекстуальные трансформации фразеологических единиц в английском и русском языках: дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2007. 167 с.
8. Fernando C. Idioms and Idiomaticity. Oxford: Oxford University Press, 1996. 168 p.
9. Cacciari C. The Comprehension of Idioms / C. Cacciari, P. Tabossi // Journal of Memory and Language. 1998. № 27. P. 668–683.
10. Naciscione A. Phraseological Units in Discourse: towards Applied Stylistics. Riga: Latvian Academy of Culture, 2001. 283 p.
11. Naciscione A. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2010. 292 p.
12. Petrova O. Phraseological Units in Computer-Mediated Discourse // Фразеология в языкоизучении и других науках. Струньян, 2005. P. 50–58.
13. Арсентьева Е.Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте. Казань: Казан. гос. ун-т, 2006. 172 с.
14. Arsenteva E. Some Methods of Finding Key Komponents in English Proverbs / E. Arsenteva, Yu. Arsentyeva // Parémiologie. Proverbes et Formes Voisines. Paris, 2013. P. 113–121.
15. Арсентьева Е.Ф. Особенности создания расширенной фразеологической метафоры в свете когнитивной теории / Е.Ф. Арсентьева, Е.Ю. Семушина // Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами: сб. науч. тр. Белгород, 2013. С. 32–36.
16. Зинатуллина Л.М. Адвербиальные фразеологические единицы в английском и русском языках: дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2013. 170 с.
17. Быйык Я.А. Фразеологические единицы с колоративным компонентом в английском и турецком языках: дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2016. 160 с.
18. Arsenteva E. Discoursal Analysis of Phraseological Euphemisms: Experimental Data in Teaching English / E. Arsenteva, Yu. Arsentyeva // Journal of the Social Sciences. 11(6). 2016. P. 1042–1048.
19. Арсентьева Ю.С. Фразеологизмы-эвфемизмы в английском и русском языках: дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2012. 176 с.

20. Контекстуальное использование фразеологических единиц / под ред. Е.Ф. Арсентьевой. Казань: Хэтер, 2009. 168 с.
21. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. 4-е изд. М.: Рус. яз., 1984. 944 с.

EXTENDED METAPHOR AS ONE OF THE TYPES OF OCCASIONAL USE OF PHRASEOLOGICAL EUPHEMISMS: AN EXPERIMENTAL STUDY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 5–16. DOI: 10.17223/19986645/50/1

Elena F. Arsentyeva, Yulia S. Arsentyeva, Kazan (Volga region) Federal University (Kazan, Russian Federation). E-mail: elenaarsentiewa@mail.ru / juliarenat251@gmail.com

Keywords: phraseological euphemism, occasional use, types of transformations, extended metaphor, metaphorical transference of meaning.

The article presents the results of an experimental study of extended metaphor – one of the most complicated types of occasional use of English phraseological euphemisms. A short survey of the experimental study of phraseological units by native and foreign linguists is given. It was initiated by American researcher R.G. Gibbs and his colleagues at the University of California in the USA at the end of the 1980s, and continued by the representatives of the Kazan school of linguists.

Phraseological euphemisms are characterised by the following typical features: they represent complex language units and combine typical features of both phraseological and euphemistic units. As phraseological units, they are characterised by transference of meaning, inseparability, stability (lexical and grammatical) with the possibility of contextual transformations, figurativeness and a great significance of connotation in the structure of their phraseological meaning. As euphemisms, they represent units of indirect nomination the main aim of which is to alleviate and veil tabooed and socially and morally blamed real designators.

The design, hypothesis and the aim of the complex experiment conducted are described in the article. Third-year students of Kazan Federal University – future specialists of English who had already attended the course of specialisation “Fundamentals of English Phraseology” – participated in the experiment as informants. So they were already acquainted with the mechanisms of phraseological unit occasional transformations and approved the use of them at their seminars applying to the examples taken from the works of fiction of English and American writers. Students were given eight phraseological euphemisms belonging to the phrase-semantic group denoting poverty, hard financial position, and the task of making examples of using extended metaphor was put before them.

The main requirements of successful use of extended metaphor by non-native speakers of language were determined on the basis of the data obtained through the experiment. They are as follows: high level of foreign language acquisition (no less than Upper Intermediate), well developed figurative and logical thinking, knowledge of complex mechanism of creating extended metaphor. This mechanism includes simultaneous use of a number of complex cognitive processes: phraseological pun based on the direct meaning of the prototype and the transferred meaning of the phraseological euphemism, the ability to create subimage(s) on the basis of the direct meaning of one or more phraseological unit components, or the whole unit, the subimage(s) being able to develop and intensify the meaning of the whole phraseological euphemism.

References

1. Kunin, A.V. (1964) *Osnovnye ponyatiya angliyskoy frazeologii kak lingvisticheskoy distsipliny i sozdanie anglo-russkogo frazeologicheskogo slovarya* [Basic concepts of English phraseology as a linguistic discipline and the creation of an English-Russian phraseological dictionary]. Philology Dr. Diss. Moscow.
2. Kunin, A.V. (1969) *Problemy lingvisticheskoy stilistiki* [Problems of linguistic stylistics]. Moscow: MGIIYa im. M.Toreza. pp. 71–81.
3. Kunin, A.V. (1970) *Angliyskaya frazeologiya (teoreticheskiy kurs)* [English phraseology (a theoretical course)]. Moscow: Vysshaya shkola.
4. Gibbs, R.W. et al. (1989) Speakers' Assumptions about the Lexical Flexibility of Idioms. *Memory and Cognition.* 17/1. pp. 58–68.

5. Gibbs, R.W. et al. (1989) How to Kick the Bucket and not Decompose: Analyzability and Idiom Processing. *Journal of Memory and Language*. 28. pp. 576–593.
6. Gibbs, R.W. & O'Brien, J. (1990) Idioms and Mental Imagery: the Metaphorical Motivation for Idiomatic Meaning. *Cognition*. 36. pp. 35–68.
7. Abdullina, A.R. (2007) *Kontekstual'nye transformatsii frazeologicheskikh edinits v angliyskom i russkom jazykakh* [Contextual transformations of phraseological units in English and Russian]. Philology Cand. Diss. Kazan.
8. Fernando, C. (1996) *Idioms and Idiomaticity*. Oxford: Oxford University Press.
9. Cacciari, C. & Tabossi , P. (1998) The Comprehension of Idioms. *Journal of Memory and Language*. 27. pp. 668–683.
10. Naciscione, A. (2001) *Phraseological Units in Discourse: towards Applied Stylistics*. Riga: Latvian Academy of Culture.
11. Naciscione, A. (2010) *Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
12. Petrova, O. (2005) Phraseological Units in Computer-Mediated Discourse. In: *Frazeologiya v jazykoznanii i drugikh naukakh* [Phraseology in Linguistics and Other Sciences]. Strunjan. pp. 50–58.
13. Arsent'eva, E.F. (2006) *Frazeologiya i frazeografiya v sopostavitel'nom aspekte* [Phraseology and phraseography in a comparative aspect]. Kazan: Kazan SU*.
14. Arsenteva, E. & Arsentyeva, Yu. (2013) Some Methods of Finding Key Komponentes in English Proverbs. In: Benayoun, J.-M. et al. (eds) *Parémiologie. Proverbes et Formes Voisines* [Paremiology. Proverbs and Neighboring Forms]. France. Presses Universitaires de Sainte Gemme .
15. Arsent'eva, E.F. & Semushina, E.Yu. (2013) Osobennosti sozdaniya rasshirennoy frazeologicheskoy metafory v svete kognitivnoy teorii [Peculiarities of creating an expanded phraseological metaphor in the light of cognitive theory]. In: Alefirenko, N.F. (ed.) *Kognitivnye faktory vzaimodeystviya frazeologii so smezhnymi distsiplinami* [Cognitive Factors of Interaction of Phraseology with Related Disciplines]. Belgorod: Belgorod State University.
16. Zinatullina, L.M. (2013) *Adverbial'nye frazeologicheskie edinitsy v angliyskom i russkom jazykakh* [Adverbial phraseological units in English and Russian]. Kazan.
17. Byyyk, Ya.A. (2016) *Frazeologicheskie edinitsy s kolorativnym komponentom v angliyskom i turetskom jazykakh* [Phraseological units with a colorative component in English and Turkish]. Philology Cand. Diss. Kazan.
18. Arsenteva, E. (2016) Discoursal Analysis of Phraseological Euphemisms: Experimental Data in Teaching English. *Journal of the Social Sciences*. 11(6). pp. 1042–1048.
19. Arsent'eva, Yu.S. (2012) *Frazeologizmy-efemizmy v angliyskom i russkom jazykakh* [Phraseologisms-euphemisms in English and Russian]. Philology Cand. Diss. Kazan.
20. Arsent'eva, E.F. (ed.) (2009) *Kontekstual'noe ispol'zovanie frazeologicheskikh edinits* [Contextual use of phraseological units]. Kazan: Kheter.
21. Kunin, A.V. (1984) *Anglo-russkiy frazeologicheskiy slovar'* [English-Russian phraseological dictionary]. 4th ed. Moscow: Rus. jazyk.

УДК 81'28

DOI: 10.17223/19986645/50/2

Л.Г. Гынгазова, Е.В. Иванцова

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИБИРСКОЙ ПИЩЕВОЙ ТРАДИЦИИ В ДИСКУРСЕ ДИАЛЕКТНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ: НАПИТКИ¹

В статье продолжается изучение сибирской пищевой традиции и её трансформации в течение XX – начала XXI в. Внимание сосредоточено на напитках – одной из составляющих сферы «Пища». Исследование осуществляется на материале дискурсивных практик типичного представителя народной культуры В.П. Вершининой, отражающих почти вековой период жизни сибирской крестьянки в условиях глобальных перемен в российском обществе. Анализ позволяет установить константы сибирской традиции употребления напитков, а также изменения, проявляющиеся на лексико-семантическом, концептуальном и дискурсивном уровнях.

Ключевые слова: пищевая традиция, Сибирь, диалектная языковая личность, напитки, лексикон, концептосфера, дискурс.

Значимость понятийной сферы «Пища» для каждой национальной культуры определяет внимание к ней исследователей гуманитарного направления: этнографов, культурологов, историков, лингвистов. Актуальность обращения ученых к пищевой традиции обусловлена тем, что пища выполняет роль культурной константы и дает богатый материал для постижения своеобразия материальной и духовной культуры каждого этноса. Для лингвистики разработка данной проблематики важна при изучении развития лексической системы, исследовании национальной концептосферы и способов ее представления в языке, реконструкции языковой картины мира и выделения ее ценностных доминант.

Ученые рассматривают состав и функционирование лексико-семантического поля «Пища (Еда)» [1–3], его этнолингвистические характеристики [4–5], национальную специфику в русской языковой картине мира [6–7] и при сравнении картин мира в разных языках [8–9], в том числе через анализ метафорических моделей номинаций, связанных с пищевой сферой, в лингвокультурологическом, когнитивном и лексикографическом аспектах [10–12]. В большинстве работ наименования еды и напитков описываются недифференцированно; отдельные исследования посвящены наиболее значимым для культуры этноса продуктам, среди них особенно выделяются хлеб [13] и спиртное [14–15]. Изучаются прежде всего данные литературной речи. Территориальные диалекты обследованы менее детально [16–19], хотя они наиболее ярко отражают традиции культуры этноса, являясь материнской основой всех форм национального языка.

В томской диалектологической школе наряду с описанием языковых способов выражения традиционной крестьянской культуры с опорой на речь си-

¹ Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-02043).

бирских старожилов Среднего Приобья в целом развивается принципиально иной лингвоперсонологический подход, предполагающий выявление своеобразия этой культуры через изучение речевой практики ее типичного носителя. В качестве такого носителя выступает языковая личность сибирской крестьянки В.П. Вершининой (1909–2004), малограмотной, уроженки с. Вершино Томской области.

Анализ сибирской пищевой традиции исследуемой языковой личности был начат в работе [20], где описывались продукты питания и блюда. Данная статья продолжает эту тему и посвящена описанию напитков. Разумеется, изменение традиции осуществляется в реальной действительности, однако в лингвистическом исследовании реконструкция культурных трансформаций возможна только с опорой на дискурс и лексикон, которые отражают их. Источниками исследования послужили записи спонтанной речи информанта (в расшифровке – около 10 000 страниц), которые велись авторами работы в течение 24 лет методом включения в языковое существование говорящего, и материалы «Полного словаря диалектной языковой личности» [21], созданного на их основе.

В идиолексиконе диалектоносителя можно выделить две группы названий напитков. В первую входят те, которые человек получает в готовом виде, во вторую – требующие приготовления.

Первая группа представлена единичными номинациями:

– *вода*. Это единственная жидкость, которая потребляется как естественное вещество, составляющее часть неживой природы;

– *молоко*. Его роднит с водой природное происхождение, но отличает отнесенность к живой природе. Использование этой жидкости невозможно без целенаправленных усилий со стороны человека. В эту же группу можно отнести и единицы *пристоква'ша/простокваша* как обозначения естественных производных от молока.

Вторая группа гораздо многочисленнее. В ее состав входят:

– безалкогольные напитки: *газировка, какао, квас, кисель, компот/конпо'т, кофе/ко'фий/ко'фия, сок, чай, яблочный сок*; в том числе заменители чая из местных растений – белоголовника, душички, зверобоя;

– алкогольные напитки. Кроме общих номинаций спиртных напитков *выливка, спиртное, магары'ч, зелье*, в их составе выделяются напитки домашнего (*брага/бражка, квасок «брата», самогон/самогонка, перего'н «крепкий спиртной напиток»*) и заводского производства (*бела(я)/бело(е) «водка», зубровка, кагор, кра'сно(е)/кра'сно вино, ликёр, ма'рочно(е) вино, портвейн/портфе'йн, рябиновка, спирт, сухое вино, шанпа'нска(я)/шанпа'нско(е)*), в том числе названия торговых марок вина, пива, настоек и водки: *«Агдам», «Жигулёвско(е)», «Зверобой», «Лимо'нно(е)», «Люби'тельска(я)», «Пашени'чна(я)», «Ру'сска(я)», «Столи'чна(я)/Столи'чно(е)», «Таёжно(е)»*. Отдельные лексемы используются для обозначения как группы спиртных напитков, так и их частных разновидностей: *вино* имеет ЛСВ «любой заводской спиртной напиток», «спиртной напиток заводского производства, получаемый в результате брожения винограда» и «водка»; *водка* – «любой крепкий заводской спиртной напиток», «крепкий бесцветный алкогольный

напиток заводского производства». Номинации *пиво* и *настойка* могут обозначать как самодельный, так и покупной напиток. В составе и домашних, и заводских есть крепкие и слабоалкогольные напитки.

Все отмеченные лексические единицы составляют семантическое макрополе обозначений напитков, не имеющее своего имени в лексиконе языковой личности¹. В рамках макрополя можно выделить поля, отличающиеся количественным составом и характером системных отношений между компонентами.

Наиболее разработанным является поле обозначений алкогольных напитков. Оно единственное из всех имеет обобщающие названия (*спиртное, выпивка* и др.). Членение этого поля отличается диалектной спецификой. В нем выстраивается семантическая оппозиция *белое/красное*, в которой *белое* обозначает не белое виноградное вино, а водку, а *красное* – любое из красных вин². Регулярно проявляются все виды системных отношений: гиперонимия (в качестве гиперонимов по отношению к соответствующим видовым названиям выступают *вино, водка, зелье, магары'ч, настойка, перего'н*), гипонимия (например, *кагор, «Агдам», портвейн/портфе'йн* и другие названия вин, *«Пашени'чна(я)», «Ру'сска(я)»* и другие марки водки), синонимия (*спиртное = выпивка = магары'ч = зелье; кра'сно(е) вино = кра'сно(е)*, *водка = бе'ла(я)/бе'ло(е)*), формальное варьирование (*брага/брожка, самогон/самогонка, шанпа'нска(я)/шанпа'нско(е)*) и семантическое варьирование (для слов *вино* и *водка*). В отличие от остальных полей, в него входят не только имена нарицательные, но и собственные. Прочие составляющие макрополе объединения характеризуются значительно меньшей наполненностью (не более 7 компонентов) и слабым проявлением системных отношений.

Большинство наименований однословные. От многих из них имеются диминутивные образования (*водичка, конпо'тик, молочко, спиртик, чаёк* и др.). Особняком стоит входящая в поле «безалкогольные напитки» группа единиц, обозначающих заменители чая из местного растительного сырья. Специальные названия таких напитков фактически отсутствуют; их роль выполняют номинации самих растений (*белоголовник, душичка* и под.).

Перечисленные составляющие макрополя обозначений напитков отмечены в различных фрагментах дискурса сибирской крестьянки. Преобладают в их составе тексты, отражающие спонтанное бытовое общение с лицами из круга постоянной коммуникации – родственниками, односельчанами, собирателями. Встречаются единичные метатексты, порожденные, как правило, расспросами диалектологов о старине. Отметим, что тема напитков в непринужденной речи языковой личности занимает значительно меньшее место, чем тема продуктов и блюд. Можно предположить, что питье в сравнении с едой представляется диалектносителю второстепенным: еда выходит на

¹ Слово *напиток* в идиолексиконе В.П. Вершининой отсутствует; *питьё* зафиксировано только со значением процесса употребления жидкости.

² Белое виноградное вино не имеет соответствующей номинации так в лексиконе диалектносителя, как и в вершининском говоре [22. С. 74–75]. Наличие этой лакуны в лексико-семантическом поле связано, очевидно, с непопулярностью этого алкогольного напитка среди сельчан.

первый план, поскольку играет решающую роль в восполнении энергозатрат при тяжелом физическом труде крестьянина.

Реконструкция традиции употребления напитков и ее видоизменения, как и в предыдущей публикации, осуществляется через сравнение двух отраженных в дискурсе языковой личности периодов ее жизни. Ранний из них описан в первой части статьи: он представляет жизнь сибирского старожильческого села в 10–20-е гг. XX в. и реконструируется на основе текстов воспоминаний информанта. Позднему периоду посвящена вторая часть статьи; он охватывает временной отрезок с 1981 по 2004 г. в текстах, фиксирующих языковое существование социума и входящей в него личности при непосредственном наблюдении собирателей. В зону сравнения помещены также сферы бытового и надбытового – воспринимаемого как более значимое и ценное, отличное от обыденного бытия (религиозные и нерелигиозные праздники, обряды и ритуалы).

I. Первые десятилетия XX в. – это годы начала жизни информанта, совпавшие с переломными событиями в истории страны. В 10-е гг. прошлого столетия сибирские крестьяне еще вели единоличное хозяйство. Каждая семья имела свои земельные наделы, покосы, домашний скот; река, озера и сосновый бор позволяли заниматься охотой, рыболовством, сбором грибов, ягод, орехов и трав. Несмотря на территориальную близость города, деревня жила обособленно от него; основным родом занятий была работа на земле, крестьянский быт был более архаичен, чем городской, а уровень доходов жителя села значительно ниже. В этот период состав используемых и изготовленных в сибирской деревне напитков, так же как и ее пищевая база в целом, определялся природными и социальными факторами, обеспечивался постоянным трудом всех членов большой крестьянской семьи, связанным с земледелием (в том числе выращиванием зерновых), животноводством (в том числе содержанием дойных коров) и собирательством. В 20-е гг. с установлением советской власти и появлением коммун, а чуть позже колхозов уклад жизни начал меняться, но его основы еще долго сохраняли свою традиционность.

Контексты, включающие наименования наиболее употребительных в начале XX столетия в повседневном быту напитков, связаны прежде всего с чаем и молоком.

Чай в это время завозился в Россию через Сибирь из Китая и был покупным, однако широко распространенным напитком у представителей разных сословий. В воспоминаниях диалектоносителя встречаются обозначения двух его разновидностей: *фамильный* и *кирпичный* чай. Первый из них продавался оптом какими-либо китайскими фирмами через посредников или представителей, второй представлял собой прессованные брикеты из отходов чайного листа и веточек. Не слишком качественные, но достаточно крепкие и недорогие чаи были доступны даже небогатым крестьянам. Тем не менее в рассказах языковой личности о хозяйстве ее родителей описывается способ заготовки сырья для напитка, основу которого составлял собранный членами семьи и высушенный в русской печи белоголовник, перед сушкой обливаемый настояем покупной заварки – очевидно, в целях экономии: *[Под тягу?] накладёт [мама], и такой чай, кирпичный ли фамильный чай, обольёт его мале'нько, а*

*потом сушил – по мешку насыщивала. Белоголовник. Белый, жёлтый, кремовый такой. Рвали. Ну, он далёко. В Култуке' его много;*¹ Чай рвали ездили специально, бел^юголовник <...>. Так... рвёшь его, в мешок скла'дывашь. А потом... его заваривают... Ну, видно, не было [покупного чая], ли чё ли? Моло'деньки мы были. А нам мама... его в печку ставит, чай напарит, чаем обольёт и в печку ставит туды', закроет. Он попре'т, она на листы опе'ть да и в мешки. Сушил да в мешки. По целому мешку чаю было. Пойдём заваривать – из мешка берём. Второй из контекстов отражает употребление слова чай в значении «высушенные ароматные травы, используемые для приготовления заварки».

Вместо заварки также заготавливалась сушеная морковь: *И помню, морковь делали. Морковь... тоже кусо'чками нарежут, в печку поста'ют, испа'рут её, в чугуне или там... в горишке, потом укла'дыват [мама] на лис, и сушил. Дочерна-а така', ну не сгорит, а чёрна, кори'чнева. Потом морковный чай пили. Пили, заварка была, я помню.*

Из рассказов о чае следует, что сырьем для приготовления напитков чаще были собираемые в лесу травы или выращиваемые на собственном огороде овощи, а не покупные продукты. Важную роль в заготовке этого сырья впрок играла русская печь.

Жизнь многодетной крестьянской семьи не обходилась без большого нагреваемого углями самовара для общего чаепития: *Помню, а самовар был у нас, ну он не так большой был, ну, наверно, полведра было. Чай пили несладким. Покупной сахар в виде голов кололи и ели вприкуску: Сахар комковой был, каки'-то головы назывались. Комок такой большой. Вероятно, это породило формулу речевого этикета чай с сахаром!, которой пришедшие приветствовали хозяев, застав их за трапезой.*

Потчевание чаем подруг и родственников являлось обязательным этикетным действием. Показательны отрывки из воспоминаний языковой личности о матери, отражающие процесс потчевания. Он включает уговаривание гостя, ритуально отказывающегося от приглашения сесть за стол, но потом его принимающего, расхваливание хозяйкой свежего чая и другие действия, демонстрирующие добросердечное отношение к пришедшему: *Ведёрный, Катя, самовар... ведёрный, – никто без чая не уходит! Кто пойдёт, дак она [мама] до ворот догоня't: «Да идите, да я там заварку све'жу заварила да всё да...»; «Тётка Лукерья, садись чай пить!» – «Спасибо. Поела недавно». – «Ну-у, садись, чашку чая выпей!» – она садится; У ей [матери] кума была <...> Вот они другой раз посидят да пойдут: «Да кума Секлетинья, да посиди, посиди, я же и чай я свежий заварила, да всё да...». В качестве угощения при чаепитии использовались сваренные в самоваре яйца из своего хозяйства: Она [мама] – самовар от такой большо-ой, ведёрный, на ведро воды, туды' угли зама'чиват, угреба't из печки всё, зама'чиват, угли заливает, да покрывает их. А потом в самовар кладут, они греются, горят угли-то... труба така' надева'tся, на это, вот какой, на самовар-то, на весь-то. <...>*

¹ Фрагменты связной речи информанта отделяются точкой с запятой. В отдельных случаях полужирным шрифтом маркируется эмфатическое ударение. В квадратных скобках отражены реплики или пояснения собирателей материала.

И вот это, ставят туды' и... полотенце положит, я'ица намоет... намоет, намоет я'ица... Чашки больши' гли'няны, намоет-намоет, я'ица накладёт туды', полотенце це'ло это, и закроет, и кипит там, сколько покипят. Ута'скуват – опе'ть в эту чашку... вылива'т эту-то воду, а в холо'дну воду. <...> [Яйцами угощала?] Ну, яйца варила ши'бко. Свои были, чё. Хоро'ши. Пе'рво угощенье было – яйца. На тарелку накладут прям стогом!

В рассказах о работе крестьян за пределами деревни также фигурируют чай и заменяющие его травы: *Я всё вот думаю: на полях рабо'таишь кода', чай скипятят в ведра'х, потом ве'дра стоят с чаем это, – ну не ши'бко горячий, и не тёплый, тёплый я не любила, а впро'горачь. Пойдёшь, попьёшь – прямо ой! Ну, кода' нету чаю, каку'-нибудь траву нарвут, белоголовник там... [А где чай брали?] А чай из дома возили [заварку]. Хороший... так попил бы счас, да так побы'l бы такой, как работал.*

Поскольку каждая крестьянская семья держала коров, свежее молоко и молочные продукты были важной составляющей крестьянского стола. Значимость высоких надоев молока отражена в этикетной формуле *море под кормилицей*, которой приветствовали доившую корову хозяйку: *Чтобы море молока было, кормилица дала – «море под кормилицей»; Море под кормилицей!. Кака' хоро'ша пословица.*

Этот компонент пищевого рациона отражен в воспоминаниях языковой личности об играх деревенских девочек «в дом» («клетку»), где из подручных средств имитировались продукты питания для угощения кукол: *Бе'лу глину разведём – это у нас молоко было, погущие сметана, тво'рог там потчуем. Ку'колков этих тоже унесём в клеточку тоже потчуем.*

В рассказах о работе на полях или покосах наряду с чаем упоминается и молоко: *Уедут [на покос] – жнут кода', ко'сят. Ну, тя'мя ездил домой [за продуктами] возил. Приедет домой, наберёт хлеба, молока – ч"етверти были, четверть молока <...>. И вот привозил нам всё. Огурцов привезёт солёных, малосольных, свежих – ну, питанье.*

В зимнее время излишки молока для его сохранения замораживали. Мороженое молоко возили на базар в город, доходами от продажи пополняя семейный бюджет: *А вот это-то продавали, помню, молоко-то всегда: наморозят да в корзинку таки' двухру'шны таки' большу'чи, корзинки, на бочок так, кли'нушиком – не только чтобы кружок был кругленький ба, – а кругленький, клинышиком... Поставишь вот так от, вот так наскосо'к, так и замёрзнет. А потом их складывают в корзину, двухру'шну, и покрывают чем белым – мама всё скатертью белой покрывала, и повезут это на базар. Ну, приедешь на базар, продаёшь.*

Какой из напитков – чай или молоко – был главенствующим, однозначно сказать трудно. Очевидно, они дополняли друг друга, выполняя разные функции: чай утолял жажду, а сытное молоко – голод.

Высказываний о питьевой воде как напитке в прошлом не сохранилось. Ничего не говорится о ее вкусе и качестве; не отмечено словосочетание *пили воду*, вода упоминается только в связи с поливом огорода, уходом за скотом, стиркой и другими хозяйственными нуждами.

Тема спиртных напитков в воспоминаниях информанта о быте начала прошлого века находится на периферии: центром повседневной жизни кре-

стян был труд, и употребление алкоголя для большинства из них занимало достаточно ограниченное место. Имеются единичные упоминания о существовании в селе винной лавки, где торговали покупным спиртным: *Ну, вино продавали, виноп'лка была. Там сколько вина-то было? [Там только продавали, не делали вино?]* Продавали только, привозили. Ликёры всяки, и четвертьми, и бутылками, и литровыми, и шкалики, и каки'-то ма'леньки таки', четушки и всяки... Каки' только не было. Конкретные номинации видов спиртного, за исключением ликера, не называются; слово *вино*, очевидно, имеет в данном контексте родовое значение.

Косвенно на выпивку в будни указывают прецедентные тексты – пословицы, поговорки, присказки, фрагмент песни, в которых встречаются лексемы *пиво, квасок, вино и водка*. В них затрагиваются темы приема алкоголя (*наме'сто кваску заманить тоску*), опьянения (*пиво, чтоб с ног сбило; «Мне сказали, милый водочку не пьёт, а из кабаку пьяной-пьянёшенький идёт*) и пьянства (*не бей кнутом, напо'й вином; нет такого молодца, чтоб поборол винцо, а всё винцо сборет; умирай, а зелье хватай*). Эти тексты позволяют судить о семантике перечисленных лексем (*квасок* – слабоалкогольный напиток, *а пиво* – крепкий; *вино, винцо, зелье* выступают в обобщенном значении любого опьяняющего питья). Приведенные паремии отражают также представление о функциях алкоголя (его прием призван *заманить тоску* – развеять грусть) и нормах использования спиртного (в умеренных дозах, не приводящих к пьянству).

В надбытовой сфере употребление многих напитков было приурочено к определенным периодам и событиям.

В рассказах о многочисленных периодах постов, предписываемых установлениями христианской веры, постоянно подчеркивается запрет на *моло'сно*, куда входят молоко и все молочные продукты: *Пос, посты же были, не ели, никода' не ели. Мясо не ели и молоко не ели. Среда, пятница – вот сколь, мало ли тут, пройдёт сколько... ну чё тут?* Ну, например, пятница: *суббота, воскресенье, понедельник, вторник – четыре дня, [а] тут среда, посный день. One'ть пройдёт четве'рик – пятница one'ть посный день. Не ели; И вот они [родители матери] по'стовали. Боже спаси, чтобы моло'сно пои'сы; Ну я уже вза'мужем была, не ела моло'сно никода', кода' пос.*

К пище, заменяющей «молосное», относились в том числе квас (как основа для окрошки) и кисель: *В пос не ели моло'сно. Кисели от эти варили да па'ренки варили да, похлёбку по'сну варили, всё масло... Ну, раньше крупа-то была така' перло'ва, да хоро'ша така'. Грыбо'вицу варили. Хоро'ше, всё равно было питанье. Квас делали всё время. Окрошку, всё делали. Обычно упоминается красный кисель, который готовился из ржаной муки с добавлением дающих красно-желтый цвет ягод – калины и смородины, а также изюма и урюка. Из всех этих компонентов только последние два были покупными: рожь выращивалась в своем хозяйстве, ягоды собирались в лесу. Важным в приготовлении киселя был процесс соложения: [Раньше кисель как делали?] Ну, делали таки, кра'сны. Рассоложда'ют аржану' муку. <...> Калины ягоду поло'жут, или смородину туды'. От одной-то ягоды не будет [цвет]. И узю'м клали, и урюк клали, и всё тоже. С чем изде'лаши, каку' ягоду положишь. <...> Тако' моло'сно всё равно не ели. Редьку, капусту там, кисели*

варили ра'зы – кра'сны кисели, из аржано'й муки варили, делали, ну, по'сна пиишиа была. И вот семь недель [в Великий пост] нихто' не ели. Как и при заготовке самодельной заварки на основе высушенных трав, для изготовления киселей и кваса использовалась русская печь.

В теме строгого поста упоминается вода как единственно допускаемый в это время напиток при запрете любой пищи: *Старухи ранье... у нас тётка была – она ничё не ела [в Сочельник]. Ничё не ела. Водички попьёт, целый день ничё не ела. В сёдняшний день, в Сочельник.*

Значимыми событиями в жизни деревни на фоне повседневного быта были не слишком частые праздники, в первую очередь связанные с религией, – Рождество, Пасха, Троица и др. В Вершинино в Петров день и Введенье отмечались также престольные (съезжие) праздники, во время которых сельчане принимали гостей из окрестных деревень. Празднование предполагало обязательное угождение, в том числе спиртным. Следование традиции обязывало участников гуляния выпить даже вопреки желанию: *А я не любила всю жись утива'ть, не люблю. <...> Ну и пила я, всё равно. Ну, где гуля'ши, и вы'пешь та'мо-ка. Всё равно, пила.* Контексты указывают на умеренное употребление алкоголя в праздничные дни: *Ранье гуляли, мы всё поминали: гуляли ранье – ну, вы'пют маленько та'мо-ка, по стопочке ибнесут, по маленькой... И мужики так же, и бражонку пьют.* Контекст косвенно указывает на употребление небольших доз крепкого спиртного (очевидно, покупной водки) и самодельной браги. Наряду с брагой в праздник делали домашнее пиво. В его изготовлении применялись томление в печи, выгонка сусла и добавление изюма; одним из составляющих пива был хмель: *Съе'зжи [праздники] – Введенье и Петров день. Боцьки узю'ма накупят. <...> Хмеля положат туды'. Корчага, туды' сена накладут и в пецику тихают. Он уж солоде't. Кадочка така' была. Спускают сусло. Тянутся. Разбавляют, разбавляют его.* Единственный метатекстовый комментарий *сияс брагой зовут, а тогда «пиво» позволяет предположить, что способы изготовления пива и браги были близки.*

В рассказах о свадьбе – семейном, нерелигиозном празднике – фигурирует вино. Обычай предполагает как потчевание им гостей, так и включенность этого напитка в обрядовые действия: *Свадьбы-то больши' были. А гуляли-то по неделе. <...> [Дружска] порядок ведёт, а поддру'жье уж угошиа't там, наливает вино да...; Ну продавали пироги, так от, например, стряпка. Стря'пат, кото'ра стряпка, она пойдёт, это, ку'рьник возьмёт, и там – ну, ешио кто-нибудь с ей: и вино подают, и пирог этот продавали. <...> Ну, и продают: одна вино налива't, друга' это, колобочек, например, кусочек ли мяска' – закусывают.* Сведений об употреблении во время праздников других алкогольных напитков, в том числе самогона, в текстах языковой личности не встретилось.

При описании свадебного обряда упоминается кислое молоко – *пристоки'ша.* Этот напиток выполнял символическую функцию порицания свахи и родителей невесты, не сохранившей девственности до свадьбы: *Лежат [молодые после свадебной ночи], ждут сваху, дружку. Ну, они лежат, до каких пор лежат там-ка, пока'месь их не подо'ймут. Они подымают. Если хорошо, значит, вышло, дак благодарят, маха'ют там [свадебными про-*

стынями], если худо, дак и сваху чем-нибудь обольют, пристоки'шей... Родители, гыт, пристоки'шей обливали раньше, гыт.

Напитки являются обязательным элементом похоронного обряда. В нем участвует вода: *Ой, хватилась: «ба'ушка, ба'ушка». А она прямо умира't уж. И вижу уж, потянулась, умерла. Ну, я побежала к Коле, там закрыто, ни спичек нету, да, как говорят, воду надо, да свечку, да всё. Я хотела всё поставить по-доброму. <...> Ну, когда умира't, то, говорят, надо свечку за-жечь и воду поставить, стакан с водой. Просто воду почерпнуть и поставить.* М. Менцей рассматривает народные представления славян и других народов Европы, согласно которым душа умершего до сорокового дня пьёт поставленную около покойника воду или купается в ней, очищаясь от грехов [23. С. 90]. Исследователь предполагает, что «в обычаях, связанных со смертью, отражается реликт древнего верования, т.е. мифологического представления о том, что душа после смерти переходит на "тот" свет через воду как границу» [Там же. С. 93].

В качестве поминального напитка использовался кисель. При этом наряду с красным киселем встречается единичное упоминание белого киселя: *Раньше было принято в пе'рву очередь – кисели варили [на поминки]. Кра'сны, это из аржано'й муки так, кисель, ягода калина, смородина там... Белый кисель, и красный кисель, пирог с рыбой...* Очевидно, необходимым компонентом похорон и поминок также являлось спиртное [24. С. 7–8; 25. Т. 1. С. 373]. Однако в материале, отражающем начало XX в., такие воспоминания отсутствуют.

В текстах рассматриваемого периода выявлены связанные с напитками следы языческих верований. Существуют сведения о том, что на Руси молоком (в том числе кислым, от чёрной коровы и т.д.) тушили пожар от молнии; у всех славян этот напиток связан с небом и атмосферными явлениями: «...по древнейшим индоевропейским представлениям, сохраняющимся в славянской народной традиции, дождь – это молоко от небесных коров-туч» [25. Т. 3. С. 284]. Вопрос диалектолога о тушении пожара таким образом порождает лаконичный ответ: *Говорят, что молоком [тушили пожар], это я слыхала, а не знаю. Надо молоком, гыт, только. [Кислым или нет?] Кислым, пристоква'шей.* Реплика крестьянки свидетельствует, с одной стороны, о знании существования данной традиции, с другой – о неприсвоенности этого знания в личном опыте.

II. Рубеж ХХ–XXI вв. – это последние десятилетия жизни информанта, совпавшие с еще одним резким изменением общественного строя в стране.

При советской власти, когда основными формами хозяйствования в селе стали колхозы и совхозы, доля производимого на личном подворье сокращается, усиливаются связи с городом, уровень благосостояния крестьянства становится выше. Конец ХХ в. характеризуется значительными изменениями в государственном устройстве России, которые отразились и на жизни деревни. В связи с развитием крупного промышленного производства ухудшилась экологическая ситуация, сказавшаяся на состоянии рек и лесов. Перестройка привела к распаду коллективных форм собственности, значительному уменьшению поголовья скота как на фермах, так и в своем хозяйстве, перебоям в снабжении продуктами. Впоследствии положение дел изменилось в

лучшую сторону, однако возврата к существовавшему долгие годы укладу не произошло. Многие сельчане теряют работу, увеличивается отток молодежи в город, снижаются доходы населения. Все это привело к изменениям и в сфере употребления напитков.

Бытовой дискурс свидетельствует о том, что чай по-прежнему входит в ряд самых распространенных напитков повседневного употребления. В то же время исчезают старые разновидности чаев (номинации *фамильный* и *кирпичный чай* уходят в пассивный запас), перестает использоваться заварка из сушеной моркови и высушенных трав в комбинации с покупным чаем. В большинстве случаев чай теперь готовится на основе покупного чайного листа. При приготовлении чая иногда используются как дополнение к покупной заварке душистые травы (*Татьяна Васильевна каку'-то мяту накладёт да... душицу вся'ку-ра'зну... И так всё... Гутя этот, зверобой*), но такие напитки не слишком распространены, в том числе в связи с изменением природной среды: *Кака' тут душичка тебе! Ну, раньше рвали, где вот, напр'ти ко'нплекса, где столо'ва. Вот тут вот дополнна' было, а теперь кого там.*

Чай уже не пьют вприкуску с кусковым сахаром (сахарный песок добавляют в сам напиток), архаизируется пожелание *чай с сахаром!* Чаепитие при потчевании сопровождается не вареными яйцами, а широким набором сладостей – варенья, меда, конфет, пряников и др.: *Ну дак неужели не попьёшь чай-то? Попей! Чай-то! С сахаром, с мёдом попей, вон вареные есть и всё; Придёт [мальчик], я его попотчу, чайку дам, конфе'точками.* Уходит в прошлое традиция пить чай из самовара: *Так а тане'рь чё? Чайник. [В]он самовар стоит – никого! Два раз согрела, так, Катя, стоит, третий год. На день рождения мне купили. Я уж не ставила. Чайник грела.*

Молоко как напиток сохраняет свою значимость для жителя деревни, однако в силу социальных причин становится менее доступным. Число коров на личном подворье начало сокращаться в период хрущевских реформ; впоследствии целый ряд факторов (отток молодежи в город и старение населения села, трудности с заготовкой сена, дороговизна кормов) привел к тому, что крупный рогатый скот сохранился лишь в немногих семьях. Деревенские жители, не имеющие коров, покупают молоко у односельчан, для которых продажа весьма востребованного продукта становится дополнительным источником дохода: *Молоко до'рого у нас тоже. Я-то как попало: кода' пятнацать рублей за банку двухлитро'ву отдам, кода' десятку отдам Ане [родственнице], как попало. А она загиба'т по тридцать рублей с людей.*

Можно предположить, что в перечень производимых в домашних условиях напитков во второй половине XX в. входит компот. Он варится из фруктов, ягод или сухофруктов с добавлением сахара: *Давайте, конпо'тику. Варення даже бросила [в него]. Яблоки эти они жёстки. Я их поела – после'дни зуби'шки отбила; Он же [сахар] убыва't. Да и так сама беру, то то, то другое. То кисель, то компот; Как-то плохо ес [маленький ребёнок], молоко. Конпо'т ва'рют, куриный ему, суп куриный ва'рют, ка'жный день, всё отдельно...* Появляется также консервированный компот из местных ягод как разновидность заготовок на зиму: *У меня вареня-то есть там, стоят в подпо'лья, плохи' уж стали. Конпо'ты тоже. Виктория, смородина, крыжовник однако есь.*

Состав безалкогольных напитков расширяется за счет покупных соков и газированной воды. Сок обычно упоминается в качестве гостинца или подарка, газировка – как напиток для детей: *Накупит [бывший муж] – сок всякий-разный, рыбу кода' добудет, принесёт конфет накупит всяких-разных привнесёт... [больному сыну]; Мне подарок привезли, с этого, с райсобе'су. Это какой-то сыр, называют его. <...> Ешо-то чё? Ой, сок! Ешо сок стоит де'-то. Баночка от така' соку; Она [родственница, работающая продавцом] всё равно выберет [под зарплату], всё вы'маскат так. Так всё... И газировку там... там то и друго', и конфеты вся'ки, шарики и всё... Всё Женечке маска'm, маска'm, а всё, наверно, запи'sывают, а получать нечего будет.*

Новыми для деревни напитками являются кофе и какао, почти не употребляемые старшим поколением. Заемствованная номинация *кофе/ко'фий/ко'фия* не вполне освоена языковой личностью: наблюдается варьирование и звуковой оболочки, и грамматической категории рода: *Принесла [односельчанка в подарок] ко'фию баночку, баночку сметаны. Ну кофе, а... какао; А я легла, да не могу уснуть – ко'фию у наших выпила бокал. Ну не могу уснуть!; Вы-то пьёте ко'фию? Она-то ко'фию пьёт.*

Единичные упоминания о воде отражают ее низкое качество: *Заросло всё в чайнике грязью. Ржавчина – ржса'ва вода-то, иш'бко плохо.* Это связано с загрязнением реки отходами производства и заменой источника водоснабжения на подземные скважины, вода из которых отличается большим содержанием железа.

Ряд напитков начинает употребляться сельчанами как в быту, так и в праздник, размывая тем самым границу между бытовым и надбытовым. К числу таких напитков среди безалкогольных можно отнести кисель. Он варится теперь и для поминального стола, и в праздники, и в будни: *Ну недавно двадцать шестого она [соседка] собирала [поминки в годовщину смерти брата]. <...> Она пришла: «Приходи, приходи!» Потом Кея эта пришла... Пошла, я кисельку мале'нько поела. Так посидела мале'нько; На день рожде'нье думала я кисель сварить. Я говорю: эти [родня] поедят хыть, они любят сла'дко всё ись; Да чё-то я ела-то вчара'? А-а, кисель сварила. Крахмальный. Ну от сварю кисель там чё-нибудь мале'нько, кашу сварю... сварю... Суп я редко варю.*

Поскольку ржаная мука перестает производиться (*А счас не делают ничё кисель на солоде*). *Муки-то нету аржсано'й. [Рожь не сеют?] Её сеют, дак не мелют. Может, скотине там в конбико'рм идёт, а так-то не мелют*), меняется технология приготовления киселя, для которого используются те же продукты, что и для компота, но с добавлением картофельного крахмала: *Сахару посыпала много [в компот], да урюк да... Картошки тёрла, ведро, картошек истёрла – говорю, на крахмал. А наварила-то много. И отбавила этот урюк. Белый и красный кисели выходят из употребления; архаизируются и их номинации, замещаемые родовой лексемой кисель.*

Стирание граней между бытовым и надбытовым ярче всего демонстрируют алкогольные напитки, которые широко входят в сферу быта вследствие обозначенных ранее социальных причин. Дискурсивные данные свидетельствуют о том, что потребление спиртного резко возрастает в сравнении с началом века.

Главное место среди слабоалкогольных напитков занимает брага/бражка в связи с относительной дешевизной и быстротой ее изготовления. Она вытесняет домашнее пиво, в рецептуре которого был хмель. Брага производится в наши дни с добавлением дрожжей и сахара (*Сахар и дрожжи, ага, и всё*), а в их отсутствие – любых подручных заменителей этих продуктов – забродившего варенья или компота, дешевой карамели, покупного джема, сладкого сока: *Брагу изде'лала – два килограмма [сахару], да эту, как её, варенья поло'жила, да конфет было с килограмм у меня <...> я всё туды' [в брагу], думаю, что придет, малечеко угостить надо.* Она используется в повседневном быту многими сельчанами: *Тут в отпуск ему он флягами брагу делал да попивал; Волошины пьют, гыт, там браги наделяют и попивают.*

Из местных ягод (чаще всего рябины и смородины) делаются домашние настойки: *Настоек наделала. Мешок сахару где-то достала; А у Гуты была настойка, так неважненька... ху'денька так... смородина как закрашена – не пья'нка нисколько. <...> Сла'тенько да закрашено мале'нъко.*

В отличие от текстов, отражающих жизнь деревни начала XX столетия, в дискурсе перестроичного и постперестроичного периода встречаются неоднократные упоминания о самогоноварении: *Хоть бы себе делали, а то продают ешо, варят самогон продают; Ну Гутя, она спиртом мало [торгуует], она самогонку гонит; Привёз десять килограмм сахару, банку трёхлитро'ву – нагнал пятилитро'ву. Вот сколько! Тут можно обиться! Пять литров – это же десять бутылок. Да там шесть бутылок – чуть не яшишы! Белого, если заменить крепко. А он берёт, только пока горит.*

Самодельные алкогольные напитки активно дополняются покупными заводского производства – пивом, водкой, крепкими настойками, крепленым дешевым вином: *Гена зво'нит, и просит, чтобы Коля тиша купил. А Коля на работе. <...> Я думаю: ну, пиво привезли [в магазин], дак я пойду – ну, я не яшишы, а, думаю, хоть буты'лочек пять возьму, сколь-нибудь; «Тётя Вера, так ничё не осталось хорошенъкого, а...» какой? «Агдам», ли чё ли... купила, бутылку; Забыла, то ли перцовка, то ли зубровка – чё-то кра'сно тако' [вино]. И сорок три градуса; Она бутылку кагору купила, бутылку портвейна.*

Новыми для деревенских жителей видами алкоголя становятся ма'ично(е) вино, сухо'(е) вино, «Рябиновка», портвейн/портфе'йн и др. Обозначающие заводские торговые марки имена собственные пополняют словарный запас диалектносителей; в их числе «Агдам», «Зверобой», «Лимо'нно(е)», «Люби'тельска(я)», «Пашени'чна(я)», «Ру'сска(я)», «Столи'чна(я)/Столи'чно(е)», «Таёжно(е)».

Существование лексемы *вино* как общего названия любого алкоголя определяет колебания в грамматическом оформлении называемых марок. Контексты отражают отождествление того или иного вида крепкого напитка то с вином, то с водкой. В некоторых случаях родовая принадлежность названия обусловлена сочетаемостью со словом *бутылка*: *Вот эта была «Столи'чна» у меня бутылка, распечатала – я ему тоже дала; Я говорю: «Дак это в магазине есь вино. «Столи'чно». Я говорю, по тысяче во'семьдесят; Гляжу, он назавтра утром прибега'm: «Выручай давай!» А мне жса-алко было, вино у меня было како'-то «Таёжно» – хоро'ше, кре'пко, водка. Кре'пко, сорок градусов. Я ему итдала'.*

В дискурсе проявляется также вариативность у диалектных обозначений водки и красного вина. В первом случае варьируется грамматический род номинации *бе'ла(я)/бе'ло(е)*, во втором однословное обозначение *кра'сно(е)* употребляется наряду с двусловным *красное вино*: *Валя купила мне ли'тру белой, «Пашени'чна»; «У тебя нету, гыт, белой, водки нету, вина?»; На шынпа'нско, на конъяк, на кра'сно – на всё, добавилась цена, говорит; Красного яшишык, два яшишыка пива, яшишык газировки купили; Бутылка белого была, бутылка красного.* Тексты отражают также формирование устойчивых словосочетаний *бе'ла бутылка* «бутылка водки» и *кра'сна бутылка* «бутылка красного вина»: *И вот так и пропала бе'ла бутылка; На могилку ходила, я'иц накрасила, кра'сна бутылочка была, мне тут давали; У меня и бе'ла бутылка есь, ну и кра'сна есь.*

И значительные изменения в сфере наименований спиртных напитков, и резко возросшая частота их употребления в бытовом дискурсе свидетельствуют о разрушении традиции, связывающей спиртное со сферой праздников и обрядов.

Самой яркой приметой жизни современной деревни становится повседневное употребление алкоголя, перерастающее в пьянство. Почти всё мужское население села подвержено этому пороку: *Мужики от, как возьми [далее перечисляет соседей] – Коля пьёт наши, Георгий пьёт, Лёня пьёт. От этот, чуваш пьют, этот Николай пьёт. Де магазин-то был живут... тоже пьёт. Ну кто тут еши? А тут и мужиков-то нету. Вася Карякин не пьёт, да он болеет ши'бко. <...> Все пьют подряд. Волошин, ну, хоть он не тут живёт – тоже пьёт. Мурзи'нцев не пьёт. Там Лёнька пьёт счас, Петька пьёт. Ми'трий Иваныч не пьёт. Ну, тому уже како' питьё? Одна нога в могиле. Кого тут-ка? Все упива'ют.*

Покупной алкоголь в силу ряда причин не всегда доступен, и его отсутствие восполняется суррогатами – спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для принятия внутрь: *А знаешь кого пьёт? Вот во'кна-то чистят, этот стеклоочиститель-то – и это пьёт. Мно'ги, не он один, мно'ги пьют его; Он, гыт, деколо'н и тот вы'пет, и то вы'пет, гыт, он деколо'н пьёт.*

Широко входит в обиход разведенный спирт, нелегально изготавливаемый и продаваемый отдельными жителями села. Такая продажа в своеобразных торговых точках (в любое время, в том числе в долг) служит для них источником обогащения: *Потом еши стали спирт покупать. Бутылка спирта, на' три бутылки разольют и по две' тысячи шпарят! Ну до'рого; Ну, она гыт, «Я поторговала, хорошо', хороший навар». Он привозил ей по две' тысячи... по тысяче привозил пе'рво, бутылку, по тысяче рублей. А она продавала по две'. <...> А это... он де-то тут спирт брал, она всё пожижже разведут – он ей сам разводил, и сама она... разведут пожижже, да и... шпа'рют. Ну как не будет навару?; Запретили им, отпало пра'во крылышко-то [усме-хается], торговать спиртом-то. Всем! Ну, сельсовет вызвали. Новый закон, гыт... <...> А Иван Хромой гыт: пятнадцать человек торговали, пятнадцать магазинов было. <...> Предупредили всех. Штраф посулили: «Если будете торговать – большой штраф будете платить». Продаваемый спирт часто бывает некачественным, что приводит к отравлениям, вплоть до смер-*

тельных исходов: *По радио-то я всё слушаю, передают: там отравились, там отравились, водкой. Отраву-то зачем? Всё наживаются всё. Отрава прям, отрава, травя'тся люди. Спирт какой-нибудь пьют да всё. На Яру' тоже мужичонка отрави'лся, выпил какой-то спирт, тоже отрави'лся...*

Пьянство определяет широкое распространение расчета за работу или какие-либо услуги спиртным всех разновидностей: *Вот мне дрова-то и привезли за водку-то; Ну хорошо, пол постелили хорошо. Наладили, до ночи. От я им по бутылке этого дала, да брага была, хоро-оша настойка у меня, не брага, а настойка была; А он как чёрт с письмом по деревне носится, копа'т картошки людя'm. Без вина терпеть не может даже. Особенno это становится актуальным для пожилых одиноких сельчан, которым необходима помочь в хозяйстве. Пьющие помощники предпочитают спиртное деньги: Я говорю: «Ты это, Ваня, привези мне столбики», увидела его. А он: «Ладно, привезу». Столбики не привёз, жердёнки привёз. <...> Я говорю: «Ваня, у меня выпить нечего, я тебе деньги отдам». А кого там привёз-то, мале'нечко. Ну, я ему, правда, то ли двадцать пять, то ли тридцать я ему отдала-то. Не берёт, на' три буквы меня посыла't: «Не надо мне, не надо. Мне надо выпить, хоть гушиш давай каку'-нибудь». Я говорю: «Вот нет у меня!» Ну, это... «Хыть деколо'н давай».*

Изменения происходят и в надбытовой сфере.

Оценка носителем традиционной народной культуры современного деревенского праздника отражает утрату его духовных проявлений, ранее предполагавших веселое коллективное общение, песни и пляски с угощением, где спиртному отводилась не самая главная роль: *Это раньше Петров день, здесь ши'бко праздновали! Престо'... престольный праздник был. А тене'рича чё? Теперь собираются один, два да, напьются пья'ны, да упа'dут да и всё. Гуляют-то... пьют-то большие, а гулять-то мало так, конпа'ниями не гуляют. <...> ...всё равно, плохо. В ка'жном дому' [раньше] всё: поют, и играют, да пляшут, да ой, а теперь... никого. Худа' всё равно жись стала.*

В наши дни духовная составляющая праздничной традиции все больше вытесняется ее внешними атрибутами, ориентированными на телесные потребности человека. Деревенские праздники отличаются теперь богатством стола, в том числе широким набором покупных и самодельных, алкогольных и безалкогольных напитков: *Ой, прямо!.. и это окрошку, квасу наделала, и окрошка была, и эта... ой, и рыба копчёна купила она, и рыбу красну купили, селёдки таку' банку купили – семнадцать тысяч. Хоро-оша! Я кусочек съела, два ли съела. И пива два яшишки, водки два яшишки, только я'шишками, да здесь «Зверобоя» сколько бутылок брала, однако, семнадцать, да своей двадцать литров только самогонки было, да настойки было – то ли два бутыли ли чё ли, таки' больши'... кого ешо? газировки яшишки и колбасы', и сливы накупили – ну, всего, и конфеты... Ой, не знаю, чё там только не было. Ноевые установки осваиваются молодежью, не представляющей празднование без чрезмерно большого количества спиртного: У Аникиных спрашивали там Новый год стречали. Ну и ладно. Теперь это, по бутылке вина, – на ка'жного человека бутылку – это с ума сотти' надо!*

Общее ослабление религиозного начала как следствие влияния ориентированной на атеизм официальной идеологии определяет разрушение тради-

ции постования. Хотя некоторые сельчане иногда ограничивают себя в приеме скромных продуктов (как правило, во время самых важных постов), несоблюдение традиции имеет место даже у самого старшего поколения, к которому принадлежит и описываемая языковая личность: *А я... никого не разбираю. Пости'сь не постю'сь, голодать не голодаю... ничё! Кода' захочу, тода' и ем.* Это отразилось и на напитках, связанных ранее с разграничением постной и скромной пищи, – молоке, квасе и киселе. В текстовом корпусе отсутствуют контексты, в которых их употребление в новейший период относится с соблюдением постов.

В обрядовой сфере наиболее сохранными являются похороны и поминки, в них трансформаций питьевой традиции практически не наблюдается. В свадебном обряде исчезает обычай обливать простоквашей сваху и родителей «нечестной» невесты: *Пристоки'шей, гыт, обливали. А теперь подряд ничё не обливают, никого. Пристоки'ши нету, пристоква'ши.*

Итак, идиолект языковой личности является богатым источником изучения сибирской пищевой традиции. Несмотря на то, что сфера питья несимметрична сфере еды по количеству единиц, частотности их употребления, коммуникативной выделенности, отраженности в precedентных текстах, межтекстовой рефлексии, она не менее важна для описания констант и трансформации народной культуры.

Анализ дискурса В.П. Вершининой, отражающего жизнь сибирской ста-рожильческой деревни на протяжении столетия, позволяет обозначить в качестве констант следующие черты:

- наиболее широкая распространенность в повседневном быту чая и молока;
- непреходящая ценностная значимость молока, которое осознается как неотъемлемая часть рациона человека в силу его питательности и полезности;
- связь праздничной и обрядовой традиции с употреблением разных видов спиртного.

Трансформация питьевой традиции обусловлена теми же социальными причинами, что и в сфере продуктов и блюд: сменой общественного строя, развитием пищевой промышленности и расширением торговых контактов между городом и деревней, меняющимся уровнем благосостояния крестьян.

К изменениям можно отнести модификацию базы приготовления напитков. Ее сужение связано с прекращением производства ржаной муки как основы изготовления спиртного и киселей, а также с постепенным уходом практики использования душистых трав и моркови в качестве замены или дополнения заварки из чайного листа. Одновременно отмечается расширение этой базы, в первую очередь за счет сахарного песка. Расширяется состав домашних (компот) и в особенности покупных напитков. Меняются способы изготовления некоторых из них (кисель, квас). В быту резко возрастает количество употребляемого спиртного, что приводит к негативным изменениям и в надбытовой сфере. В языковом плане эти перемены отражаются на уровне лексико-семантического поля обозначений видов питья, концептосферы и дискурса диалектной языковой личности.

Рассматриваемое лексико-семантическое макрополе видоизменяется за счет новых номинаций покупных безалкогольных (*кофе/ко'фий/ко'фия, какао, сок, газировка*) и особенно алкогольных напитков; исчезают обозначения разновидностей киселей. Внутри поля «спиртное» происходит развитие родо-видовых и видо-видовых связей. На концептуальном уровне можно наблюдать стирание граней между бытовым и надбытовым в связи с уменьшением роли религиозного и обрядового начала в сознании носителей говора, разрушение представлений о норме употребления алкоголя (умеренность и уместность), утрату праздничных традиций, выражющуюся в вытеснении духовной составляющей внешними атрибутами праздника, в первую очередь спиртным. Дискурсивный уровень репрезентирует происходящие в языке и ментальности его носителей изменения через тексты жанров воспоминания, рассказов о повседневном быте, пословицы и поговорки; метатекстовые комментарии относительно напитков почти не встречаются.

Выявленные константы и изменения питьевой традиции соотносятся с данными других исследований, посвященных местным говорам. Полученные выводы представляются важными для всестороннего описания народно-речевой культуры в ее развитии.

Литература

1. Куренкова Т.Н. Лексико-семантическое поле «еда» в произведениях Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, М.А. Булгакова: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2008. 18 с.
2. Кирсанова Е.М. Прагматика единиц семантического поля «ПИЩА»: системный и функциональный аспекты: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 27 с.
3. Лиханова Н.А. Лексикографирование культуры в региональных словарях: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Улан-Удэ, 2011. 24 с.
4. Пьянкова К.В. Лексика, обозначающая категориальные признаки пищи, в русской языковой традиции: этнолингвистический аспект: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2008. 23 с.
5. Осипова К.В. Лексика пивоварения на Русском Севере: этнолингвистический аспект // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2017. № 48. С. 57–73.
6. Миронова И.К. Концептосфера «Еда» в русском национальном сознании: базовые когнитивно-пропозиционные структуры и их лексические репрезентации: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2002. 20 с.
7. Бойченко А.Г. Репрезентация концепта «Питие» в русской языковой картине мира: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Абакан, 2009. 21 с.
8. Савельева О.Г. Концепт «Еда» как фрагмент языковой картины мира: лексико-семантический и когнитивно-прагматический аспекты (на материале русского и английского языков): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар, 2006. 24 с.
9. Боваева Г.М. Лингвокультурная специфика этнических пищевых предпочтений (на материале глюттонических номинаций калмыцко-, русско- и немецкоязычных этносов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2012. 21 с.
10. Пахомова И.В. Метафорическое представление концепта «еда/пища» в английской языковой картине мира новоанглийского периода: дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2003. 159 с.
11. Словарь русской пищевой метафоры / под ред. Е.А. Юриной. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015–2016. Т. 1–2.
12. Юрина Е.А., Балдова А.В. Пицевая метафора в процессах концептуализации, категоризации и вербализации представлений о мире // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2017. № 48. С. 98–115.
13. Синячкин В.П. Концепт «хлеб» в русском языке: лингвокультурологические аспекты описания: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 22 с.

14. Константина Л.А. Наименования алкогольных напитков в русском языке XI–XX вв.: (Лингвоистический аспект): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Орёл, 1998. 27 с.
15. Долгова Е.Ю. Лексика и фразеология, связанные со сферой употребления спиртных напитков, в русском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Уфа, 2009. 21 с.
16. Дмитриева С.В. Лексика тематической группы «Питание» в народной речи в ареальном аспекте (на материале псковских говоров): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Псков, 1999. 19 с.
17. Карасева Т.В. Названия пищи в воронежских говорах: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2004. 22 с.
18. Банкова Т.Б. Кулинарный код сибирских семейных обрядов: объективации в языке // Сибирский филологический журнал. 2008. № 4. С. 128–138.
19. Устинова Н.А. Пищевой код традиционной культуры Среднего Приобья: этнолингвистический аспект: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2011. 207 с.
20. Гынгазова Л.Г., Иванцова Е.В. Трансформация сибирской пищевой традиции в дискурсе диалектной языковой личности: продукты и блюда // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2016. № 6(44). С. 20–36.
21. Полный словарь диалектной языковой личности / под ред. Е.В. Иванцовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006–2012. Т. 1–4.
22. Вершининский словарь / под ред. О.И. Блиновой. Т. 1: А–В. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. 308 с.
23. Менцей М. Славянские народные верования о воде как границе между миром живых и миром мертвых // Славяноведение. 2000. № 1. С. 89–97.
24. Алексеевский М.Д. Застолье в обрядах и обрядовом фольклоре Русского Севера: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2005. 21 с.
25. Славянские древности: Этнолингвистический словарь / под ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995–2012. Т. 1–5.

TRANSFORMATION OF SIBERIAN FOOD TRADITION IN THE DISCOURSE OF A DIALECT LANGUAGE PERSONALITY: DRINKS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 17–35. DOI: 10.17223/19986645/50/2

Lyudmila G. Gyngazova, Ekaterina V. Ivantsova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: 4749@mail.tomsknet.ru / ekivancova@yandex.ru

Keywords: food tradition, Siberia, dialect language personality, drinks, lexicon, conceptosphere, discourse.

Reconstruction of the Siberian food tradition in the sphere of the use of drinks and its transformation is made based on the discursive practice of peasant woman Vera Vershinina (1909–2004), born in Tomsk Oblast. Two information periods of her life reflected in the speech are compared: early (1910s–1920s), from the memoirs of the dialect speaker, and late (1981–2004), from texts that fix the linguistic existence of the society and the personality as part of it with the direct observation of dialect information collectors. Fields of everyday and “supra-everyday” life (festivals and rituals) are also compared.

Discursive materials, reflecting the life of the Siberian old-timer village for the past centuries, show that the constants of the food tradition are: the widest prevalence of tea and milk in everyday life; the permanent value of milk, which is recognised as an integral part of the human diet due to its nutritional value; connection of the festive and ritual tradition with consumption of different types of alcohol.

Transformation of the tradition of drinking reflected in the language is caused by social reasons: the change of the social system, the development of the food industry and the expansion of trade contacts between the city and the countryside, the changing level of peasants’ well-being.

Changes concern the modification of the basic element for the preparation of drinks. Its narrowing is associated with the cessation of the production of rye flour as the basis for making alcohol and kis-sels [starch drink], and also with the gradual refusal to use aromatic herbs and dried carrots as a substitute for tea. At the same time, the basic element expands, primarily due to sugar. There are more ingredients in drinks, ways of cooking some of them change. In everyday life, the amount of alcohol consumed increases sharply, which leads to negative changes in the “supra-everyday” sphere. In the

language, these changes are reflected at the level of the lexical-semantic field of designations for the types of drinks, the conceptosphere and the discourse of the dialectal language personality.

The lexical-semantic macro-field under consideration changes due to new nominations for purchased non-alcoholic and, especially, alcoholic beverages; designations of varieties of kisses disappear. Within the “alcohol” field, hyperonym-hyponym and hyponym-hyponym relations are developed. At the conceptual level, the elimination of the boundaries between the everyday and the “supra-everyday” is observed in connection with the diminishing role of the religious and ritual element in the consciousness of dialect speakers, the destruction of ideas about the norm of alcohol consumption, the loss of festive traditions, when the spiritual component is ousted by the external attributes of a holiday. The discursive level represents changes in people’s language and mentality through texts of the genres of memories, stories about everyday life, proverbs and sayings. There are almost no metatext comments on drinks.

References

1. Kurenkova, T.N. (2008) *Leksiko-semanticeskoe pole “eda” v proizvedeniyakh N.V. Gogolya, A.P. Chekhova, M.A. Bulgakova* [Lexical-semantic field “food” in the works of N.V. Gogol, A.P. Chekhov, M.A. Bulgakov]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kemerovo.
2. Kirsanova, E.M. (2009) *Pragmatika edinits semanticeskogo polya “PISHCHA”: sistemnyy i funktsional’nyy aspekty* [Pragmatics of units of the semantic field “FOOD”: system and functional aspects]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
3. Likhanova, N.A. (2011) *Leksiografirovanie kul’tury v regional’nykh slovaryakh* [Lexicographing of culture in regional dictionaries]. Abstract of Philology Cand. Diss. Ulan-Ude.
4. P’yanikova, K.V. (2008) *Leksika, oboznachayushchaya kategorial’nye priznaki pishchi, v russkoj yazykovoy traditsii: etnolingvisticheskiy aspekt* [Vocabulary denoting categorical attributes of food in the Russian language tradition]. Abstract of Philology Cand. Diss. Ekaterinburg.
5. Osipova, K.V. (2017) Brewing vocabulary in the Russian North: an ethnolinguistic aspect. *Vestnik Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 48. pp. 57–73. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/48/4
6. Mironova, I.K. (2002) *Konseptosfera “Eda” v russkom natsional’nom soznanii: bazovye kognitivno-propozitsionnye struktury i ikh leksicheskie reprezentatsii* [The conceptual sphere “Food” in the Russian national consciousness: basic cognitive-propositional structures and their lexical representations]. Abstract of Philology Cand. Diss. Ekaterinburg.
7. Boychenko, A.G. (2009) *Reprezentatsiya kontsepta “Pitie” v russkoj yazykovoy kartine mira* [Representation of the concept “Drinking” in the Russian language picture of the world]. Abstract of Philology Cand. Diss. Abakan.
8. Savel’eva, O.G. (2006) *Kontsept “Eda” kak fragment yazykovoy kartiny mira: leksioco-semanticeskiy i kognitivno-pragmaticeskiy aspekty (na materiale russkogo i angliyskogo yazykov)* [The concept “Food” as a fragment of the language picture of the world: the lexical-semantic and cognitive-pragmatic aspects (on the material of Russian and English languages)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Krasnodar.
9. Bovaeva, G.M. (2012) *Lingvokul’turnaya spetsifika etnicheskikh pishchevykh predpochteniy (na materiale glyuttonicheskikh nominatsiy kalmycko-, russko- i nemetskoyazychnykh etnosov)* [Linguistic and cultural specificity of ethnic food preferences (on the basis of gluttonic nominations of Kalmyk, Russian and German-speaking ethnoses)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kazan.
10. Pakhomova, I.V. (2003) *Metaforicheskoe predstavlenie kontsepta “eda/pishcha” v angliyskoy yazykovoy kartine mira novoangliyskogo perioda* [A metaphorical representation of the concept “food” in the English language picture of the world of the New England period]. Philology Cand. Diss. St. Petersburg.
11. Yurina, E.A. (ed.) (2015–2016) *Slovar’ russkoj pishchevoy metafory* [Dictionary of Russian food metaphor]. Vols 1–2. Tomsk: Tomsk State University.
12. Yurina, E.A. & Baldova, A.V. (2017) Food metaphor in conceptualization, categorization and verbalization of representations about the world. *Vestnik Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 48. pp. 98–115. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/48/7
13. Sinyachkin, V.P. (2002) *Kontsept “khleb” v russkom yazyke: lingvokul’turologicheskie aspekty opisaniya* [The concept “bread” in Russian: linguistic and cultural aspects of the description]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.

14. Konstantinova, L.A. (1998) *Naimenovaniya alkogol'nykh napitkov v russkom yazyke XI–XX vv.: (Lingvoistoricheskiy aspekt)* [The names of alcoholic beverages in the Russian language of the 11th-20th centuries: (Linguistic and historical aspect)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Orel.
15. Dolgova, E.Yu. (2009) *Leksika i frazeologiya, svyazannye so sferoy upotrebleniya spirtnykh napitkov, v russkom yazyke* [Vocabulary and phraseology related to the use of alcoholic beverages in Russian]. Abstract of Philology Cand. Diss. Ufa.
16. Dmitrieva, S.V. (1999) *Leksika tematicheskoy gruppy “Pitanie” v narodnoy rechi v areal’nom aspekte (na materiale pskovskikh govorov)* [Vocabulary of the thematic group “Nutrition” in folk speech in the areal aspect (on the material of the Pskov dialects)]. Abstract of Philology Cand. Diss. Pskov.
17. Karaseva, T.V. (2004) *Nazvaniya pishchi v voronezhskikh govorakh* [Names of food in the Voronezh dialects]. Abstract of Philology Cand. Diss. Voronezh.
18. Bankova, T.B. (2008) *Kulinarnyy kod sibirskikh semeynykh obryadov: ob’ektivatsii v yazyke* [Culinary code of Siberian family rituals: objectivation in language]. *Sibirski filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 4. pp. 128–138.
19. Ustinova, N.A. (2011) *Pishchevoy kod traditsionnoy kul’tury Srednego Priob’ya: etnolingvisticheskiy aspekt* [The food code of the traditional culture of the Middle Ob region: ethnolinguistic aspect]. Philology Cand. Diss. Tomsk.
20. Gyngazova, L.G. & Ivantsova, E.V. (2016) Transformation of the Siberian food tradition in the discourse of a dialect language personality: products and dishes. *Vestnik Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6(44). pp. 20–36. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/44/2
21. Ivantsova, E.V. (ed.) (2006–2012) *Polnyy slovar’ dialektnoy yazykovoy lichnosti* [The complete dictionary of dialect language personality]. Vols 1–4. Tomsk: Tomsk State University.
22. Blinova, O.I. (ed.) (1998) *Vershininskiy slovar’* [Vershininsky dictionary]. Vol. 1. Tomsk: Tomsk State University.
23. Mentsey, M. (2000) Slavyanskie narodnye verovaniya o vode kak granitse mezhdu mirom zhivykh i mirom mertvykh [Slavic folk beliefs about water as a boundary between the world of the living and the world of the dead]. *Slavyanovedenie*. 1. pp. 89–97.
24. Alekseevskiy, M.D. (2005) *Zastol’e v obryadakh i obryadovom fol’klore Russkogo Severa* [Feast in rites and ritual folklore of the Russian North]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
25. Tolstoy, N.I. (ed.) (1995–2012) *Slavyanskie drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar’* [Slavic antiquities: an ethnolinguistic dictionary]. Vols 1–5. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniya.

УДК 811.1/.8

DOI: 10.17223/19986645/50/3

Т.А. Демешкина, И.В. Тубалова

ДИАЛЕКТНЫЙ ДИСКУРС КАК СФЕРА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: КОНСТАНТЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ¹

В статье предлагается модель анализа диалектного дискурса, разработка которой базируется на выявлении факторов формирования диалектной культурной специфики: (1) локальность; (2) региональность; (3) темпоральность. Диалектная специфика определяется на фоне общенациональной культуры. Ее описание – результат обобщения диалектологического исследовательского опыта. Применение данной модели позволяет выявить общекультурные (не зависящие от действия обозначенных факторов) константы русской национальной культуры и собственно диалектные культурные смыслы – как результаты ее трансформации.

Ключевые слова: диалектная культура, диалектный дискурс, диалектологические исследования, локальность, региональность, темпоральность.

Исследование констант и трансформации народно-речевой культуры в современных условиях, выявление степени сохранения ее ментальных доминант, характера межязыкового и межкультурного взаимодействия вписывается в круг актуальных проблем современного гуманитарного знания.

Актуальность решаемой проблемы связана с возрастающим интересом мировой науки к исследованию национальной и территориальной культурной идентичности, что требует многостороннего ее изучения, в том числе с лингвистической точки зрения. Эффективным инструментом решения поставленной проблемы является обращение к диалекту как уникальному культурному и гносеологическому феномену, представляющему собой одновременно и памятник культуры, и живую основу национально-языкового развития.

Лингвистическое исследование культурных констант и трансформаций как решение проблемы объективации культурно значимых смыслов

Проблема объективации культурно специфического содержания представляется актуальной для различных гуманитарных исследований ХХ–XXI вв. (см., например, объемный перечень работ в [1]). Идея его отражения посредством языка достаточно активно обсуждается в современной лингвистике. В фокусе исследовательского внимания оказываются реестры выражаемых языком культурно значимых смыслов, выявляемых в пределах отдельных типов культур, анализ этих смыслов в аспекте межкультурной эквивалентности.

¹ Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №16-18-02043).

лентности, выявление культурно неспецифического компонента в содержании языков, а также формы их лингвистической репрезентации.

Среди наиболее ранних результатов такого поиска – известный «список Сводеша» ([2, 3] и др.), формирование которого направлено на выявление «универсальных» в содержательном отношении лексических единиц языков мира ([4, 5] и др.). В нем представлена «базисная» лексика языка «в противовес культурной лексике, часто заимствованной из языка в языке» [6. С. 780].

Одна из наиболее востребованных в лингвистике – концепция А. Вежбицкой, противопоставляющая проявление в языке объективированных культурно неспецифических смыслов («семантические примитивы») и результатов их культурно обусловленной субъективизации («культурные концепты», «ключевые слова культуры») ([7, 8] и др.).

С установкой на выявление различных аспектов динамики культурно обусловленного содержания связано обращение исследователей к понятию **культурной константы**. Методологические основы его использования заложены в работах Ю.С. Степанова [9, 10], предлагающего два понимания культурной константы: (1) «концепт, существующий постоянно или, по крайней мере, очень долгое время» [10. С. 84]; (2) «некий постоянный принцип культуры» [Там же].

Идеи Ю.С. Степанова нашли продолжение в ряде работ отечественных лингвистов (см., например, [11–14] и др.).

Итак, методология обращения к культурным смыслам в лингвистике связана, во-первых, с проблематикой противопоставления культурно обусловленных элементов языка его элементам, которые «должны быть универсальными и не относиться к каким бы то ни было областям «культуры»» [2. С. 38] («список Сводеша», «семантические примитивы» А. Вежбицкой и др.), а во-вторых, с проблематикой противопоставления культурно специфических смыслов культурным универсалиям («культурные концепты», «ключевые слова культуры» А. Вежбицкой, «культурные константы» Ю.С. Степанова и др.).

В представляющем исследовании мы рассматриваем культурно значимые смыслы в контексте второго подхода, ориентируясь в первую очередь на методологическую концепцию Ю.С. Степанова.

Рассмотрим понятия культурных констант и трансформаций в обозначенном аспекте.

Обращение к понятию культурной константы обусловлено двумя гносеологическими установками, соответствующими двум его пониманиям в трактовке Ю.С. Степанова: (1) идея разнообразия культур, фокусирующая внимание на проблемах их иерархии (например, общечеловеческая культура – национальные культуры – культуры городские и сельские); положения отдельной культуры в инокультурном окружении, межкультурного взаимодействия, а также (2) идея регулирования человеческого поведения (в том числе речевого) выработанными в рамках данной культуры константными принципами.

В рамках первой установки понятие культурной константы совпадает с понятием культурного инварианта смысла, различным образом реализуемого в разных культурах: «**Константами** в культурах являются некоторые параметры, определяющие возможность наличия человека как существа, стремя-

щегося к **истине**, обладающего знанием **добра** и чувством **красоты**. <...> Сами константы могут применяться, лишь разуниверсализируясь через их концептуализацию (в этом смысле субъективацию). И в разных культурах таковые константы должны быть различными вариантами реализации культурных инвариант. Потому представления об истине, добрे и красоте должны быть в культурах разными» [15. С. 6].

В рамках второй установки культурная константа – это «...та призма, сквозь которую человек смотрит на мир, в котором должен действовать. Основные парадигмы, определяющие возможность и условия действия человека в мире, вокруг которых выстраивается в его сознании вся структура бытия» [12. С. 11].

В онтологии культурно обусловленного существования человека (в том числе его дискурсивного существования) реализуются оба понимания культурной константы. Человеческое поведение (в том числе речевое) регулируется на основании специфики конкретного типа культуры, определяемой ее положением в культурной иерархии, характером влияния иных культур. Дискурсивные практики как разновидности культурных практик отражают результаты такого регулирования. Именно в реализующих определенную культуру дискурсах отражаются константные смыслы и принципы мировидения данной культуры, результаты их **адаптации к процессам внутрикультурного развития**, а также результаты **усвоения константных смыслов и принципов мировидения иных культур**, вступающих с данной культурой в отношения взаимодействия.

Таким образом, анализ культурных констант неразрывно связывается с анализом **трансформаций** культурно значимых смыслов, реализуемых в связанных между собой процессах внутреннего развития данной культуры, осуществляемого под влиянием взаимодействия с другими культурами. Такой анализ может быть проведен на основании (1) сопоставления результатов анализа дискурса, продуцируемого на разных этапах развития конкретной культуры; (2) сопоставления результатов анализа дискурсивных практик, продуцируемых данной культурой, с результатами анализа дискурсивных практик иных культур, вступающих с данной культурой в онтологическое взаимодействие.

Постановка проблемы. Материал, метод

Проблематика данной статьи связана с описанием методологических установок когнитивно-дискурсивного анализа, направленного на выявление специфических смыслов, которые формируются диалектной культурой как особым типом культуры, существующим в рамках культуры общенациональной.

Объектом такого анализа является дискурсная форма реализации диалектной культуры (диалектный дискурс), предметом – проявленные в речевой деятельности носителей диалекта константные смыслы общенациональной и диалектной культуры, их динамические трансформации, а также трансформации инокультурных смыслов, усваиваемых данной культурой.

Цель статьи – на основании обобщения диалектологического исследовательского опыта представить модель анализа диалектного дискурса, основанную на факторах формирования диалектной культурной специфики на фоне общенациональной культуры.

Материалом для статьи послужили записи диалектной речи русских старожилов Среднего Приобья, выполненные в период с 1946 г. по настоящее время и хранящиеся в лаборатории общей и сибирской лексикографии Томского государственного университета (<http://losl.tsu.ru/>), а также исследования томских диалектологов (в том числе авторов статьи), выполненные в русле обсуждаемого подхода с опорой на эти материалы. Кроме того, были привлечены материалы диалектного подкорпуса Национального корпуса русского языка [16].

При реализации описываемой модели анализа в качестве основного используется когнитивно-дискурсивный подход. Дискурс при таком подходе рассматривается как культурно обусловленная вербально ориентированная форма существования типового субъекта, реализуемая в совокупности особых культурно-речевых практик.

Когнитивно-дискурсивный подход в силу его междисциплинарности достаточно широко используется в культурологических исследованиях при анализе различных сфер дискурсивного осуществления культуры [17, 18].

Значимость рассматриваемого подхода к исследованию культуры, специфика его применения становятся в современных гуманитарных исследованиях предметом отдельного обсуждения ([1, 19] и др.). Так, Е.А. Кожемякин подчеркивает, что «этот подход не пересматривает базовые представления о культуре, к чему часто прибегают многие неклассические методологические схемы анализа, а синтезирует и развивает их, несколько меняя акценты в содержании понятия культуры и обнаруживая новые связи между его аспектами» [1. С. 3–4]. Возможность применения данного подхода исследователь объясняет онтологией существования современного человека, который «живет преимущественно в дискурсной, а не предметной реальности, т.е. в мире конструируемых ценностей и смыслов, а не вещей и фактов; в мире зависящих от контекста конвенций, а не универсальных норм; в мире знаков, а не предметов, которые они обозначают» [1. С. 4], и поэтому именно обращение к анализу дискурса позволяет обнаружить специфику культуры, реализуемой в исследуемом коммуникативном пространстве («...культура в значительной степени сегодня существует в дискурсной форме и требует соответствующей методологии её изучения» [Там же]).

Гносеологическое обоснование применения рассматриваемого подхода к анализу культуры представляет Е.В. Переверзев, обнаруживая пересечение в понимании дискурса М. Фуко с пониманием культуры, заданным, например, в работах К. Гирца, где культура – «набор контрольных механизмов – планов, рецептов, правил, инструкций, т.е. того, что в компьютерной инженерии называют «программами», – управляющих поведением» [20. С. 53] (цит. по: [19]).

Значительная часть культурных практик предстает в виде практик дискурсивных, и каждому типу культуры соответствует определенный набор таких практик, отражающих его специфику. В связи с этим при анализе спе-

цифики культуры определенного типа органичным представляется обращение к лингвистическим методам в рамках методологии когнитивно-дискурсивного анализа (сформулированной Е.С. Кубряковой [21]), позволяющим обнаружить в функционировании определенных лингвистических форм экстралингвистические принципы существования конкретной культуры.

Анализ констант и трансформаций русской диалектной культуры в рамках когнитивно-дискурсивного подхода осуществляется с учетом следующих ее особенностей:

- 1) положение в общечеловеческом/национальном культурном контекстах, определяющее характер усваиваемых инокультурных смыслов;
- 2) особенности ее внутренней организации, выражющиеся в особых формах и принципах социального (в том числе дискурсивного) взаимодействия ее носителей, специфике дискурсивных картин мира¹, их ценностного содержания, а также в наличии особых принципов внутрикультурной адаптации инокультурных смыслов.

Диалектный дискурс. Определение понятия. Подходы к анализу

Специфика сельской культуры является предметом отдельного изучения культурологических исследований, в которых данный тип культуры последовательно противопоставляется культуре городской ([23, 24] и др.).

Понятие «диалектная культура» трактуется в данной статье как «культура носителей диалекта», и, учитывая лингвистическую составляющую термина «диалект» (форма существования национального языка), предполагает фокусировку на специфике культуры, отражаемой в ее речевых проявлениях. В российской исследовательской лингвистической традиции диалект традиционно понимается как устная, территориально ограниченная речь именно **сельского населения** (см. работы отечественных диалектологов [25–34], а также материалы диалектного подкорпуса Национального корпуса русского языка [16]). В мировой лингвистике существует и другое понимание термина «диалект», используемое для фиксации языковых различий на разных территориях, включающих большие регионы, куда входят города и села (см., например, материалы 7-го конгресса Международного общества диалектологии и геолингвистики [35]). В отечественной лингвистике в аналогичном содержании используется термин «региолект» [36]. Таким образом, понятие «диалектная культура» в отечественной исследовательской традиции входит в понятие «сельская культура» как ее ядерная часть.

В качестве значимой формы реализации существования диалектной культуры рассматривается **диалектный дискурс**.

¹ Под дискурсивной картиной мира понимается «динамическая подвижная система смыслов, формируемая в координируемых коммуникативных действиях адресантов и адресатов в соответствии с системой их ценностей и интересов и включенных в социальные практики» [22. С. 43].

Само понятие диалектного дискурса не представляется однозначным. Большинство исследователей, обращаясь к нему, фокусируют внимание на специфике повседневных коммуникативных практик диалектоносителя (как его типового субъекта), реализованных на основании единства ценностной направленности его дискурсивного мышления. Так, Г.В. Калиткина указывает на то, что «диалектный дискурс скреплен главным образом смыслами и семантическими отношениями повседневности, она же объединяет его тексты в коммуникативном и функционально-целевом отношении. Диалектный дискурс рассматривается <...> как сфера обыденного смыслополагания, не отделимого от эмоций и оценок, а диалект – как инструмент повседневных интерпретаций» [37. С. 3]. Полностью соглашаясь с представленным положением, добавим, что практики диалектного дискурса реализуются не только в форме обыденной разговорной речи, но и в форме эстетически обработанных фольклорных высказываний, отражающих единую ценностную систему диалектной культуры другим коммуникативным способом (отметим, что некоторые фольклорные высказывания, например пословицы, былички, органично встраиваются в обыденную диалектную речь), а также поговорки, присказки, цитируемые частушки... Такое дополнение основывается на понимании фольклора как коммуникативно ориентированной формы культуры, как естественной сферы осуществления человека в конкретной социокультурной реальности ([38–43] и др.), что предполагает наличие у каждого (в том числе диалектного) коллектива собственного корпуса фольклорных текстов и особых принципов обращения к ним. Дифференциация сельской и городской фольклорной традиции – предмет отдельного внимания фольклористики (см., например, [44–46]).

В рамках представляемой концепции мы рассматриваем диалектный дискурс в составе других дискурсов, реализующих русскую национальную культуру. Современные отечественные исследования диалектного дискурса, согласно вышеназванной традиции, в основном обращаются к его анализу в аспекте выявления особых принципов сельского речевого существования, подспудно сравнивая его с дискурсами городских жителей – носителей литературного языка ([27–29; 47; 48] и др.). При выявлении ядерного основания для дифференциации диалектного дискурса мы, следуя этой традиции, также рассматриваем его как форму существования русской диалектной культуры как культуры сельской, противопоставленной городской. Она представляет особый тип дискурсивной реализации русской национальной культуры. В рамках культуры этого типа выделяются варианты ее дискурсивной реализации, формируемые на основании специфики реально существующих сельских культурных пространств, встроенных в общую иерархию типов русской национальной культуры.

Каждая конкретная диалектная культура, **бытующая на определенной территории**, также находит отражение в особых дискурсивных практиках. В специфике дискурсивной картины мира отражается оценка диалектоносителем места своего проживания. Наличие отдельных научных наблюдений в этом аспекте определяется тем, что в основном диалектологи обращаются к материалу территориально (и культурно) четко очерченному.

Кроме того, диалектный дискурс подвержен **историческим изменениям**, что предполагает уточнение его временных границ. Исследование изменений диалектного дискурса, заданного темпоральной динамикой развития конкретной диалектной культуры, наименее востребовано диалектологами.

Каждый из выделенных аспектов является основанием для дальнейшей конкретизации типов диалектной культуры (и, соответственно, диалектного дискурса), представляя диалектную культуру как ее особую составляющую на разных основаниях. Соответственно, **аспекты определения границ диалектного дискурса** можно выделить, опираясь на положение Ю.С. Степанова о наличии двух наиболее значимых параметров динамики культурно обусловленного содержания – эволюционности и синхронной парадигмальности [10], а также с учетом онтологии типовых практик диалектного дискурса, в которых реализуются когнитивные установки его типового субъекта: (1) локальность; (2) региональность и (3) темпоральность. При этом локальность представляется базовым признаком диалектного дискурса, а региональность и темпоральность – признаками его разноаспектной дифференциации, каждый из которых по-особому уточняет его границы.

Локальность и региональность диалектной культуры могут быть представлены как факторы, определяющие специфику диалектного дискурса в аспекте синхронной парадигмальности культуры (по Ю.С. Степанову), которые мы выделяем, опираясь на положение о региональности/локальности культуры, выдвинутое Б.Н. Путиловым [49]. Продолжая эту логику, С.Ю. Неклюдов обращает внимание на то, что «региональность обусловлена спецификой хозяйственно-культурного и социоэтнического функционирования сообщества, а локальность как таковая связана с ячейкой общественной жизни (например, общиной), до известной степени замкнутой и имеющей целостную структуру сохранения и регулирования социального организма» [50. С. 19]. Темпоральность культуры рассматривается как фактор, определяющий специфику диалектного дискурса в аспекте ее эволюционности [10].

Содержание диалектной дискурсивной картины мира и принципы ее дискурсивной реализации мы рассматриваем сквозь призму противопоставления стабильности и динамики, выявляемым в соответствии с представленными аспектами дифференциации диалектного дискурса.

Включенность диалектной культуры в общенациональную предполагает выявление в диалектной дискурсивной картине мира общенационального культурного содержания и принципов его культурно обусловленной реализации (общерусских культурных констант), с одной стороны, и специфических диалектных смыслов и принципов их текстового воплощения, обусловленных **локальностью** исследуемой культуры (их трансформаций) – с другой. Разнообразие диалектных культур, функционирующих на разных территориях бытования общенациональной культуры, предполагает выявление общенационального и/или общего для всех диалектных культур содержания (общерусских и общедиалектных констант) и специфических смыслов конкретной диалектной культуры, определяемых ее **региональностью** (регионально обусловленные трансформации). Историческое развитие конкретной диалектной культуры предполагает выявление результатов изменения диалектной дис-

курсивной картины мира на разных этапах функционирования диалектного коллектива (**temporально** обусловленные трансформации).

Таким образом, локальность, региональность и темпоральность можно рассматривать как факторы формирования культурной специфики диалектного коллектива, отраженной в диалектном дискурсе.

Модель анализа

Прокомментируем направленность действия выделенных факторов, охарактеризуем принципы их взаимодействия, приведем примеры их реализации.

(1) Локальность

Одним из наиболее значимых признаков диалектной культуры, определяющих специфику диалектного дискурса, является относительно замкнутый характер социальной ячейки ее носителей в отличие от городской. Безусловно, современные информационные системы оказывают на сельское культурное пространство значительное влияние. При этом диалектная социокультурная среда все же демонстрирует более высокий уровень гомогенности в сравнении с городской – в силу условий тесного повседневного общения, особого характера регулярной деятельности, специфики устройства жилища и других особенностей сельского существования.

Так, В.Е. Гольдин считает важнейшими факторами единства диалектной культуры ограниченность коллектива при единстве форм хозяйственной деятельности и принципиальную традиционность, ориентацию на прошлое [28]¹. В результате деревенский коллектив, например, оказывается слабо подверженным процессу распадения на отдельные субкультуры, что, как отмечают многие исследователи, является характерным для современного городского культурного мира. На специфику диалектного дискурса влияет тип внутриколлективного взаимодействия – сельский, когда все друг друга знают и, отправляясь в магазин или на почту, обращаются не к представителям институциональных структур, а к конкретным личностям, все ведут общую (сходную) хозяйственную деятельность.

Фактором локальности определяются специфика дискурсивно обусловленного содержания диалектных концептов, специфика этикетного общения, ритуальных речевых действий, характер метатекстовых рефлексий, типы языковой личности и др.

¹ На фоне относительно целостного деревенского коллектива присутствуют особые типы сельских жителей – хранителей культурно-речевой традиции. В диалектном коллективе, как подчеркивает Т.И. Вендина, выделяются две генерационные группы: старики и дети [26. С. 48]. То, что информантами для собирателей диалектного материала выступают в основном представители старшего поколения деревни, объясняется не только особой словоохотливостью пожилого человека, делающей его «удобным» информантом. Именно представители старшего поколения чувствуют себя хранителями традиции и «контролерами» ее сохранения и трансляции, в наибольшей степени сосредоточенными на ее специфике, и именно они проявляют в процессах разговорного общения культурно-традиционные особенности наиболее последовательно.

Приведем пример выявления результатов трансформации содержания диалектной дискурсивной картины мира, полученных на основании сопоставления с общенациональным содержанием соответствующего культурного смысла.

В качестве результата трансформации общенационального концепта ГРЕХ (как культурной константы) в диалектном дискурсе можно рассматривать его специфический компонент, выявленный Л.Г. Гынгазовой [51]. На основании сравнения результатов его реализации в текстах диалектной языковой личности и данных о его содержании в русском религиозном сознании [52] автор обнаруживает целый ряд различий, среди которых концептуализация души вне соотнесенности с Божественным началом [51. С. 16], фокусировка на тех аспектах нарушения божественного закона, «которые в традиционной культуре весьма устойчивы и во многом определяют жизненный уклад» [Там же. С. 17], нечеткость «границы, отделяющей законы, данные Богом, от установлений, исходящих от человека» [Там же. С. 18], и др.

Подобные результаты обнаружаются при анализе других диалектных концептов, рассматриваемых в таком аспекте [32, 37, 53, 54].

Дискурсивно обусловленную специфику принципов организации диалектной дискурсивной картины мира можно проиллюстрировать примерами, отражающими особую целостность диалектного культурного мира (определенную его **локальностью**), проявляющуюся в пониженной, в сравнении с городской культурой, дифференциированностью внутренних диалектных речевых практик, что соответствует единству реализуемых в них ценностных систем.

Наиболее ярко это можно показать на примере интеграции бытовой речи и фольклорной (подробно об этом см. в работе [42]). В диалектных записях регулярно фиксируются «растворенные» в обыденной речи фрагменты фольклорного текста.

В речевой культуре носителей литературного языка последовательно дифференцируются принципы организации различных речевых сфер, в том числе фольклорной и обыденно-бытовой. В результате обращение к фольклорным ценностям, реализуемое через переход к фольклорному регистру текстопорождения, в большинстве случаев особым образом маркируется, в основном через номинирование его жанровой формы. Для примера приведем контекст, автором которого является носитель литературного языка: *[об отношениях со свекровью:] Ну, придумала она там что-то – и фиг с ней! Все равно **ночная кукушка дневную перекукует**. Вот и кукуй себе, кукуй! Все-таки правильная это поговорка!* (РПТ¹). Маркирование обращения к фольклорному регистру реализуется не только через номинирование жанра (поговорка), но и через экспликацию жанровой установки цитируемой пословицы (*Все-таки правильная это поговорка!*).

В диалектном дискурсе в значительно меньшей степени выражена рефлексия носителей языка, связанная с осмыслением перехода к фольклорному регистру, использованием его материалов, что, в частности, проявляется в отсутствии метатекстовых рефлексивных показателей. Приведем пример из

¹ Из записей городской разговорной речи, выполненных авторами в г. Томске.

диалектного подкорпуса Национального корпуса русского языка [16], где информант буквально «разговаривает цитатами»,нейтрализуя цитатную сущность привлекаемого песенного текста: *Бывало в праздник тоже сидим с матерью-то, а никого-то нету, она со мной рядом, своё разговорились, та за свою за жизнью, а я ей и говорю: «Буду вечно обижаться на свою родимую, да уродила девушки какую несчастливую». А она: «Ой, ты уж это бы мне не говорила, и так сердцу тяжело от тебя». Я уж часто ей-то говорила: «Зачем маменька родила на такое горюшко, да лучшие родная меня спустила в буйно морюшко». – «Ой, девка, не говори, не говори».* Как раздумаю, так вот это когда сижу, да и сама-то про себя и стану складывать. Какая жизнь идёт так, как и говоришь. Я им такие песни не пою, а от чо придумаю, что как живу да как трудно, да всё это и правда [16]. Четко осознавая песенную природу использованных высказываний (Я им такие песни не пою), диалектноситель тем не менее в ситуации повседневного говорения неоднократно маркирует их коммуникативную естественность (я ей и говорю; ты уж это бы мне не говорила; Я уж часто ей-то говорила; не говори, не говори; так и говоришь). Это указывает на естественность перехода к фольклорному регистру говорения, максимально высокий уровень личностного «присвоения» ценностного содержания фольклорного текста, а описываемое собственное эмоциональное состояние – как имеющее место «здесь и сейчас», ценностно окрашенное на основании единства бытовых и фольклорных принципов существования.

Подобные результаты обнаруживаются в исследованиях жанровой системы диалектной коммуникации. Так, локальность диалектной культуры определяет специфику коммуникативной организации диалектного текста, в котором часто отсутствует тематическая часть, поскольку члены коллектива имеют значительную общую информационную базу [55].

(2) Региональность

Диалектная культура – это результат освоения человеком особого территориального пространства, определяемого спецификой природных условий бытования, геополитического статуса территории, межнациональных культурных контактов и под.

Региональность является фактором культурной трансформации, обладающим по отношению к фактору локальности вторичным статусом и реализующим специфику национальной культуры в конкретно-территориальных диалектных вариантах. Именно локальность диалектной культуры определяет особую фокусировку дискурсивно обусловленного содержания на специфике территории ее существования. Адаптация принципов сельского существования к специфике территории – еще один аспект трансформации диалектной культуры, отражаемой в ценностной системе диалектного дискурса.

Ценностно значимые для субъекта диалектного дискурса параметры культурной специфики определяются для каждой территории особо. Значимыми для любой территории являются проявления ценностной интерпретации природного мира и задаваемых его спецификой видов деятельности (например, для территории бытования среднеобских говоров – охота и рыбалка). Другие параметры получают на разных территориях различную степень актуальности. Так, для многих территорий ценностную интерпретацию приоб-

ретает этнический контекст. Отдельные параметры региональности оказываются для дискурсивной диалектной интерпретации практически уникальными.

Приведем пример территориально обусловленной трансформации культурной константы ДОМ в дискурсе среднеобских говоров, определяемой особенностями геополитического статуса Томской области как места ссылок.

В текстах старшего поколения диалектоносителей рассказ о молодости – одна из наиболее последовательно реализуемых гипертем. В большинстве случаев это рассказ о жизненных тяготах, которые им пришлось преодолевать. Так, в небольшом по объему (627 документов) диалектном подкорпусе Национального корпуса русского языка лексема «тяжело/тяжелый» имеет 52 вхождения, из которых 37 используются при реализации данной гипертемы. Безусловно, обращение к данной гипертеме определяется возрастными особенностями информантов, и среднеобский диалектный дискурс в этом плане не уникален. Если проанализировать ее конкретизацию в аспекте описываемых информантами причин жизненных тягот, то можно обнаружить, что большинство из них связаны с обстоятельствами войны, пришедшейся на времена молодости, а также с тяжелой работой в колхозе.

Но содержательно эта тема конкретизируется здесь по-особому. Наряду с названными темами в текстах информантов частотно воплощается тема тягот переселения, что объясняется глобальным характером политически обусловленных миграционных процессов на данной территории (Томская область – известное место политической ссылки): *Меня сюда привезли. А везли-то в закрытых вагонах. В телячих. Не выпускали на улку. Живу с 30-х годов, как от все были привезены. Тяжело было!* (СГ¹). Вытекающим из этого проявлением территориальной специфики культурного пространства является регулярно реализуемое в текстах среднеобских информантов-переселенцев восприятие территории собственного проживания как «чужой», враждебной, что не столько выражает отношение к суровым природным условиям Сибири, сколько является результатом реакции на политическое насилие. В крайних формах ее проявления номинации, реализующие концепт «дом», на протяжении многих лет сохраняется за территорией прежнего проживания, символизирующющей счастливую, гармоничную жизнь: *Мы-то жили там дома, в деревне хорошо. А тут до сих пор холода!* <...> *Дома как увезли нас, так до сих пор и не бывала / Вся-то жись моя хорошая дома осталась* (СГ).

Фактором региональности детерминируется набор концептов, характерных для сибирской культуры. В среднеобских говорах это концепты *ссылки, катогри*, а также содержательные установки на поиск собственной идентичности через противопоставление своей культуры и культуры исконного (турецкого) населения Сибири, с одной стороны, и культуры русского населения европейской части России – с другой [56].

¹ СГ – здесь и далее: записи текстов, собранных в рамках экспедиций студентов и сотрудников Томского госуниверситета в районы бытования среднеобских говоров (60–80-е гг. XX в.).

(3) Темпоральность

Особый фактор трансформации диалектной культуры связан с темпорально обусловленной динамикой жизни сельского коллектива. Такая динамика встраивается в общую логику развития человеческой культуры в целом и национальной культуры в частности, изменения социокультурных (в том числе дискурсивных) практик носителей отдельного диалекта в соответствии с общим развитием русского национального культурного пространства. В результате ценностная система диалектного дискурса также меняется под влиянием такого развития.

Темпоральность рассматривается нами, прежде всего, как необходимый параметр при выявлении трансформаций диалектной культуры по отношению к самой себе (внутрикультурных трансформаций). Эволюция внутрикультурного содержания может иметь разные временные границы. Вместе с тем трансформация осуществляется под влиянием глобальных процессов, происходящих в мировой культуре. Это касается разных сфер жизни диалектоносителей, проявляется в смене стереотипов, ценностных установок и т.д.

Фактор темпоральности также напрямую связан с фактором локальности диалектной культуры как ведущим: многие изменения дискурсивной картины мира определяются частичным расшатыванием ее границ под влиянием процессов глобализации. Кроме того, хотя отслеживание его реализации возможно на любом – независимом от конкретной территории – материале (вне учета фактора территориальности), наиболее выпукло этот фактор проявляется при сопоставлении разновременных срезов диалектного дискурса, реализованных в едином территориальном пространстве.

Рассматривая фактор темпоральности как один из параметров описания культурных трансформаций, мы сталкиваемся с вопросом методологического характера: каковы должны быть хронологические рамки, достаточные для выявления внутридиалектных культурных констант и трансформаций? По определению Ю.С. Степанова, на статус константы может претендовать концепт, «существующий постоянно или, по крайней мере, очень долгое время» [10. С. 84]. На материале среднеобских говоров динамика изменений отдельных концептов прослеживается исследователями с 1946 г. по настоящее время. Временные рамки определяются, с одной стороны, тем, что именно с этого времени ведется системное изучение среднеобских говоров и в распоряжении исследователей имеется большой объем материала, включающий речь старожилов, родившихся в начале двадцатого века и отчасти в конце девятнадцатого и ставших очевидцами всех драматических событий, происходивших в стране в этот период. С другой стороны, в связи с этим представляется необходимым при разработке метода описания культурных констант учесть замечание Ю.С. Степанова о том, что смыслы, образующие концепт, возникают в разное время и что «историческое время, «хронология», вообще не играет при этом роли. Важны лишь ассоциации сложения гармонизирующих друг с другом идей (в концептах – «семантических признаков»)» [Там же. С. 81]. Как показали наблюдения диалектологов, важным фактором является не только времененная протяженность «жизни» концепта, но и «спрессованность» событий в тот или иной период (раскулачивание, война, перестройка и

др.). По сути, это положение лежит в основе методики анализа многих ключевых концептов диалектной культуры в их исторической динамике.

Таким образом, имеющийся в исследовательском арсенале материал записей среднеобских говоров способен показать культурно обусловленные трансформации, отраженные в диалектном дискурсе.

В качестве примера анализа дискурсивных трансформаций территориально конкретной диалектной культуры можно привести исследования томских диалектологов. Так, Л.Г. Гынгазовой и Е.В. Иванцовой выявлены результаты трансформации дискурсивного отражения сибирской пищевой традиции, произошедшие под влиянием уменьшения доли продуктов натурального хозяйства при увеличении набора покупного продовольствия, модификации способов приготовления пищи (появление механизмов для ее приготовления), сокращения роли религиозного и обрядового начала в крестьянской культуре и под. [57].

Все аспекты дифференциации диалектного дискурса тесно взаимодействуют. Так, его историческое развитие во многом определяется изменением характера влияния городской культуры на сельскую и т.д.

Выводы

Таким образом, диалектный дискурс, рассматриваемый как одна из сфер реализации национальной культуры, отражает специфику этой сферы, реализующуюся в особенностях дискурсивной картины мира, принципах ее внутренней организации и логике речевого представления.

Реализованная в диалектном дискурсе специфика диалектной культуры может быть описана с учетом его особого положения в системе национально-культурно обусловленных дискурсов, что предполагает отражение в нем моментов культурного единства (констант) и собственно-диалектной культурной специфики (трансформаций).

Представленная модель анализа диалектного дискурса основывается на следующих факторах формирования специфики диалектной культуры: (1) локальность, (2) региональность и (3) темпоральность.

Базовой характеристикой диалектной культуры является локальность, определяющая ее специфику как варианта русской национальной культуры в целом и формирующая особенности дискурса ее реализации. Региональность и темпоральность проявляются как аспекты, определяющие внутреннюю вариативность диалектной культуры и диалектного дискурса соответственно.

Реализация данной модели анализа позволяет выявить виды трансформации русской национальной культуры в диалектном варианте ее реализации. При этом диалектная культура, во-первых, предстает в совокупности конкретных территориальных вариантов, каждый из которых демонстрирует трансформации русской национальной культуры особым образом, а во-вторых, динамически изменяется со временем, отражая общую логику темпорального изменения русской национальной культуры.

Анализ диалектного дискурса на основании данной модели позволяет выявить общекультурные (не зависящие от действия обозначенных факторов) и

собственно-диалектные культурные смыслы, а также принципы их организаций.

Литература

1. Кожемякин Е.А. Концептуально-методологическое обоснование дискурсной формы бытия культуры: автореф. дис ... д-ра филос. наук. Белгород, 2009. 39 с.
2. Сводеш М. Лексикостатистическое датирование доисторических этнических контактов // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. С. 23–52.
3. Сводеш М. К вопросу о повышении точности в лексикостатистическом датировании // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960. С. 53–87.
4. Саенко М.Н. Метод общих инноваций в списке Сводеша как способ определения степени языкового родства // Вестн. СПбГУ. Сер. 9. 2015. Вып. 1. С. 124–136.
5. Kassian A., Starostin G., Dybo A., Vasilij Chernov V. The Swadesh wordlist. An attempt at semantic specification // Journal of Language Relationship. 2010. № 4. Р. 46–89.
6. Степанов С.А. О доказательстве языкового родства // Труды по языкознанию. М., 2007. С. 779–793.
7. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Рус. словари, 1996. 416 с.
8. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999. 780 с.
9. Степанов Ю.С., Проскурин С.Г. Константы мировой культуры: Алфавиты и алфавитные тексты в периоды двоеверия. М.: Наука, 1993. 160 с.
10. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Языки русской культуры, 1997. 824 с.
11. Сандомирская И. Книга о родине: опыт анализа дискурсивных практик. Wien: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien, 2001. 282 р.
12. Лурье С.В. Психологическая антропология: история, современное состояние, перспективы. М.: Академический проект: Альма Матер, 2003. 624 с.
13. Жебраускас А.Л. Понятие культурных констант и поиски ориентиров постсовременности // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. Аспирантские тетради. 2006. № 3 (20). С. 18–21.
14. Костина Р.Г. Концепты, константы и универсалии культуры: к вопросу интерпретации понятий // Психолого-педагогические проблемы безопасности человека и общества. 2015. № 4 (29). С. 12–19.
15. Румянцев О.К. От редактора // Постижение культуры. М.: Рос. ин-т культурологии, 2002. Вып. 11. С. 3–6.
16. Национальный корпус русского языка // www.ruscorpora.ru
17. Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. М.: Канон+, 2008. 437 с.
18. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1999. 384 с.
19. Переверзев Е.В. Современный культурологический анализ дискурса [Электронный ресурс] // Современный дискурс-анализ: Электронное изд. 2009. Т. 1, вып. 1. URL: <http://www.discourseanalysis.org/ada1/st5.shtml> (дата обращения: 10.10.2016).
20. Гирц К. Интерпретация культур / пер. с англ. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2004. 560 с.
21. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 2004. Т. 63, № 3. С. 3–12.
22. Резанова З.И. Дискурсивные картины мира // Картины русского мира: современный медиадискурс / З.И. Резанова, Л.И. Ермоленкина, Е.А. Костяшина и др.; ред. З.И. Резанова. Томск, 2010. С. 15–84.
23. Карцева Л.В. Городская и сельская культура как фактор социализации личности // Вестн. Казан. гос. ун-та культуры и искусств. 2010. № 1. С. 24–28.
24. Кравченко А.И. Культурология: учеб. пособие для вузов. 3-е изд. М.: Академический проект, 2001. 496 с.
25. Блинова О.И. Аспекты изучения народно-речевой культуры // Аванесовский сборник. М., 2002. С. 134–139.

26. Вендина Т.И. Диалектное слово: вчера, сегодня, завтра // Вестн. Костром. гос. ун-та. 2017. Т. 23. С. 44–49.
27. Гольдин В.Е. Диалектолог и носитель диалекта: ситуации неполного совпадения информационных баз коммуникантов // Актуальные проблемы русистики. Томск, 2000. С. 224–229.
28. Гольдин В.Е. Доминанты традиционной сельской культуры речевого общения // Аванесовский сб. М., 2002. С. 58–64.
29. Гольдин В.Е., Крючкова О.Ю. Текст и знание в диалектной коммуникации // Материалы и исследования по русской диалектологии. III (IX). М., 2008. С. 398–413.
30. Гынгазова Л.Г. Физическое и духовное пространство в дискурсе носителя традиционной культуры // Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте. Томск: UFO-PLUS, 2007. С. 78–109.
31. Демешкина Т.А. Способы описания концептов диалектной культуры // Картина мира: модели, методы, концепты: материалы Всерос. междисциплинарной школы молодых ученых «Картина мира: язык, философия, наука». Томск, 2002. С. 59–67.
32. Демешкина Т.А. Когнитивно-дискурсивный анализ диалектного текста // Язык и метод 2: Русский язык в лингвистических исследованиях 21 века: Лингвистический анализ на грани методологического срыва / ред.: Д. Шумска, К.Озга. Krakow, 2015. С. 137–146.
33. Калиткина Г.В. Диалектные словари как отражение традиционной культуры // Язык. Время. Личность. Омск, 2002. С. 544–549.
34. Калиткина Г.В. Междисциплинарные области диалектной лингвокультурологии // Сиб. филол. журнал. 2008. №. 3. С. 181–191.
35. Dialekt 2.0. 7 Kongress der Internationalen gesellschaft für Dialektologie und Geolinguistik. Wiena, 2012.
36. Маслова В.А. Региональная лингвистика: проблемы и перспективы // Научные доклады высшей школы: филологические науки. 2015. Вып. 6. С. 3–8.
37. Калиткина Г.В. Объективация традиционной темпоральности в диалектном языке. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2010. 296 с.
38. Адоньева С.Б. Прагматика фольклора. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та: ЗАО ТИД «Амфора», 2004. 312 с.
39. Богданов К.А. Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб.: Искусство СПб, 2001. 438 с.
40. Неклюдов С.Ю. Фольклор: типологический и коммуникативный аспекты // Традиционная культура. 2002. № 3. С. 3–7.
41. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб.: Наука, 1994. Ч. 1. 239 с.
42. Тубалова И.В. Полифонический текст в устных личностно-ориентированных дискурсах. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 370 с.
43. Эмер Ю.А. Миромоделирование в современном песенном фольклоре: когнитивно-дискурсивный анализ: дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2011. 458 с.
44. Белоусов А.Ф. Городской фольклор: лекция для студентов-заочников. Таллин: ТПедИ, 1987. 26 с.
45. Неклюдов С.Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. № 1. С. 2–4.
46. Неклюдов С.Ю. Устные традиции современного города: смена фольклорной парадигмы // Исследования по славянскому фольклору и народной культуре. Studies in Slavic Folklore and Folk Culture / под ред. А. Архипова, И. Полинской. Вып. 2. Oakland: Berkeley Slavic Specialties, 1997. Р. 77–89.
47. Демешкина Т.А. Трансформация диалектной коммуникации под воздействием СМИ // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. № 413. С. 29–33.
48. Тубалова И.В. И nodiscursivные речевые формы в личностно-ориентированном диалектном тексте // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2016. № 6 (44). С. 68–82.
49. Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. СПб.: Наука, 1994. Ч. 2. 464 с.
50. Неклюдов С.Ю. Самобытность и универсальность в народной культуре (к постановке проблемы) // Геопанорамы русской культуры: провинция и ее локальные тексты. М., 2004. С. 15–21.
51. Гынгазова Л.Г. Интерпретация мира языковой личностью диалектносителя и ее реинтерпретация исследователем // Вестн. Том. гос. ун-та. 2007. № 295. С. 15–19.
52. Панова Л.Г. Грех как религиозный концепт (на примере русского слова «грех» и итальянского «преккато») // Логический анализ языка. Языки этики. М.: ИНДРИК, 2000. С. 167–178.

53. Гынгазова Л.Г. Концепт «Душа» в языке диалектной личности // Теоретические и прикладные аспекты филологии. Томск, 2003. С. 151–155.
54. Гынгазова Л.Г. Концепты «Жизнь» и «Смерть» в языке диалектной личности // Актуальные проблемы русистики. Томск, 2003. Вып. 2, ч. 1. С. 103–111.
55. Демешкина Т.А. Теория диалектного высказывания: Аспекты семантики. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. 190 с.
56. Демешкина Т.А. Славянский компонент в самоидентификации жителя Сибири // Русин. 2015. № 3 (41). С. 90–107.
57. Гынгазова Л.Г., Иванцова Е.В. Трансформация сибирской пищевой традиции в дискурсе диалектной языковой личности: продукты и блюда // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2016. № 6 (44). С. 20–37.

DIALECT DISCOURSE AS A SPHERE OF NATIONAL CULTURE REPRESENTATION: CONSTANTS AND TRANSFORMATIONS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 36–54. DOI: 10.17223/19986645/50/3

Tatyana A. Demeshkina, Inna V. Tubalova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: demeta@rambler.ru / tina09@inbox.ru

Keywords: dialect culture, dialect discourse, dialectological studies, locality, regionality, temporality.

The article aims to present a model for the analysis of dialect discourse based on the factors of the formation of dialect cultural specifics against the background of the national culture. The study uses findings of dialectological research experience generalisation.

The material for the article was records of the dialect speech of the Russian old-timers of the Middle Ob region made from 1946 to the present and stored in the Laboratory of General and Siberian Lexicography of Tomsk State University (<http://losl.tsu.ru/>), as well as studies of Tomsk dialectologists (including the authors of the article), carried out within the approach under discussion based on the material. In addition, data from the dialect subcorpus of the Russian Language National Corpus (<http://www.ruscorpora.ru/search-dialect.html>) were used.

The problem of objectifying the culturally specific content is relevant for various humanitarian studies of the 20th–21st centuries. Researchers focus on registers of culturally significant meanings expressed in the language identified within individual types of cultures, analysis of these meanings in the aspect of intercultural equivalence, identification of a culturally nonspecific component in the content of languages and forms of their linguistic representation.

The term “dialect culture” is interpreted in this article as the culture of dialect speakers, and, given the linguistic component of the term “dialect” (a form of a national language existence), it implies focusing on the specificity of culture reflected in its speech manifestations. As a significant form of the dialect culture representation, dialect discourse is considered which reflects its specificity expressed in the features of the discursive picture of the world, the principles of its internal organisation and the logic of the speech representation.

Specificity of the dialect culture can be described taking into account its special position in the system of nationally and culturally conditioned discourses, which presupposes reflection of moments of cultural unity (constants) and dialectal cultural specifics (transformations) in it.

The presented model of the analysis of dialect discourse is based on the following factors forming the specificity of the dialect culture:

(1) locality that opposes the dialect culture to the culture of literary language speakers (urban culture);

(2) regionality that opposes the culture of a specific dialect existing in a certain territory to the dialect culture of other territories;

(3) temporality that opposes different stages of dialect culture development.

The analysis of dialect discourse on the basis of this model makes it possible to identify general cultural (independent of the indicated factors) and dialectal cultural meanings and principles of their organisation.

References

1. Kozhemyakin, E.A. (2009) *Konseptual'no-metodologicheskoe obosnovanie diskursnoy formy bytiya kul'tury* [Conceptual and methodological substantiation of the discourse form of the existence of culture]. Abstract of Philosophy Dr. Diss. Belgorod.
2. Svodesh, M. (1960) Leksikostatisticheskoe datirovanie doistoricheskikh etnicheskikh kontaktov [Lexical-statistical dating of prehistoric ethnic contacts]. *Novoe v lingvistike*. 1. pp. 23–52.
3. Svodesh, M. (1960) K voprosu o povyshenii tochnosti v leksikostatisticheskem datirovaniyu [On the issue of increasing accuracy in lexical-statistical dating]. *Novoe v lingvistike*. 1. pp. 53–87.
4. Saenko, M.N. (2015) Common innovations method in the Swadesh list as an approach to determine the degree of language relationship. *Vestnik St. PetersburgGU. Ser. 9 – Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature*. 1. pp. 124–136. (In Russian).
5. Kassian, A., Starostin, G., Dybo, A. & Chernov, V. (2010) The Swadesh wordlist. An attempt at semantic specification. *Journal of Language Relationship*. 4. pp. 46–89.
6. Starostin, S.A. (2007) *Trudy po yazykoznaniiyu* [Works on linguistics]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur. pp. 779–793.
7. Wierzbicka, A. (1996) *Yazyk. Kul'tura. Poznanie* [Language. Culture. Cognition]. Translated from English. Moscow: Russkie slovari.
8. Wierzbicka, A. (1999) *Semanticheskie universalii i opisanie yazykov* [Semantic universals and descriptions of languages]. Translated from English. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
9. Stepanov, Yu.S. & Proskurin, S.G. (1993) *Konstanty mirovoy kul'tury. Alfavitnye teksty v periody dvoeveriya* [Constants of world culture. Alphabets and alphabetical texts during the periods of two faiths]. Moscow: Nauka.
10. Stepanov, Yu.S. (1997) *Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury* [Constants: Dictionary of Russian culture]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
11. Sandomirskaia, I. (2001) *Kniga o rodine: opyt analiza diskursivnykh praktik* [A book about the homeland: the experience of analyzing discourse practices]. Vienna: Gesellschaft zur Förderung slawistischer Studien.
12. Lur'e, S.V. (2003) *Psichologicheskaya antropologiya: istoriya, sovremennoe sostoyanie, perspektivy* [Psychological anthropology: history, current state, prospects]. Moscow: Akademicheskiy Proekt, Al'ma Mater.
13. Zhebrauskas, A.L. (2006) Pomyatie kul'turnykh konstant i poiski orientirov postsovremennosti [The concept of cultural constants and the search for landmarks of postmodernity]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A.I. Gertsena. Aspirantskie tetradi*. 3 (20). pp. 18–21.
14. Kostina, R.G. (2015) Constants, concepts and universals of culture: the question of interpretation of definitions. *Psichologo-pedagogicheskie problemy bezopasnosti cheloveka i obshchestva*. 4 (29). pp. 12–19. (In Russian).
15. Rumyantsev, O.K. (ed.) *Postizhenie kul'tury* [Comprehension of culture]. Is. 11. Moscow: Russian Institute of Cultural Studies. pp. 3–6.
16. Russian Language National Corpus. [Online] Available from: www.ruscorpora.ru. (In Russian).
17. Kasavin, I.T. (2008) *Tekst. Diskurs. Kontekst. Vvedenie v sotsial'nyu epistemologiyu yazyka* [Text. Discourse. Context. Introduction to the social epistemology of language]. Moscow: Kanon+.
18. Rudnev, V.P. (1999) *Slovar' kul'tury XX veka* [Dictionary of Culture of the 20th century]. Moscow: Agraf.
19. Pereverzev, E.V. (2009) Sovremennyj kul'turologicheskiy analiz diskursa [Modern cultural analysis of discourse]. *Sovremennyj diskurs-analiz*. 1:1. [Online] Available from: <http://www.discourseanalysis.org/ada1/st5.shtml>. (Accessed: 10.10.2016).
20. Geertz, C. (2004) *Interpretatsiya kul'tur* [Interpretation of Cultures]. Translated from English. Moscow: "Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya" (ROSSPEN).
21. Kubryakova, E.S. (2004) Ob ustanovkakh kognitivnoy nauki i aktual'nykh problemakh kognitivnoy lingvistiki [About the guidelines of cognitive science and topical problems of cognitive linguistics]. *Izvestiya AN. Ser. lit. i yaz.* 63:3. pp. 3–12.
22. Rezanova, Z.I. (2010) Diskursivnye kartiny mira [Discourse images of the world]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: sovremennyy mediadiskurs* [Images of the Russian world: modern media discourse]. Tomsk: ID SK-S.

23. Kartseva, L.V. (2010) City and Rural Culture as a Factor of a Personality's Socialization. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskussstv*. 1. pp. 24–28. (In Russian).
24. Kravchenko, A.I. (2001) *Kul'turologiya* [Culturology]. 3rd ed. Moscow: Akademicheskiy proekt.
25. Blinova, O.I. (2002) Aspekty izucheniya narodno-rechevoy kul'tury [Aspects of the study of folk-speech culture]. In: Pshenichnova, N.N. (ed.) *Avanesovskiy sb.* [Avanesov collection]. Moscow: Nauka.
26. Vendina, T.I. (2017) A dialect word – yesterday, today and tomorrow. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta – Vestnik of Kostroma State University*. 23. pp. 44–49.
27. Gol'din, V.E. (2000) Dialektolog i nositel' dialekta: situatsii nepolnogo sovpadeniya informatsionnykh baz kommunikantov [Dialectologist and dialect speaker: the situation of incomplete coincidence of information bases of communicants]. In: Demeshkina, T.A. (ed.) *Aktual'nye problemy rusistiki* [Topical issues of Russian studies]. Tomsk: Tomsk State University.
28. Gol'din, V.E. (2002) Dominanty traditsionnoy sel'skoy kul'tury rechevogo obshcheniya [Dominants of the traditional rural culture of verbal communication]. In: Pshenichnova, N.N. (ed.) *Avanesovskiy sb.* [Avanesov collection]. Moscow: Nauka.
29. Gol'din, V.E. & Kryuchkova, O.Yu. (2008) Tekst i znanie v dialektnoy kommunikatsii [Text and knowledge in dialect communication]. *Materialy i issledovaniya po russkoy dialektologii*. III (IX). pp. 398–413.
30. Gyngazova, L.G. (2007) Fizicheskoe i dukhovnoe prostranstvo v diskurse nositelya traditsionnoy kul'tury [Physical and spiritual space in the discourse of the bearer of traditional culture]. In: Rezanova, Z.I. (ed.) *Kartiny russkogo mira: prostranstvennye modeli v yazyke i tekste* [Images of the Russian world: spatial models in language and text]. Tomsk: UFO-PLUS.
31. Demeshkina, T.A. (2002) [Ways to describe the concepts of dialect culture]. *Kartina mira: modeli, metody, kontsepty: materialy Vseros. mezhdisciplinarnoy shkoly molodykh uchenykh "Kartina mira: yazyk, filosofiya, nauka"* [The picture of the world: models, methods, concepts: proceedings of all-Russian interdisciplinary school of young scholars "Image of the world: language, philosophy, science"]. Tomsk: Tomsk State University. pp. 59–67. (In Russian).
32. Demeshkina, T.A. (2015) Kognitivno-diskursivnyy analiz dialektnogo teksta [Cognitive-discursive analysis of the dialect text]. In: Shumska, D. & Ozga, K. (eds) *Yazyk i metod 2: Russkiy yazyk v lingvisticheskikh issledovaniyah 21 veka: Lingvisticheskiy analiz na grani metodologicheskogo sryva* [Language and method 2: Russian language in the linguistic studies of the 21st century: Linguistic analysis on the verge of a methodological breakdown]. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
33. Kalitkina, G.V. (2002) Dialektnye slovari kak otrazhenie traditsionnoy kul'tury [Dialect dictionaries as a reflection of traditional culture]. In: Butakova, L.O. (ed.) *Yazyk. Vremya. Lichnost'* [Language. Time. Personality]. Omsk: Omsk State University.
34. Kalitkina, G.V. (2008) Mezhdisciplinarnyye oblasti dialektnoy lingvokulturologii [Interdisciplinary areas of regional linguistics: problems and perspectives f dialect linguoculturology]. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 181–191.
35. International Society of Dialectology and Geolinguistics. (2012) *Dialekt 2.0. 7 Kongress der Internationalen gesellschaft fur Dialektologie und Geolinguistik* [Dialect 2.0. 7 Congress of the International Society of Dialectology and Geolinguistics]. Vienna.
36. Maslova, V.A. (2015) Regional linguistics: problems and perspectives *Nauchnye doklady vyshey shkoly: filologicheskie nauki – Scientific Essays of Higher Education. Philology*. 2015. Vyp. 6. pp. 3–8. (In Russian). DOI: <http://dx.doi.org/10.20339/PhS.6-15.003>
37. Kalitkina, G.V. (2010) *Ob"ektivatsiya traditsionnoy temporal'nosti v dialektnom yazyke* [Objectivization of traditional temporality in dialect language]. Tomsk: Tomsk State University.
38. Adon'eva, S.B. (2004) *Pragmatika fol'klor* [Pragmatics of folklore]. St. Petersburg: St. Petersburg State University; ZAO TID "Amfora".
39. Bogdanov, K.A. (2001) *Povednevnost' i mifologiya: Issledovaniya po semiotike fol'klornoy deystvitel'nosti* [Everyday life and mythology: studies on the semiotics of folklore reality]. St. Petersburg: Iskusstvo SPB.
40. Neklyudov, S.Yu. (2002) Fol'klor: tipologicheskiy i kommunikativnyy aspekty [Folklore: typological and communicative aspects]. *Traditsionnaya kul'tura*. 3. pp. 3–7.
41. Putilov, B.N. (1994) *Fol'klor i narodnaya kul'tura* [Folklore and folk culture]. Part 1. St. Petersburg: Nauka.

42. Tubalova, I.V. (2016) *Polifonicheskiy tekst v ustnykh lichnostno-orientirovannykh diskursakh* [Polyphonic text in oral person-oriented discourses]. Tomsk: Tomsk State University.
43. Emer, Yu.A. (2011) *Miromodelirovanie v sovremenном pesennom fol'klore: kognitivno-diskursivnyy analiz* [World modelling in modern song folklore: cognitive-discursive analysis]. Philology Dr. Diss. Tomsk.
44. Belousov, A.F. (1987) *Gorodskoy fol'klor: Lektsiya dlya studentov-zaochnikov* [City folklore: Lecture for correspondence students]. Tallin: TPedl.
45. Neklyudov, S.Yu. (1995) Posle fol'klora [After folklore]. *Zhivaya starina*. 1. pp. 2–4.
46. Neklyudov, S.Yu. (1997) Ustnye traditsii sovremennoego goroda: smena fol'klornoy paradigm [Oral traditions of the modern city: the change of the folklore paradigm]. In: Arkhipov, A. & Polinskaya, I. (eds) *Issledovaniya po slavyanskomu fol'kloru i narodnoy kul'ture* [Studies in Slavic Folklore and Folk Culture]. Vol. 2. Oakland: Berkeley Slavic Specialties.
47. Demeshkina, T.A. (2016) The transformation of dialect communication under the mass media influence. *Vestnik Tom. gos. un-ta – Tomsk State University Journal*. 413. pp. 29–33. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/413/4
48. Tubalova, I.V. (2016) Speech forms of other discourses in the personality-oriented dialect text. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6 (44). pp. 68–82. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/44/5
49. Putilov, B.N. (1994) *Fol'klor i narodnaya kul'tura* [Folklore and folk culture]. Part 2. St. Petersburg: Nauka.
50. Neklyudov, S.Yu. (2004) Samobytnost' i universal'nost' v narodnoy kul'ture (k postanovke problemy) [Identity and universality in popular culture (to the formulation of the problem)]. In: Zayonts, L.O. (ed.) *Geopanoramы russkoy kul'tury: provintsiya i ee lokal'nye teksty* [Geopanoramas of Russian culture: the province and its local texts]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
51. Gyngazova, L.G. (2007) Interpretatsiya mira yazykovoy lichnost'yu dialektonositelya i ee reinterpretatsiya issledovatelyem [Interpretation of the world by the language personality of the dialect speaker and its reinterpretation by the researcher]. *Vestn. Tom. gos. un-ta – Tomsk State University Journal*. 295. pp. 15–19.
52. Panova, L.G. (2000) Grekh kak religioznyy kontsept (na primere russkogo slova “grekh” i italyanskogo “peccato”) [Sin as a religious concept (on the example of the Russian word “sin” and Italian “peccato”)]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Yazyki etiki* [Logical analysis of the language. Ethics languages]. Moscow: INDRIK.
53. Gyngazova, L.G. (2003) Kontsept “Dusha” v yazyke dialektnoy lichnosti [Concept “Soul” in the language of the dialect personality]. In: *Teoreticheskie i prikladnye aspekty filologii* [Theoretical and applied aspects of philology]. Tomsk: Tomsk State University.
54. Gyngazova, L.G. (2003) Kontsepty “Zhizn” i “Smert” v yazyke dialektnoy lichnosti [Concepts “Life” and “Death” in the language of the dialect personality]. In: Demeshkina, T.A. (ed.) *Aktual'nye problemy rusistiki* [Topical issues of Russian studies]. Vol. 2. Pt. 1.
55. Demeshkina, T.A. (2000) *Teoriya dialektnogo vyskazyvaniya. Aspekty semantiki* [The theory of dialect utterance. Aspects of semantics]. Tomsk: Tomsk State University.
56. Demeshkina, T.A. (2015) Traits of the Slavic Identity in the Self-Identification of a Siberian Native. *Rusin.* 3 (41). pp. 90–107. (In Russian). DOI 10.17223/18572685/41/7
57. Gyngazova, L.G. & Ivantsova, E.V. (2016) Transformation of the Siberian food tradition in the discourse of a dialect language personality: products and dishes. *Vestnik Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6(44). pp. 20–36. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/44/2

УДК 811.161.1

DOI: 10.17223/19986645/50/4

П.В. Дурягин

НЕПОЛНАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ АССИМИЛЯЦИИ МЯГКИХ «СВИСТЯЩИХ» «ШИПЯЩИМИ» В ПОЗИЦИИ ВНЕШНЕГО САНДХИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Настоящее экспериментальное исследование посвящено результатам ассимиляции мягких переднеязычных щелевых согласных по месту образования на стыках слов в русском языке. Эксперимент показал, что щелевой согласный, образующийся в результате ассимиляции на месте сочетания /с'#и/, сохраняет избыточную длительность по сравнению с одиночным мягким «шипящим», однако при восприятии носители не пользуются этими различиями. Это явление может быть описано как пример неполной нейтрализации.

Ключевые слова: современный русский язык, фонетика, внешнее сандхи, коартикуляция, щелевые согласные, ассимиляция по месту образования, неполная нейтрализация.

1. Введение

Мягкие фрикативные передненебные («шипящие») согласные в описаниях фонетики современного русского литературного языка (далее – СРЛЯ) традиционно характеризуются как долгие, или двойные. Это связано с тем, что в позиции абсолютного начала фонетического слова и в интервокальной позиции носители литературного произношения регулярно произносят долгий мягкий «шипящий» звук¹ [2. С. 66–67]. Необходимо, однако, заметить, что недавнее исследование акустических характеристик переднеязычных щелевых согласных СРЛЯ показало, что даже в указанных позициях длительность фрикативного шума лишь незначительно отличает [ш':] от [ш], [с] и [с']. Эксперимент, проведенный на материале записей 10 носителей СРЛЯ в возрасте от 16 до 29 лет, показал, что абсолютная разница в длительности между [ш':] и другими переднеязычными щелевыми составляет в среднем не более 20 мс; длительность мягкого «шипящего» превышает длительность [ш] лишь на 9% [3. С. 10–11].

При этом известно, что в остальных позициях «двойной характер согласного (т. е. долгота) может быть менее заметен, а в беглой речи даже утратиться» [4. С. 113]. Описывая сокращение долготы мягкого «шипящего», Р.И. Аванесов связывал утрату этим согласным долготы с его позицией относительно слоговой границы (по его мнению, долгий [ш':] был возможен в

¹ В отличие от [ш':] звонкий мягкий «шипящий» [ж':] в СРЛЯ встречается только в этих позициях. Объектом настоящего исследования был только глухой согласный, поскольку произношение [ж':], «которое вытесняется произношением [жж']» [1. С. 987], отсутствует в речи участников проведенного эксперимента, носителей младшей нормы. Далее в работе при использовании термина «мягкий шипящий» имеется в виду только [ш'(:)].

позиции после согласного, если мягкий «шипящий» начинал собой следующий слог: *куриль-[ш':]ик*, но: *ску-n[ш']ик*) [4], однако наблюдения над литературным произношением начала XXI в. скорее подтверждают точку зрения о том, что утрата долготы мягким «шипящим» непосредственно связана с соседством другого согласного и не зависит от слоговой структуры [2. С. 67]. Действительно, в СРЛЯ последовательно действует коартикуляционное правило, согласно которому «невозможен долгий согласный рядом с другим согласным». В частности, «невозможен согласный «тройной долготы»... Поэтому невозможны удлиненные [ш':] и [ж':]» [5. С. 87]. Для целей настоящего исследования важно указание М.В. Панова на то, что граница фонетического слова не является преградой для действия этого правила: во фразе *Оле-ни уж сшиблись рогами* произносится «не тройной, а двойной [ш:]» [Там же].

В том случае, если акустическое различие между сочетаниями двух и трех одинаковых согласных не может быть достигнуто за счет темпоральных характеристик, возникают возможности для нейтрализации, а именно реализации согласного «нулем звука». Пример такого рода (с утратой мягкого «шипящего» на фонетическом уровне) приводит М.В. Панов: «Сочетание слов *товарищ Щенгра* (и подобное) в естественной речи обычно слышится и осознается как *товарищ Энгра*» [Там же]. Вероятно, именно для исключения возможности подобной нейтрализации в СРЛЯ в позиции перед начальным корневым [ш'], несмотря на некоторые наблюдаемые колебания, чаще используется вокализованный вариант приставки *с-* (*сощуился*, *сощипнул*) и предлога *с* (*со щитом*, *со щеткой*), при том что невокализованный вариант выступает в позиции перед твердым «шипящим» (*с шипом*, *сиил*); также вариант без гласного используют все остальные приставки и предлоги на *-с* (*расщепил*, *без щита*)¹.

При этом в СРЛЯ возможна иная достаточно частотная позиция, в которой на первый взгляд есть условия для нейтрализации и полной утраты «свистящего» согласного в позиции перед мягким «шипящим». Это позиция стыка слова, оканчивающегося на морф *-сь* (вариант постфиксa *-ся/-сь*, использующийся «в позиции после морфов, оканчивающихся на гласную фонему (кроме флексийных падежных морфов)» [9. С. 125]), со следующим за ним словом, начинающимся с корневого мягкого «шипящего». В результате ассимиляции по месту образования, имеющей в СРЛЯ в позиции внешнего сандхи факультативный характер [1. С. 987; 5. С. 87], в таких сочетаниях слов образующийся на месте сочетания согласных «шипящий» должен утрачивать «тройную» длительность, на фонетическом уровне реализуясь обычным долгим [ш':] ([ш'#ш'])². Таким образом, акустические следы «свистящего» могут

¹ Г. Коутс [6] использует эти языковые факты в качестве одного из аргументов в пользу полифонемной трактовки мягкого «шипящего» (наиболее полно представлена в работах М. Флайера [7. С. 296–351]), поскольку указанные предлог и приставка ведут себя аналогичным образом перед консонантными кластерами. Оставляя в стороне эту дискуссию, отметим, что на синхронном уровне вокализация позволяет избежать нейтрализации в потенциально возможных и обнаруживаемых при поиске по Национальному корпусу русского языка [8] минимальных парах: *с щеками** – *щеками*, *щемить** – *щемить* и т. д.

² Возможно, впрочем, коартикуляционные правила действуют в ином порядке: сначала мягкий «шипящий» утрачивает долготу, а затем происходит ассимиляция по месту об-

полностью утрачиваться, и сочетание слов *проявилась щедрость* может быть неотличимо при восприятии от сочетания без постфикс: *проявила щедрость*.

Необходимо отметить, что указанная позиция нейтрализации возникла в СРЛЯ сравнительно недавно. Произношение мягкого «свистящего» возвратном постфикссе получило широкое распространение в литературном произношении только в середине XX в.; «на протяжении всего XIX и в начале XX в. по литературной норме частицы *-ся/-сь* произносились с твердым [с]» [11. С. 103]. Таким образом, в первой половине прошлого века подобная нейтрализация еще не была возможной. Ей препятствовало отсутствие межсловной ассимиляции по твердости / мягкости (т.е., вероятно, в примере *проявилась щедрость* на стыке слов звучало сочетание [с#ш'] или, в случае ассимиляции по месту образования, [ш#ш'], но не однородный долгий [ш'#ш']). В настоящее время произношение [с] в постфикссе в позиции после гласного «расценивается как устарелое» [1. С. 993].

2. Цели и методы исследования. Описание Эксперимента 1

Настоящее исследование преследовало две основные цели. Во-первых, изучалась реализация мягкого переднеязычного зубного щелевого согласного на конце фонетического слова в позиции перед мягким переднеязычным передненебным глухим щелевым в речи носителей младшей нормы литературного произношения. В частности, исследовалась возможность ассимиляции согласных по месту образования и сокращения длительности «шипящего» в этом сочетании, приводящих к образованию единого долгого «шипящего». Во-вторых, ставилась цель проверить, может ли осуществление описанных коартикуляционных процессов приводить к полной нейтрализации минимальных пар типа *проявилась щедрость – проявила щедрость* в восприятии носителей СРЛЯ.

Для достижения указанных целей был проведен фонетический эксперимент (Эксперимент 1), в ходе которого от 20 информантов, носителей литературного произношения в возрасте от 18 до 40 лет (10 мужчин и 10 женщин), был записан набор фраз. Участники эксперимента без подготовки читали вслух с экрана компьютера специально подготовленные фразы (стимулы), перемешанные в случайном порядке и представленные на отдельных слайдах. Некоторые из этих фраз включали тестовые сочетания слов: помимо сочетаний *проявилась щедрость* и *проявила щедрость*, были записаны следующие минимальные пары: *слышала щебетание* и *слышалось щебетание*; *зажгли щепки* и *зажглись щепки*; *нашли щиты* и *нашлились щиты*; *прижалась щекой* и *прижалась щекой*; *слышали щелчки* и *слышались щелчки*; *обнаружила щель* и *обнаружилась щель*. Кроме этого, в материал эксперимента была включена одна пара примеров со смычным переднеязычным согласным, который способен реализовываться «нулем звука» и тем самым может не пре-

разования: /с'#ш':/ > /с'#ш'/ > [ш'#ш']. Такое предположение, однако, будет противоречить существующей в СРЛЯ закономерности, выявленной С.В. Князевым: «...правила ассимиляции в русском языке действуют одними из первых» [10. С. 139].

пятствовать ассилияции по месту образования¹: *смелость щенка* вместе с контрастной парой *смёло щенка* (*забирать*).

При составлении стимулов учитывались следующие фонетические факторы:

1. Состав согласных в исследуемом кластере. Выше уже было указано, что, помимо сочетания «свистящий» + «шипящий», был записан один пример с «непроизносимым» смычным согласным (*смелость щенка*).

2. Соседние по отношению к кластеру звуки. Как видно из приведенного выше списка примеров, все консонантные сочетания записывались в интервокальной позиции.

3. Акцентная структура примеров. Известно, что темпоральные характеристики согласных СРЛЯ зависят от положения звуков относительно ударных гласных (см. экспериментальные данные о щелевых переднеязычных в [3], о взрывных – в [13]). В настоящей работе при подборе стимулов выбирались пары словосочетаний с разными акцентными структурами. Исследуемые кластеры были записаны во всех возможных позициях: между ударными гласными, после ударного гласного перед безударным, после безударного перед ударным и между безударными гласными. Сравнение длительности согласных в разных позициях не входило в цели настоящей работы, однако влияние этого фактора учитывалось при анализе записей: абсолютная длительность звуков сравнивалась только попарно, для примеров с одинаковой акцентной структурой.

4. Позиция тестового сочетания слов во фразе. Согласно данным эксперимента, описанного в [14], на наличие / отсутствие ассилияции переднеязычных согласных по месту образования на стыках фонетических слов может оказывать влияние место фразового акцента: при просодическом выделении первого слова в сочетании «передование происходит значительно реже, чем в словосочетаниях с акцентно слабым первым словом» [Там же. С. 199]. В настоящей работе фразы, предложенные для прочтения информантам, подбирались таким образом, чтобы избежать фразового акцента на тестовых сочетаниях слов, все сочетания записывались внутри синтагмы. В том случае, если диктор в процессе чтения ошибочно, с точки зрения экспериментатора, членил фразу на синтагмы (например, делал лишнюю паузу или неверноставил фразовый акцент), запись примера признавалась нерелевантной для анализа.

Записи 20 дикторов были проанализированы с использованием компьютерной программы Praat [15]. Релевантными для целей эксперимента были признаны 302 из 320 произнесений (94,4%). При анализе осцилограмм и динамических спектрограмм фиксировались два параметра исследуемого сегмента фрикативного шума: спектральные характеристики и длительность. Спектральные характеристики (а именно равномерность нижней границы фрикативного шума на динамической спектрограмме) фиксировались для того, чтобы разделить записи с наличием / отсутствием ассилияции по мес-

¹ Утрата смычного в подобных кластерах происходит почти регулярно; как указывает Г.А. Баринова, «вероятно, самая возможность и стремление к ассилияции подталкивает процесс выпадения центрального согласного» (ср. также: *гво[ж'] желеzный, в ше[ж'] же кончают*) [12. С. 109].

ту образования согласных. Впоследствии результаты этого разделения были проверены с помощью перцептивного эксперимента. Длительность согласных измерялась в миллисекундах (мс) с округлением до десятых, за начало и конец щелевого согласного принимались начало и конец непериодических колебаний на осциллограмме, обычно соответствовавшие концу и началу второй форманты соседних гласных на динамической спектрограмме.

3. Результаты Эксперимента 1

Проведенный анализ записей фраз, включающих тестовые сочетания слов, подтвердил, что наличие / отсутствие ассимиляции переднеязычных щелевых согласных по месту образования в позиции внешнего сандхи зависит от индивидуальных особенностей диктора. В речи 6 дикторов-мужчин была зафиксирована регулярная полная ассимиляция «свистящих» «шипящих» (нижняя граница фрикативного шума на спектрограмме равномерная на протяжении всего звука, пример приведен на рис. 1; для сравнения см. рис. 2, где в произношении того же стимула другим диктором нижняя граница шума неравномерна, ассимиляция отсутствует). В речи остальных 14 дикторов отмечена факультативность действия этого коартикуляционного правила (для каждого информанта зафиксировано не менее чем по одному произнесению как [с'ш'], так и [ш':]). Отдельно необходимо отметить, что в тестовом сочетании слов со смычным *смелость щенка* в произнесении 19 из 20 участников эксперимента смычный был утрачен; в 16 из 19 примеров за утратой смычного последовала ассимиляция «по месту».

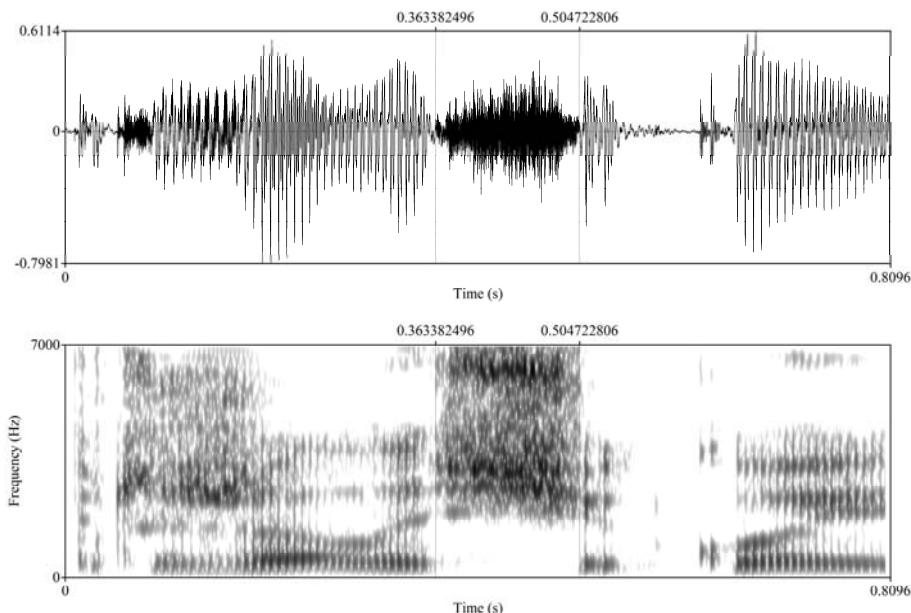


Рис. 1

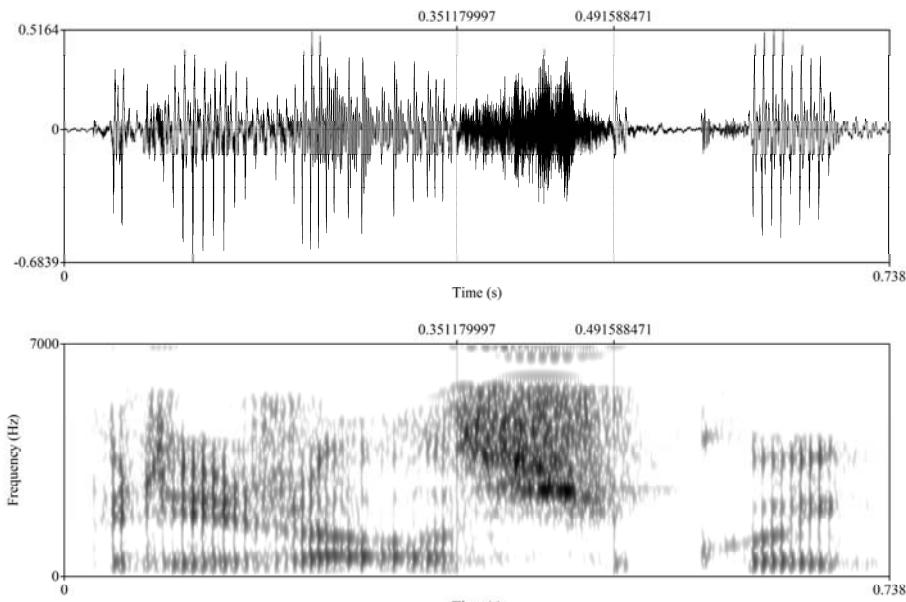


Рис. 2

В целом в 147 релевантных для анализа произнесений было зафиксировано 116 случаев полной ассимиляции согласных по месту образования (78,9%). Похожий результат (76%) был ранее зафиксирован для мягких согласных в другом эксперименте, в котором, в частности, исследовалось влияние твердости / мягкости конечного «свистящего» на его ассимиляцию начальным «шипящим» следующего слова. Тогда выяснилось, что на стыках фонетических слов «мягкий зубной щелевой» значительно чаще ассимилируется последующим передненебным щелевым (как твердым, так и мягким), чем соответствующий твердый: ассимиляция [с’] в конце фонетического слова была зафиксирована в 81 из 106 произнесений (76%), ассимиляция [с] – лишь в 30 из 102 произнесений (29%) [16. С. 72].

Измерение абсолютной длительности «шипящих» показало, что этот параметр может колебаться в широких пределах. Так, для группы примеров с «глубинным» /с’/ (далее условно названы примерами Группы 1) при полной ассимиляции «свистящего» длительность звука составила в соседстве с одним или двумя ударными гласными от 111,8 до 296,5 мс; в соседстве с безударными гласными – от 105,1 до 233 мс. Для группы примеров с отсутствием /с’/ на словесной границе (далее – Группы 2) длительность щелевого составила в соседстве с одним или двумя ударными гласными от 98,7 до 213,1 мс; в соседстве с безударными гласными от 88,9 до 232,4 мс.

Однако для целей настоящего эксперимента измерения абсолютной длительности фрикативных щелевых, образующихся в результате полной ассимиляции «свистящих» «шипящими», представляли лишь опосредованный интерес, поскольку они в крайне высокой степени зависят не только от положения этих звуков относительно ударных гласных, но и от индивидуальных

особенностей дикторов, в частности темпа речи. Главным параметром, представлявшим интерес в контексте изучения потенциальной нейтрализации /с'#ш':/ и /#ш':/, послужила **разность в длительности фрикативного шума** между примерами из Группы 1 и Группы 2. Важно добавить, что разность подсчитывалась для каждой релевантной для анализа пары примеров отдельно, т.е. в каждом случае сравнивалось произнесение «шипящего» **одним и тем же диктором в «минимальных парах»** (сочетаниях слов, имеющих одинаковый звуковой состав, за исключением наличия или отсутствия глубинного /с'/ перед словесной границей, и одинаковую акцентную структуру).

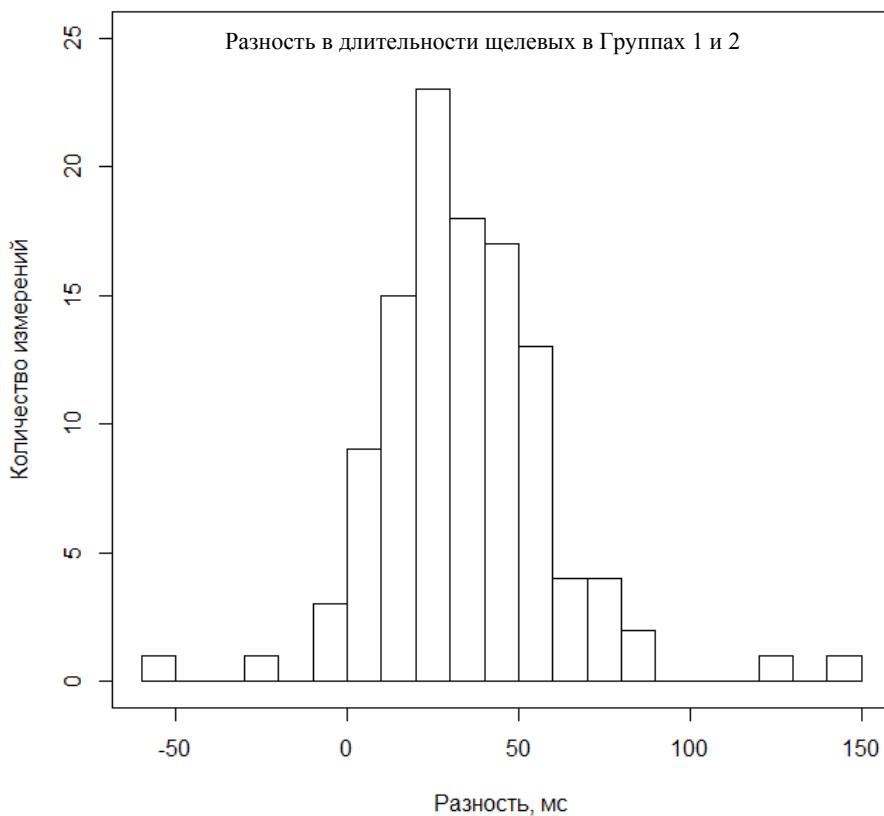


Рис. 3

Результаты попарного подсчета разности в длительности между «шипящими» в примерах Групп 1 и 2 представлены в абсолютных величинах в виде гистограммы на рис. 3. Количество релевантных для анализа пар (т.е. таких пар, в которых произнесение примеров Группы 1 и 2 было признано релевантным для анализа, при этом в примере Группы 1 наблюдалась полная ассимиляция по месту образования) составило 112. В подавляющем большинстве пар (107 из 112; 95,5%) разность оказалась положительной; таким образом, во всех этих парах в произношении «минимальной пары» одним и тем же диктором длительность [ш':] на месте /с'#ш':/ оказывалась больше, чем

длительность [ш':] на месте /#ш':/. На рис. 4 те же данные представлены в относительных величинах. В релевантных для анализа парах было посчитана в процентах длительность фрикативного шума в примерах Группы 1 по отношению к длительности фрикативного шума в примерах Группы 2 (таким образом, например, 120% означает, что согласный на месте /с'#ш':/ оказался на 20% более долгим, чем согласный на месте /#ш':/ в произношении контрастного примера тем же диктором).

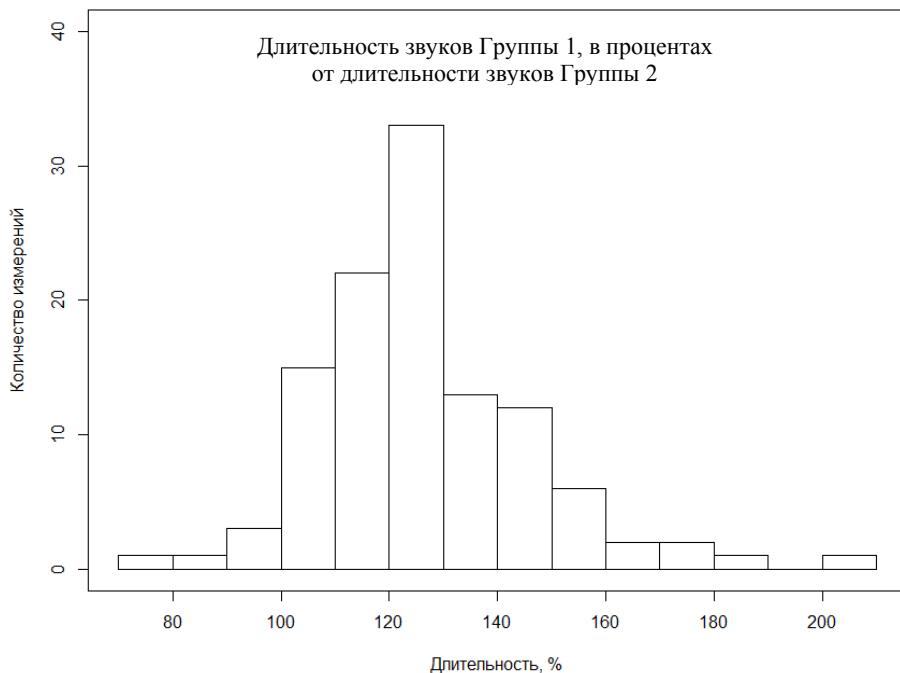


Рис. 4

В среднем согласные в примерах Группы 1 с ассимиляцией обладали на 34,9 мс (стандартное отклонение – 25,9), или 26% (стандартное отклонение – 19,4) большей длительностью по сравнению с согласными Группы 2. Статистический анализ полученных данных подтвердил гипотезу о том, что различия между длительностью «шипящих» в примерах разных групп являются значимыми. Для проверки гипотезы использовался парный t-критерий Стьюдента: $t(56) = -10,044$; $p < 0,001$.

4. Перцептивный эксперимент (Эксперимент 2) и его результаты

С целью установить, могут ли выявленные в рамках Эксперимента 1 различия в длительности щелевых согласных служить в восприятии носителей СРЛЯ сигналами о наличии или отсутствии /с'/ на словесной границе, был проведен перцептивный эксперимент (Эксперимент 2). В ходе него 15 информантам, студентам Школы лингвистики Высшей школы экономики в возрасте 17–19 лет, были предложены для прослушивания 35 тестовых сочетаний

ний слов, вырезанных из фразового контекста. Каждое сочетание предлагалось к прослушиванию дважды, интервал между двумя воспроизведениями одного и того же примера составлял 5–10 секунд. Все тестовые сочетания можно классифицировать следующим образом:

1. Примеры Группы 1 с ассимиляцией по месту образования, см., например, рис. 1 (12 стимулов, длительность фрикативного шума от 141 до 202 мс).

2. Примеры Группы 1 без ассимиляции по месту образования, т. е., с неоднородной нижней границей фрикативного шума на спектrogramме, см., например, рис. 2 (12 стимулов, длительность фрикативного шума от 134 до 245 мс).

3. Примеры Группы 2 (11 стимулов, длительность фрикативного шума от 135 до 198 мс).

Эксперимент 2 может быть условно разделен на три этапа. На первом этапе информантам было предложено 10 стимулов. Участники не были проинформированы о целях эксперимента, им предлагалось зафиксировать услышанные сочетания слов в орфографической записи на чистых бланках, таким образом, в ходе этого этапа проверялось не только то, как носители СРЛЯ воспринимают длительность «шипящих» на стыках слов, но и то, могут ли вообще информанты корректно интерпретировать предложенные стимулы.

После первого этапа участники эксперимента получили общее представление о стимульном материале, поэтому на втором и третьем этапах их задача была несколько упрощена: им предлагались бланки иного образца, с выбором предпочтительного варианта. Предлагалось выбрать наиболее соответствовавшее услышанному стимулу сочетание слов из двух вариантов (например, *зажгли щепки* или *зажглись щепки*).

Второй этап перцептивного эксперимента, включивший 12 стимулов, в основном преследовал цель проверить восприятие тех примеров, в которых на основании анализа динамических спектrogramм было зафиксировано отсутствие ассимиляции щелевых по месту образования. Для этого информантам предлагались к прослушиванию в произвольном порядке примеры с наличием и отсутствием ассимиляции, а также примеры Группы 2 (с отсутствием «свистящего»). Следует уточнить, что отдельные примеры с отсутствием ассимиляции были также включены в первый и третий этап, чтобы информанты не чувствовали резкого перехода между частями эксперимента.

Наконец, третий этап перцептивного эксперимента (13 стимулов) был в основном ориентирован на выявление способности информантов различать примеры Группы 1 и Группы 2 при осуществлении полной ассимиляции «свистящих» «шипящими». Как и на первом этапе, в основном к прослушиванию предлагались как примеры Группы 1 с полной ассимиляцией «по месту», так и некоторое количество примеров Группы 2.

Информанты в целом корректно воспринимали предложенные сочетания слов, что продемонстрировал анализ первого бланка ответов: на первом этапе лишь в 15 случаях (10%) участники не смогли записать услышанное или записали словосочетание неверно (например, записывали не *зажгли щепки* или *зажглись щепки*, а нечто совершенно иное).

Реакция информантов на 12 стимулов, в которых предполагалось отсутствие ассилияции по месту образования (иными словами, произнесение [с'ш']), в целом подтвердила корректность решений, принятых на основании анализа динамических спектрограмм. В 161 из 179 случаев (89,9%) участники эксперимента воспринимали присутствие «свистящего». При этом материал эксперимента не позволил обнаружить четкой зависимости между длительностью этих неоднородных участков фрикативного шума и их восприятием: небольшие колебания были зафиксированы в примерах как с малой длительностью кластера, так и с большой.

Наиболее ценные для настоящего исследования результаты были получены в ходе анализа реакции участников эксперимента на примеры с полной ассилияцией «свистящих» «шипящихими». При восприятии примеров Группы 1 с ассилияцией по месту образования участники эксперимента указали наличие «свистящего» в 90 из 177 случаев (50,8%). При восприятии примеров Группы 2, в которых /с'/ отсутствует на фонемном уровне, участники верно указали отсутствие «свистящего» лишь немногим чаще: в 88 из 154 случаев (57,1%). При этом колебания наблюдались в интерпретации всех без исключения стимулов, и зависимости реакции каждого из информантов от длительности исследуемых щелевых согласных обнаружить не удалось.

Таким образом, поскольку вероятность каждого из возможных ответов при случайном выборе составляла 50%, полученные данные можно использовать как свидетельство в пользу того, что участники эксперимента при восприятии стимулов не могли отличить примеры Группы 1 от примеров Группы 2, а при принятии решений не использовали в качестве критерия длительность фрикативного шума.

5. Обсуждение

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о фонетической реализации сочетания «глухой мягкий щелевой зубной» + «глухой мягкий щелевой передненебный» на стыке фонетических слов в СРЛЯ. Анализ записей 20 дикторов, носителей литературного произношения, подтвердил, что в указанных кластерах наблюдается факультативная ассилияция по месту образования. Перцептивный эксперимент продемонстрировал, что в том случае, если на динамической спектрограмме и осциллограмме наблюдается неоднородность фрикативного шума (в частности, изменение нижней границы шума на спектре), носители СРЛЯ получают из акустического сигнала информацию о наличии /с'/ на словесной границе.

Измерения длительности фрикативного шума показали, что щелевые согласные, образующиеся в результате полной ассилияции «свистящих» «шипящихими» на месте /с'ш':/, обладают большей длительностью, чем одиночные щелевые согласные в начале слова после гласного – /#ш':/. При попарном сравнении произнесений минимальных пар одним и тем же диктором выяснилось, что согласный на месте /с'ш':/ был более долгим, чем согласный на месте /#ш':/, в 95,5% случаев. В среднем при таком попарном сопоставлении согласные на месте консонантных кластеров оказались на 34,9 мс, или 26%, более долгими, чем согласные на месте одиночного «шипящего».

При этом проведенный перцептивный эксперимент продемонстрировал, что носители СРЛЯ при восприятии не пользуются этим различием: вне фразового контекста¹ они могут интерпретировать звук [ш'(:)] на стыке фонетических слов как одиничный «шипящий» или как последовательность «свистящий» + «шипящий». При этом на их решение не оказывает заметного влияния длительность звука, которая в стимулах колебалась в широких пределах от 135 до 202 мс. Вероятно, такое «безразличие» носителей языка к темпоральным характеристикам мягкого «шипящего» связано с тем, что избыточная длительность этого звука в СРЛЯ крайне нестабильна (по сравнению с длительностью других согласных русского языка, в частности твердого «шипящего») и может регулярно сокращаться в зависимости от позиции согласного относительно ударных гласных, других согласных и словесных границ (начало / конец фонетического слова).

Полученные экспериментальные данные могут служить свидетельством в пользу того, что в СРЛЯ в описанной позиции имеет место неполная нейтрализация одиночного мягкого «шипящего» //ш':/ и кластера /с'#ш':/. Неполная нейтрализация (англ. *incomplete neutralization*) – это разновидность фонологической нейтрализации (неразличения двух и более фонем в определенной позиции), при которой на фонетическом уровне сохраняются следы противопоставления. Явление «неполной нейтрализации» в основном описано в фонетической литературе в связи с конечным оглушением шумных согласных, в частности, примером является немецкий язык, в котором традиционно считаются омофонами такие пары слов, как *Rat* ‘совет’ и *Rad* ‘колесо’, однако анализ записей произношения минимальных пар носителями языка показывает, что акустические характеристики звуков в *Rad* и *Rat* не идентичны.

Исследования неполной нейтрализации, начавшиеся в 1980-х гг. [17, 18], продолжаются, все больше внимания уделяется методологическим трудностям обнаружения этого явления, в том числе влиянию орфографии. Так, серия экспериментов [19], проведенных на материале немецкого языка, вновь подтвердила, что в немецком языке длительность гласного, предшествующего конечному в слоге смычному шумному согласному, коррелирует с глухостью / звонкостью этого согласного. Гласный в позиции перед оглушенным согласным имеет большую длительность, нежели гласный перед глухим согласным. Перцептивный эксперимент показал, что при восприятии носители языка верно различали оглушенные и глухие согласные лишь в 55% случаев, причем даже эта невысокая точность достигалась в основном за счет идентификации глухих согласных, а оглушенные согласные верно идентифицировались примерно в 50% случаев (ср. похожие результаты перцептивного эксперимента в настоящем исследовании, где точность выше 50% была достигнута только за счет верной идентификации примеров без /с'/).

¹ Необходимо отметить, что в большинстве случаев образующаяся в результате фонетических процессов неоднозначность устраняется за счет контекста. Однако в некоторых синтаксических конструкциях возможно и сохранение неоднозначности, ср.: *В печке загорелись щепки* и односоставное предложение *В печке зажгли щепки*.

Оглушение конечных шумных согласных в СРЛЯ также становилось объектом исследований, посвященных неполной нейтрализации. Темпоральные различия глухих и оглушенных шумных согласных в позиции конца слова (меньшая длительность оглушенных согласных по сравнению с глухими), а также предшествующих им гласных (аналогично немецкому языку, см. выше) были впервые продемонстрированы на материале русского языка в работе [20]. Последовательные различия в длительности были обнаружены для гласных, предшествующих всем парным по глухости / звонкости шумным согласным, за исключением взрывных зубных. Впоследствии в работе [21] эта лакуна была заполнена: автору исследования удалось обнаружить различие в длительности гласных перед глухим /т/ и оглушенным /д/, при этом было отмечено, что в отличие от германских языков в славянских носителями наиболее заметных акустических различий при неполной нейтрализации являются не гласные, а согласные (такими параметрами являются длительность взрывной части, смычки и озвонченной части смычки – *voicing into closure*).

В проводившемся параллельно эксперименте [22] были получены похожие результаты; кроме того, было обнаружено влияние владения английским языком на носителей русского языка: в отличие от монолингвов, владевшие английским языком на продвинутом уровне русскоязычные дикторы при произношении глухих и оглушенных согласных использовали различия не только в длительности согласного, но и в длительности гласного и озвонченной части смычки или фрикативного шума. Наконец, в работах В. Харламова [23, 24] также сделан вывод о том, что в речи носителей СРЛЯ неполная нейтрализация при оглушении достигается за счет темпоральных характеристик согласных, а не гласных; кроме того, было описано влияние орфографии, наличия / отсутствия минимальных пар и методологических факторов на произношение и восприятие глухих и оглушенных согласных носителями СРЛЯ.

Результаты настоящего исследования демонстрируют, что неполная нейтрализация в СРЛЯ может иметь место не только при оглушении конечных согласных, но и при сокращении длительности мягкого «шипящего» в сочетаниях, образующихся в результате ассимиляции мягких щелевых согласных по месту образования на стыках фонетических слов. Проведенный эксперимент показал, что в парах типа *проявилась щедрость и проявила щедрость* образующиеся в результате ассимиляции двух звуков по месту образования долгие «шипящие» последовательно обладают большей длительностью, чем звуки на месте одиночного «шипящего» в интервокальной позиции. При этом носители СРЛЯ при восприятии не пользуются этими темпоральными различиями и, как следствие, не различают эти пары сочетаний слов на слух в том случае, если осуществляется полная ассимиляция по месту образования. Таким образом, в восприятии носителей языка одиночный /#ш:/ нейтрализован с кластером /с'#ш:/, однако на фонетическом уровне нейтрализация является неполной ввиду последовательных различий в длительности согласных.

В заключение необходимо подчеркнуть, что объектом настоящего исследования послужили только сочетания, образующиеся в позиции «внешнего сандхи». Полученные результаты позволяют предположить, что аналогичные темпоральные различия могут быть обнаружены и между мягкими шипящими

ми в позиции «внутреннего сандхи», на стыках морфем. Представляется продуктивным сравнивать, например, [ш'(:)] в похожих контекстах в парах типа *расцепить – защемить* (а также, возможно, *подписчик – ящик*). Однако даже если темпоральные различия будут обнаружены, проведение перцептивного эксперимента, призванного выяснить влияние этих акустических различий на восприятие носителей СРЛЯ, будет затруднено в связи с отсутствием минимальных пар.

Литература

1. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический словарь русского языка. Литературное произношение и ударение начала XXI века: норма и ее варианты. М.: АСТ-ПРЕСС, 2012. 1008 с.
2. Timberlake A. A Reference Grammar of Russian. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 503 p.
3. Kochetov A. Acoustics of Russian Voiceless Sibilant Fricatives // Journal of the International Phonetic Association. 2017. P. 1–28. DOI:10.1017/S0025100317000019.
4. Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М.: Просвещение, 1984. 383 с.
5. Панов М. В. Русская фонетика. М.: Просвещение, 1967. 440 с.
6. Coats, H. S. On the phonemic status of Russian [š':] // Russian Linguistics. 1997. № 21(2). P. 157–164.
7. Флайер М. Избранные труды. Т. 1: Работы по синхроническому языкоznанию. М.: Языки славянской культуры, 2010. 696 с.
8. Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru> (дата последнего обращения: 11.04.2017).
9. Русская грамматика. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словообразование. Морфология / Н.Ю. Шведова (гл. ред.). М.: Наука, 1980. 789 с.
10. Князев С.В. Об иерархии фонологических правил в русском языке (несколько новых соображений по поводу язв А.А. Реформатского) // Семиотика, лингвистика, поэтика: К столетию со дня рождения А.А. Реформатского. М., 2004. С. 133–150.
11. Русский язык и советское общество: Социолого-лингвистическое исследование. Фонетика современного русского литературного языка. Народные говоры / АН СССР. Ин-т рус. яз.; под ред. М.В. Панова. М.: Наука, 1968. 213 с.
12. Баринова Г.А. Редукция гласных в разговорной речи // Развитие фонетики современного русского языка. М.: Наука, 1971. С. 97–116.
13. Zsiga E.C. Phonetic alignment constraints: Consonant overlap and palatalization in English and Russian // Journal of Phonetics. 2000. № 28(1). P. 69–102.
14. Гусева М.Е. О некоторых фонетических явлениях на стыках слов в современном литературном русском языке // Проблемы фонетики, IV. М., 2002. С. 196–200.
15. Boersma P., Weenink, D. Praat: doing phonetics by computer [Computer program]. Version 6.0.22 retrieved 25.11.2016 from <http://www.praat.org/>
16. Дурягин П. В. Коартикуляционные изменения согласных по месту и способу образования на стыках слов в современном русском литературном языке: дис. канд. филол. наук. М., 2016. 212 с.
17. Port R., O'Dell M. Neutralization of syllable-final voicing in German // Journal of Phonetics. 1985. № 13(4). P. 455–471.
18. Dinnsen D.A., Charles-Luce J. Phonological neutralization, phonetic implementation and individual differences // Journal of Phonetics. 1985. № 12 (1). P. 49–60.
19. Roettger T.B., Winter B., Grawunder S., Kirby J., Grice M. Assessing incomplete neutralization of final devoicing in German // Journal of Phonetics. 2014. № 43(1). P. 11–25.
20. Pye S. Word-final devoicing of obstruents in Russian // Cambridge Papers in Phonetics and Experimental Linguistics. 1986. № 5. P. 1–10.
21. Shrager M. Neutralization of word-final voicing in Russian // Journal of Slavic Linguistics. 2012. № 20. P. 71–99.
22. Dmitrieva O., Jongman A., Sereno J. Phonological neutralization by native and non-native speakers: The case of Russian final devoicing // Journal of Phonetics. 2010. № 38(3). P. 483–492.

23. Kharlamov V. Incomplete neutralization of the voicing contrast in word-final obstruents in Russian: Phonological, lexical, and methodological influences // Journal of Phonetics. 2014. № 43(1). P. 47–56.
24. Kharlamov V. Perception of incompletely neutralized voicing cues in word-final obstruents: The role of differences in production context // Laboratory Phonology. 2015. 2015. № 6(2). P. 147–165.

INCOMPLETE NEUTRALISATION AS A RESULT OF PLACE ASSIMILATION OF PALATALISED SIBILANTS AT WORD BOUNDARIES IN MODERN STANDARD RUSSIAN

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 55–69. DOI: 10.17223/19986645/50/4

Pavel V. Duryagin, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: pavelus-tug@mail.ru

Keywords: Modern Standard Russian, phonetics, external sandhi, coarticulation, fricatives, place assimilation, incomplete neutralisation.

The paper describes a phonetic experiment that dealt with the place assimilation of voiceless palatalised alveolar fricative /s^j/ by following postalveolar alveo-palatal fricative /ç:/ at word boundaries in Modern Standard Russian. As the former sibilant is commonly described as a geminated sound and Russian prohibits long consonants in positions near other consonants, the assimilation process can potentially lead to neutralisation in such minimal pairs of word combinations as *proyavila shchedrost'* [(she) showed generosity] and *proyavilas' shchedrost'* [generosity showed itself].

The participants of the experiment, 20 native Russian speakers (10 men and 10 women aged 18 to 40), were instructed to read a list of sentences that included 8 minimal pairs of target word combinations embedded in carrier phrases. All stimuli were recorded in intervocalic position; phrasal accent on stimuli was avoided; accent structure of the target word combinations was deliberately varied (clusters were recorded in all possible positions with regard to stressed and unstressed vowels).

All recordings were analysed using computer software Praat. The duration and homogeneity of fricative noise were measured. Spectral analysis showed that in 78% of cases place assimilation of sibilants at word boundaries was complete. The measurements of duration confirmed that this parameter could vary widely, mostly in connection with stress. The duration of [ç(:)] sounds within minimal pairs pronounced by the same speaker showed that in similar conditions in 95.5% of cases the sound representing the underlying /s^j#ç:/ was longer than the surface representation of the underlying /#ç:/ (mean difference 34,9 ms; mean duration ratio 1,26).

In order to find out whether these durational differences can be used by native speakers to distinguish minimal pairs a perception experiment was conducted. 15 native speakers, students aged 17–19, were presented with 35 stimuli (word consequences recorded during the described above experiment, but removed from phrasal context; the duration of the fricative varied widely from 135 to 202 ms). The participants' task was to write down what they think they heard. Their responses demonstrated that they could not reliably distinguish tokens with place assimilation of underlying /s^j/ (the number of correct guesses was at a chance rate – 50.8%) and tokens without underlying /s^j/ (the number of correct guesses was only slightly larger – 57.1%) despite the significant durational differences.

The described phenomenon can be interpreted as a case of incomplete neutralisation. The experiments showed that the neutralisation of /#ç:/ and /s^j#ç:/ at word boundaries in Russian is phonetically incomplete due to the significant durational differences between the produced fricatives, although these acoustic cues were not used by native speakers in distinguishing minimal pairs.

References

1. Kalenchuk, M.L., Kasatkin, L.L. & Kasatkina, R.F. (2012) *Bol'shoy orfoepicheskiy slovar' russkogo jazyka. Literaturnoe proiznoshenie i udarenie nachala XXI veka: norma i ee varianty* [A large orthoepic dictionary of the Russian language. Literary pronunciation and stress of the beginning of the 21st century: the norm and its variants]. Moscow: AST-PRESS.
2. Timberlake, A. (2004) *A Reference Grammar of Russian*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Kochetov, A. (2017) Acoustics of Russian Voiceless Sibilant Fricatives. *Journal of the International Phonetic Association*. pp. 1–28. DOI:10.1017/S0025100317000019

4. Avanesov, R.I. (1984) *Russkoe literaturnoe proiznoshenie* [Russian literary pronunciation]. Moscow: Prosveshchenie.
5. Panov, M.V. (1967) *Russkaya fonetika* [Russian phonetics]. Moscow: Prosveshchenie.
6. Coats, H.S. (1997) On the phonemic status of Russian [S̥']. *Russian Linguistics*. 21(2). pp. 157–164.
7. Flyer, M. (2010) *Izbrannye trudy* [Selected works]. Vol. 1. Translated from English. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
8. Russian Language National Corpus. [Online] Available from: <http://www.ruscorpora.ru>. (Accessed 11.04.2017).
9. Shvedova, N.Yu. (ed.) (1980) *Russkaya grammatika* [Russian grammar]. Vol. 1. Moscow: Nauka.
10. Knyazev, S.V. (2004) Ob ierarkhii fonologicheskikh pravil v russkom yazyke (neskol'ko novykh soobrazheniy po povodu yazv A. A. Reformatskogo) [On the hierarchy of phonological rules in the Russian language (several new considerations on the *yazv* of A.A. Reformatsky)]. In: Vinogradov, V.A. (ed.) *Semiotika, lingvistika, poetika: K stoletiyu so dnya rozhdeniya A.A. Reformatskogo* [Semiotics, linguistics, poetics: To the centenary of the birth of A.A. Reformatsky]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
11. Panov, M.V. (ed.) (1968) *Russkiy yazyk i sovetskoe obshchestvo: Sotsiologo-lingvisticheskoe issledovanie. Fonetika sovremennoego russkogo literaturnogo yazyka. Narodnye govory* [Russian language and Soviet society: Sociological and linguistic research. Phonetics of the modern Russian literary language. Folk dialects]. Moscow: Nauka.
12. Barinova, G.A. (1971) Reduktsiya glasnykh v razgovornoj rechi [Reduction of vowels in colloquial speech]. In: Glovinskaya, M.Ya. et al. *Razvitie fonetiki sovremennoego russkogo yazyka* [Development of phonetics of the modern Russian language]. Moscow: Nauka.
13. Zsiga, E.C. (2000) Phonetic alignment constraints: Consonant overlap and palatalization in English and Russian. *Journal of Phonetics*. 28(1). pp. 69–102.
14. Guseva, M.E. (2002) O nekotorykh foneticheskikh yavleniyakh na stykakh slov v sovremenном literaturnom russkom yazyke [On some phonetic phenomena at the junctions of words in the modern literary Russian language]. In: Kasatkina, R.F. (ed.) *Problemy fonetiki* [Problems of phonetics]. Vol. IV. Moscow: Nauka.
15. Boersma, P. & Weenink, D. (n.d.) *Praat: doing phonetics by computer* [Computer program]. Version 6.0.22. [Online] Available from: <http://www.praat.org/>. (Accessed: 25.11.2016).
16. Duryagin, P.V. (2016) *Koartikulyatsionnye izmeneniya soglasnykh po mestu i sposobu obrazovaniya na stykakh slov v sovremennom russkom literaturnom yazyke* [Co-articulate changes in consonants in place and way of formation at the joints of words in modern Russian literary language]. Philology Cand. Diss. Moscow.
17. Port, R. & O'Dell, M. (1985) Neutralization of syllable-final voicing in German. *Journal of Phonetics*. 13(4). pp. 455–471.
18. Dinnsen, D.A. & Charles-Luce, J. (1985) Phonological neutralization, phonetic implementation and individual differences. *Journal of Phonetics*. 12(1). pp. 49–60.
19. Roettger, T.B. et al. (2014) Assessing incomplete neutralization of final devoicing in German. *Journal of Phonetics*. 43(1). pp. 11–25.
20. Pye, S. (1986) Word-final devoicing of obstruents in Russian. *Cambridge Papers in Phonetics and Experimental Linguistics*. 5. pp. 1–10.
21. Shrager, M. (2012) Neutralization of word-final voicing in Russian. *Journal of Slavic Linguistics*. 20. pp. 71–99.
22. Dmitrieva, O., Jongman, A. & Sereno, J. (2010) Phonological neutralization by native and non-native speakers: The case of Russian final devoicing. *Journal of Phonetics*. 38(3). pp. 483–492.
23. Kharlamov, V. (2014) Incomplete neutralization of the voicing contrast in word-final obstruents in Russian: Phonological, lexical, and methodological influences. *Journal of Phonetics*. 43(1). pp. 47–56.
24. Kharlamov, V. (2015) Perception of incompletely neutralized voicing cues in word-final obstruents: The role of differences in production context. *Laboratory Phonology*. 6(2). pp. 147–165. DOI: 10.1515/lp-2015-0005

УДК 811

DOI: 10.17223/19986645/50/5

Л.Г. Ефанова

СЕМАНТИКА НОРМЫ ПРОГНОЗИРУЕМОСТИ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С ДИСКУРСИВНЫМИ СЛОВАМИ

В статье исследуются содержание одной из частных разновидностей семантической категории нормы и особенности ее выражения с помощью дискурсивных слов. Норма прогнозируемости отражает представления говорящих о возможности оценить развитие ситуации или положение дел в будущем исходя из знания об обычном состоянии вещей и о причинно-следственной обусловленности событий, в то время как разные виды дискурсивных слов способствуют выражению разнообразных условий возникновения этой оценки.

Ключевые слова: семантическая категория нормы, дискурсивные слова, семантика прогнозируемости, категориальные свойства нормы, непредвиденная ситуация, оценка будущих событий.

1. Введение

В современной лингвистике активно обсуждается вопрос о месте в русской языковой картине мира представлений о предсказуемости / непредсказуемости происходящих в мире изменений и об оценке этого свойства явлений, отраженной в значениях языковых единиц. Прогнозируемость развития событий является одним из аспектов исследования русского дискурса и рожденных им картин мира [1. С. 55–79; 2. С. 134–142. 3. С. 525–528; 4. С. 139–164; 5]. Это свойство ситуаций учитывается при анализе семантики глаголов и союзных предложений [6; 7; 3. С. 478–517; 8; 9], оно актуально при исследованиях художественного дискурса [10, 11, 12] и для решения прикладных задач разработки диалоговых компьютерных систем [7], адекватного перевода на другие языки русских текстов [13. С. 25–35; 14; 15] и преподавания русского языка как иностранного [16].

В качестве средств выражения семантики прогнозируемости нередко называют слова, которые принято относить к разряду дискурсивных [2. С. 133–164; 6; 13; 14; 15]. Вместе с тем мнения лингвистов о том, какое место занимает обозначаемое с помощью этих слов свойство предсказуемости / непредсказуемости событий в русской языковой картине мира, не всегда совпадают. С одной стороны, выраженная в некоторых лингвоспецифичных словах (таких, как *авось*, *на всякий случай, если что*) идея непредсказуемости мира признается ключевой для русского языка [17. С. 430; 15. С. 154; 18; 19. С. 144]. С другой же стороны, не вызывает сомнений и то, что русские слова и выражения, «указывающие на нормальное положение вещей и естественный ход событий: *естественно, что..., как и следовало ожидать* и т.п.» [20. С. 90], отражают представления носителей языка о возможности предсказать

то или иное событие в будущем не только как о желательном, но и как о должном (нормальном) положении дел.

Отмеченная неоднозначность дает основание рассмотреть выраженное в высказываниях с дискурсивными словами свойство предсказуемости / не-предсказуемости с точки зрения семантической категории нормы с целью выявить связанные с этим свойством представления носителей русского языка о должном (содержание нормы) и исследовать условия, при которых эти представления выражаются с помощью дискурсивных единиц. Исследование проведено на материале, включающем свыше ста дискурсивных слов и около восьмидесяти контекстов их употребления.

В статье выдвигается гипотеза о норме прогнозируемости как элементе нормативной языковой картины мира. Содержанием данной нормы являются представления носителей языка о том, что результаты их собственных действий и состояние окружающего мира должны соответствовать ожиданиям или намерениям человека. Эти представления отражаются в языке с помощью специальных средств, в том числе за счет высказываний с дискурсивными словами. При таком подходе норма прогнозируемости предстает как частная разновидность семантической категории нормы наряду с такими ее видами, как норма степени достижения результата [21, 22], параметрическая норма [23; 4. С. 234–256], норма видовой идентичности [24] и др. [25].

2. Норма прогнозируемости как разновидность семантической категории нормы

Семантическая категория нормы отражает присутствующие в языковом сознании коллектива и регулярно выражаемые при помощи языковых средств типичные представления о количественных и качественных характеристиках объекта того или иного класса, а также о его месте в картине мира, которые приняты носителями языка в качестве должного состояния для этих объектов и способны выступать в качестве средства их измерения и оценки [26. С. 15]. Категория нормы обладает набором признаков, свойственных всем ее частным разновидностям. Среди этих признаков наиболее значимыми для нашего исследования являются следующие:

– двойственность нормы, являющаяся следствием того, что оценка объекта с точки зрения нормы производится относительно идеальных представлений о том, каким должен быть этот объект [27. С. 25]. По этой причине «существенным компонентом нормативной ситуации является наличие антипода... норма и аномалия воспринимаются как таковые только в сравнении» [28. С. 370]. В частности, неожиданные ситуации или события могут быть оценены как отклоняющиеся от нормы лишь на фоне знания о естественном ходе событий;

– словесная невыраженность нормы как ее категориальный признак [29. С. 48] обусловлена тем, что «соответствие норме как бы входит в фоновые знания», поэтому «выражения, связанные с нормой, в первую очередь указывают на отклонения от нее» [20. С. 90], в то время как соответствующие норме положения дел часто не привлекают к себе внимания и не маркируются.

Данное свойство нормы проявляется в количественном преобладании языковых единиц, обозначающих аномалии, по сравнению с такими, которые называют соответствующие норме положения дел [30. С. 581]. Особенностью нормы прогнозируемости является то, что дискурсивные слова, называющие отклонения от нее, не только более многочисленны по сравнению с теми, которые обозначают соответствующие норме ситуации, но и обладают большей частотностью [31];

– положительное или нейтральное отношение говорящего к соответствующим норме положениям дел [32. С. 21], *в то время как* аномалии, как правило, воспринимаются их наблюдателями или участниками отрицательно. При оценке событий с точки зрения их прогнозируемости это свойство нормы проявляется в том, что «хорошее воспринимается как норма, как некий стандарт бытия», возможные изменения в котором заранее оцениваются как негативные [33. С. 136–137];

– прогнозирующий характер нормы заключается в том, что нормы способны содержать в себе как бы проекцию будущих событий или состояния объекта в будущем [34. С. 16; 29. С. 18]. Благодаря этому свойству любая норма способна отражать «то положение вещей, которое является естественным для данной ситуации и воспринимается как должное, так что его отсутствие идет вразрез с ожиданиями потенциальных участников ситуации» [35. Апресян С. 519]. Прогнозирующий характер свойствен исследуемой нами норме уже в силу ее содержания.

Возможно, именно эта особенность нормы прогнозируемости является причиной того, что представления о соответствующих или не соответствующих ей положениях дел часто выражаются не за счет их прямой номинации с помощью лексических единиц, но другими способами. В частности, эти представления включены в значения форм будущего времени (напр.: *Завтра мы едем / поедем на дачу*) и ирреальных наклонений, многих глаголов и модальных предикативов (напр.: *Он собирается уезжать. Ему нужно уехать*), а также некоторых фразеологизмов (напр.: *далеко пойдет*). Среди средств выражения отношения к норме прогнозируемости особое место занимают так называемые дискурсивные слова.

3. Дискурсивные слова, участвующие в выражении отношения к норме прогнозируемости

С точки зрения нормы прогнозируемости оцениваются, как правило, факты не сами по себе, но в интерпретации говорящего, т.е. данная норма отражает отношение субъекта речи к содержанию сообщения как важнейшей составляющей коммуникативной ситуации. По этой причине одним из основных средств выражения отношения к этой норме являются, как мы полагаем, дискурсивные слова. Эти элементы языка, выражающие «состояние сознания говорящего» (Т.М. Николаева) (в данном случае его ожидания), представляют собой «единицы, которые, с одной стороны, обеспечивают связность текста, с другой – самым непосредственным образом отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего, позицию говорящего: то, как говорящий

интерпретирует факты, как он их оценивает с точки зрения степени важности, правдоподобности, вероятности и т.п.» [36. С. 7].

Отдельные разряды неполнозначных слов, выражающих отношение к норме прогнозируемости, получали в лингвистических работах разные наименования, обусловленные целями исследований: показатели достоверности / недостоверности (напр.: *кажется, наверное, видимо, по-видимому, должно быть, вероятно, как будто*), используемые в случаях, когда говорящий строит высказывание «под влиянием своего опыта и своих знаний о возможном и / или нормативном ходе событий» [6. С. 94]; эгоцентрические слова или эгоцентрики (например, союзы *а* и *но*) [13. С. 36–47]; специализированные корреляты значения союзов (напр.: *(и) все-таки, следовательно, стало быть* и др.) [37. С. 331]. Эти группы языковых единиц относили к разрядам модальных (т.е. выражающих ту или иную субъективную модальность) [20. С. 90, 92], структурных [38], дейктических [39] или дискурсивных слов [2. С. 149–164; 18. С. 433–454 и др.]. Последний из перечисленных терминов в наибольшей степени отвечает целям нашего исследования, поскольку «ставит во главу угла семантическую специфику слова – его участие в соотнесении “вещественного” содержания высказывания с коммуникативной ситуацией, – отодвигая на второй план его формальные характеристики» [40. С. 292].

С помощью дискурсивных слов обозначенная в высказывании ситуация может быть представлена как соответствующая или не соответствующая норме прогнозируемости. Наиболее очевидным образом соответствие этой норме обозначается с помощью вводных слов, выражающих уверенность говорящего в том, что некоторая ситуация будет иметь место, или удовлетворение тем, что ожидания оправдались (напр.: *конечно, естественно (что...), разумеется, в порядке вещей, как и следовало ожидать / как и ожидалось, как кто-л. и думал, действительно и т.д.*). На соответствие ситуации данной норме также могут указывать высказывания с некоторыми частицами (напр.: *А вот и (они)! А как же!*) и союзами, в частности конструкции с союзом *и*, обозначающие обычную последовательность действий или событий (напр.: *Посетитель вошел и поздоровался. Небо покрылось тучами, и пошел дождь*) или набор дополняющих друг друга признаков (напр.: *У девушки длинные и стройные ноги. Мальчик внимателен и аккуратен*).

Намного разнообразнее средства языка, участвующие в обозначении ситуаций, не соответствующих норме прогнозируемости. В число этих средств входят союзы (*а, но, да и, однако* и др.), частицы (*уже, еще, даже, было, аж* и др.), вводные слова (*как ни странно, странное дело* и др.), междометия (*Ничего себе! Вот так клюква* и т.д.) и слова местоименного происхождения (напр.: *Что-то голова болит, Какой-то ты бледный*). Анализ высказываний, в которых они используются, позволяет не только описать особенности употребления этих слов, но и выявить причины, по которым та или иная ситуация оценивается говорящим как аномальная.

4. Причины отклонений от нормы прогнозируемости в оценке носителей русского языка

Отклонением от нормы прогнозируемости является любое несоответствие между реальной ситуацией и ожиданиями субъекта речи, возникшее вследствие:

- 1) неожиданного развития событий, которое субъект считал предсказуемым, или изменений в положении дел, которое он считал статичным (напр.: *Небо покрылось тучами, но дождя не было; Вдруг полил дождь*);
- 2) сочетания в объекте свойств, одни из которых представляются говорящим как положительные, а другие – как отрицательные (напр.: *Такой большой, а плачешь*);
- 3) неочевидности для субъекта причинно-следственных связей между данным положением дел и теми условиями, которые могли бы способствовать его возникновению (напр.: *Что-то голова болит*).

Перечисленные причины данной аномалии свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что норма прогнозируемости обязана своим существованием таким свойствам человеческого сознания, как инерционность и способность устанавливать причинно-следственные отношения между явлениями действительности.

4.1. Закон инерции как фактор, влияющий на использование дискурсивных слов при оценке ситуации с точки зрения нормы прогнозируемости

Инерционность мышления проявляется в том, что «человек склонен в своих мыслях о будущем руководствоваться “законом инерции” и ожидает прежде всего сохранения существующего положения дел» [41. С. 188]. Названный закон применим, с одной стороны, к стабильно развивающимся или циклическим явлениям, а с другой – к статичным положениям дел и реализуется в действии некоторых закономерностей, или принципов. Эти принципы, сформулированные В.З. Санниковым с целью исследовать особенности употребления союза *но*, актуальны и при анализе высказываний, в которых отклонения от нормы прогнозируемости обозначаются при помощи других средств языка.

Первый из названных принципов отражает представления носителей языка о том, что «мир, окружающий человека, устойчив к изменениям. Исчезновение чего-то имеющегося и / или возникновение чего-то нового – ненормальность» [42. С. 259], напр.: *Была у меня собака, но потерялась*. Фиксация нарушений в действии этого принципа не всегда требует от говорящего рефлексии по поводу условий возникновения аномалии и может иметь характер эмоциональной реакции на неожиданность, выраженной с помощью междометий, например: *Aх! (Какой сюрприз), Ой! (Кто это?), Ба! (Кого я вижу!), Боже! (Как он изменился!), Ну и ну! Какими судьбами? Вот так клюква! Здравствуйте, я ваша тетя!* и т.д. Для обозначения неожиданно возникшей ситуации могут быть использованы также предложения с союзами *а, да, да и* (напр.: *А он возьми да (и) скажи*).

Значение нарушения привычного положения дел свойственно высказываниям с некоторыми частицами, многие из которых способны вносить в предложение дополнительные оттенки смысла. В частности, частица *как* наряду с семантикой неожиданности передает значение интенсивности действия, напр.: *А потом как закричит на меня!* (К. Чуковский). В отношении частицы *даже* (ее разговорного варианта *аж* и ее синонима *и*) неоднократно отмечалось, что следующая за ней часть высказывания содержит информацию не только необычную, но такую, которая здесь менее всего ожидается [43; 44. С. 686; 45. С. 200], напр.: *План увеличили аж вдвое! И он туда же!* В качестве примера, в котором содержится анализ содержания этого ожидания (ситуативной семантики нормы) может служить перифразированное Г.Е. Крейдлиным предложение *Даже Иван сегодня опоздал на работу*: «‘(а) Иван сегодня опоздал на работу; (б) Некоторое множество людей сегодня опоздало на работу; (с) Иван был последним человеком из тех людей, о которых можно было бы предположить, что они сегодня опаздывают на работу’» [46. С. 110].

Не соответствующее норме прогнозируемости положение дел может быть отмечено также с помощью частиц *уже* и *только*. При этом частица *только*, имеющая временное значение ‘не раньше, чем’, указывает на то, что событие произошло позднее, чем ожидал говорящий (напр.: *Он женился только в 50 лет*), в то время как слово *уже* используется для указания на событие, которое произошло раньше ожидаемого (напр.: *Он уже ушел*), или на «количественный признак, оцениваемый как весьма большой (больший, чем можно было бы ожидать)», напр.: *Уже два года я работаю самостоятельно* [47. С. 133–134].

Частица *так* и в высказываниях с отрицанием указывает на то, что развитие ситуации не завершилось итогом, которого ожидал говорящий, напр.: *Брат так и не женился*. Эта частица способна вступать в отношения противопоставления со словом *еще*, указывающим на неизбежность события в будущем. В частности, можно предположить, что именно антонимией названных частиц объясняется необычность звучания строки в стихотворении Б. Пастернака: *Светало, но не рассвело*, которая, в зависимости от того, какое слово займет позицию перед отрицанием, может приобретать значение оптимистического прогноза (*Светало, но еще не рассвело*) или констатировать необратимую аномалию (*Светало, но так и не рассвело*).

Действие второго из сформулированных В.З. Санниковым принципов, реализующих закон инерции, проявляется в том, что «если наметилось какое-то отклонение, то нормально движение в том же направлении..; возвращение к исходному положению – ненормальность» [42. С. 259]. Нарушение этого принципа обозначается с помощью союза *но* или частицы *было*, которая может быть использована в высказывании вместе с союзом, ср.: *Поднявшийся было ветер постепенно стих и Шкаф накренился (было), но не упал.*

4.2. Закон причинно-следственной обусловленности как фактор, влияющий на использование дискурсивных слов при оценке ситуации с точки зрения нормы прогнозируемости

Благодаря способности человека устанавливать причинно-следственные отношения между явлениями действие нормы прогнозируемости распространяется не только на статичные или регулярно возобновляющиеся объекты, но и на явления, способные к закономерному и потому предсказуемому развитию, а также на целенаправленные действия. При этом роль причинно-следственной обусловленности событий настолько существенна для данной нормы, что ее отсутствие само по себе может стать причиной свойственной аномалиям негативной оценки обозначенного в высказывании положения дел. Как отмечает А.Д. Шмелёв, это может относиться и «к ситуации, в которой, казалось бы, ничего плохого нет; ср. *Отношения у них были довольно прохладные – и вдруг водой не разольешь!*» [2. С. 159].

Напротив, высказывания с предлогами и подчинительными союзами, выражающими значения причины, условия или цели, обозначают обычно ситуации, которые соответствуют норме и не вызывают к себе отрицательного отношения (напр.: *найти работу за границей благодаря знанию языков; поехать на воды для лечения; медаль за заслуги перед отечеством, Если выполним план, то получим премию*). Выражению этих значений способствуют также дискурсивные слова, выступающие в роли специализированных коррелятов семантики союзов (напр.: *следовательно, значит, стало быть, действительно* и др.). Значение прогнозируемости событий вследствие их причинно-следственной обусловленности способны выражать и некоторые сочинительные союзы; в частности, это значение нередко приобретает союз *и* [48. С. 797; 42. С. 286]. Можно предположить, что именно это значение передает союз *и* в высказываниях *поскользнулся и* (поэтому) *упал; заболел и умер* (умер от болезни).

Причинно-следственные отношения в предложении не всегда выражены явным образом, но могут относиться к его «скрытой» семантике, когда говорящий при оценке того или иного положения дел опирается не только на информацию о конкретной ситуации, но и на общепринятые представления о норме. В частности, именно наличием указания нанеобозначенную, но известную всем коммуникантам причинно-следственную связь между ситуациями предложения с союзом *но* отличаются от тех, в которых используется союз *а* [14. С. 68]. Различия между этими предложениями демонстрируют несколько измененные нами примеры из цитируемой работы Е.В. Урысон: *Стояла зима, но он гулял в пиджаке (потому что хотел показать всем, какой он закаленный)* и *Стояла зима, а он (почему-то) гулял в пиджаке; Был ветер, но (благодаря слаженной работе пожарных) сгорел всего один квартал и Был ветер, а сгорел (почему-то) всего один квартал*.

Следует отметить, что названное различие между союзами *а* и *но* проявляется только в том случае, если союзное высказывание обозначает ситуацию с участием целеполагающего субъекта, т.е. когда реализуется еще один из отмеченных В.З. Санниковым принципов – принцип успешности целенаправленного действия [42. С. 253]. Согласно наблюдениям Е.В. Падучевой,

использование в таких высказываниях союза *но* означает, что «ненормальный ход событий был результатом сознательного выбора (соответствовал намерениям) субъекта», тогда как союз *а* «просто сополагает факты» и указывает на то, что субъект действия «не владеет ситуацией» [13. С. 42], ср.: *Он страдал, но молчал и Пора выходить, а я не одета*. Если говорящий желает отметить отсутствие связи между двумя неконтролируемыми событиями, он может использовать любой из названных союзов, ср.: *Небо хмурое, а дождя нет и Небо хмурое, но дождя нет*.

Различие между союзами *а* и *но* состоит также в способности союза *но* характеризовать как не соответствующую норме прогнозируемости не только саму последовательность названных в высказывании событий, но и другие компоненты ситуации. В частности, можно предположить, что в часто цитируемом примере из трудов В.З. Санникова *Он заболел, но скоро выздоровел* союз, соединяя две части высказывания, вопреки распространенному мнению, характеризует как ненормальность не саму последовательность обозначенных в нем событий, а то, что одно из них наступило раньше, чем ожидал говорящий. При изменении содержания высказывания за счет уточнения: ⁷*Он заболел раком, но выздоровел* союз выражает удивление говорящего по поводу избавления от болезни, которую он считает неизлечимой. Вне такого контекста высказывание ⁷*Он заболел, но выздоровел*, как и предложение *Он заболел ОРЗ, но выздоровел*, выглядит не совсем обычным (ср. вполне обычное: *Он заболел ОРЗ с тяжелыми осложнениями, но выздоровел*). Причины названной особенности употребления союза *но* мы видим в отсутствии между событиями *заболел* и *выздоровел* причинно-следственной связи (в отличие от *заболел и умер*), а также в возможности обозначить обычную последовательность событий другим способом (напр.: *заболел + выздоровел = переболел*). Это наблюдение подтверждает, как нам кажется, мнение А.Д. Шмелёва о том, что «в русском дискурсе, когда причины явления непонятны, использование специальных маркеров невыявленности каузальных связей оказывается почти обязательным. Тем самым в русской речи причинная обусловленность подается как норма, а ее отсутствие – как аномалия» [18. С. 447].

Поскольку «в сообщениях о девиациях ощутима позиция обстоятельства причины», «ее нередко замещает неопределенное местоимение: *Поезд почему-то опоздал; Почему-то мне хочется есть, хотя еще не время обеда*» [30. С. 77]. События, причины которых не являются очевидными, и действия, цели которых неясны, как правило, противоречат ожиданиям субъекта, т.е. являются для него непрогнозируемыми. Поэтому высказывания с местоименными наречиями *почему-то* и *зачем-то* (напр.: *Вася почему-то не пришел; Зачем-то пришел Коля*) выражают, наряду с семантикой неопределенности причины и цели, также значение несоответствия положения дел ожиданиям субъекта: по его мнению, события должны были развиваться иначе. Отклонения от нормы прогнозируемости вследствие нарушения принципа причинно-следственной обусловленности могут обозначаться при помощи других местоименных слов с постфиксом *-то*, которые в этом случае приобретают свойственную дискурсивным словам способность выражать отношение говорящего к ситуации, напр.: *Что-то* (или: *какой-то*) *ты бледный; Мне как-то*

не по себе – в приведенных примерах неопределенными являются не признак или состояние, о которых идет речь, а причины их возникновения.

Значение нарушения причинно-следственной связи между событиями может быть выражено не только в высказываниях с союзами и неопределенными местоимениями, но также с помощью слова *вдруг*. Это слово указывает на то, что ситуация не соответствует известной говорящему норме и не связана причинно-следственными отношениями с тем, что он знает об этой ситуации [2. С. 151; 20. С. 90; 18. С. 447], напр.: *Вдруг пришел Петя. Прекратившийся было дождь вдруг снова полил. С чего бы вдруг?*

Проявлением закона причинно-следственной обусловленности является, на наш взгляд, и выделенный В.З. Санниковым принцип гармоничности, согласно которому «нормально, когда признаки одного и того же явления относятся к одному полюсу (оба – к положительному или оба – к отрицательному)» [42. С. 260], напр.: *Она добрая и умная*. Нарушение этого принципа маркируется в высказывании с помощью союзов *но* и *зато*, ср.: *Она красивая, но глупая и Она некрасивая, зато умная*. В пользу нашего мнения свидетельствует возможность выразить мнение говорящего о ситуациях, в которых этот принцип соблюден или нарушен, с помощью высказываний с условным или причинно-следственным союзом, напр.: *Если она добрая, то наверняка и умная; У вас нежности нет: одна правда, стало быть – несправедливо* (Ф.М. Достоевский).

5. Содержание и способы выражения отношения к норме прогнозируемости при оценке будущих событий

Особым образом семантика нормы прогнозируемости выражается при оценке предполагаемых событий в будущем. Основным содержанием высказываний с дискурсивными словами являются в этом случае разные виды прогнозов, которые различаются по некоторым основаниям: 1) по оценке прогнозируемых событий; 2) по ее явному или скрытому характеру; 3) по степени уверенности говорящего в осуществимости прогноза.

В тех случаях, когда оценка будущих событий выражается с помощью дискурсивных слов явным образом, она редко бывает нейтральной, как, например, в высказываниях с частицами *а что если, а вдруг.., если что* (напр.: *Если что – я дома*). Как правило, прогноз, содержащийся в высказываниях с дискурсивными словами, имеет явно выраженный оптимистический или пессимистический характер. В частности, пессимистический прогноз содержит высказывания с союзом *а (не) то* (напр.: *Поторопись, а то опоздаешь*), вводными словами *не ровен час*, частицами *жди(me)*, как же, держи карман шире и образованными от них междометиями (напр.: *Как же, жди, будет тебе премия, держи карман шире*). Напротив, значение явного оптимистического предсказания свойственно высказываниям со словами *авось, была не была, где наша не пропадала, глядишь, чем черт не шутит*, где положительный характер прогноза компенсирует малую вероятность его осуществления. К этой группе слов примыкают частицы *вот бы, давай, пусты, да* и междометия, используемые для выражения желаний субъекта речи (напр.: *Вот бы*

разбогатеть! Давай поженимся. Пусть он уйдет. Да будет так! Бис!), формулы этикета, используемые при прощании (*До (скорого) свидания! Увидимся! До встречи*), а также другие этикетные выражения, образованные от желаний (напр.: *Здравствуйте! Будь здоров! Будьте счастливы! Всего хорошего и т.д.*).

Скрытое значение оптимистического прогноза приобретает частица *еще* в сочетании с формой будущего времени, напр.: *Мы еще увидим небо в алмазах* [44. С. 114], однако, по нашим наблюдениям, подтекст таких высказываний указывает на малую вероятность предсказываемого события. Примером может служить высказывание депутата украинской рады А. Тетерука: *Я искренне считаю, что мы еще проведём парад на Красной площади* и комментарий к нему российского блогера: «Заметьте это характерное *ещё*, оно явно от задней мысли явилось, что они загибаются»¹.

Русские дискурсивные слова могут использоваться для обозначения широкого диапазона разной степени осуществимости прогнозируемого события: от уверенности в неизбежности прогнозируемых событий до сомнений в их вероятности. В частности, вводные слова *конечно, несомненно, без /вне (всякого) сомнения, наверняка* используются для обозначения ситуаций в будущем, вероятность осуществления которых имеет характер неизбежности. Неявное значение неизбежности может выражаться конструкциями с частицами *еще, все еще и еще не*, которые «строятся на презумпции совершения, будущности события, поскольку это необходимо (предписано нормой)» [44. С. 93] и являются показателями уверенности говорящего в том, что ситуация изменится в названном им направлении, напр.: *Ты еще чего-то не понял?* (сейчас поймешь); *Он все еще на что-то надеется* (он потеряет надежду); *Светало, но еще не рассвело*. Скрытая семантика неизбежности свойственна также высказываниям с союзом *и то* (напр.: *Коля – обычный первоклассник, и то решил эту задачу*) [42. С. 281].

На высокую степень вероятности реализации прогноза указывают вводные слова *наверное, вероятно, по всей вероятности, видимо, по-видимому, по всей видимости, скорее всего, как видно, должно быть, надо думать, надо полагать, похоже*, а также некоторые употребления местоимений с *-нибудь*, напр.: *Как-нибудь обойдется; Кто-нибудь да найдется*. Несколько меньшую степень уверенности в осуществимости прогноза выражают вводные слова *возможно, может быть, не исключено, что*. Наконец, частицы *едва ли, (на)вряд ли, как же, держи карман шире* указывают на незначительную степень вероятности осуществления прогноза.

Для выражения значения ничтожно малой вероятности события может использоваться слово *вдруг* в значении, которое А.Д. Шмелев называет «гадательным» (*А вдруг? Если вдруг...*). «Гадательное» *вдруг* «делает pragматически безопасным высказывание самой невероятной гипотезы» и выражает важную для русского менталитета идею о непредсказуемости будущего [2. С. 161–162]. По своему значению «гадательному» *вдруг* близки дискурсивные

¹ Лимонов Э. Livejournal. January 12th, 17:26. URL: <http://limonov-eduard.livejournal.com/> (дата обращения: 20.01.2017).

слова *авось*, *если что, паче чаяния, на всякий случай, была не была*, которые объединяет значение ‘помимо закономерных явлений, на которые следует ориентироваться в первую очередь, произойти может все что угодно, незакономерные явления предусмотреть невозможно’ [18. С. 450].

Наличие в русской языковой картине мира «установки на непредсказуемость» не изменяет содержания нормы прогнозируемости, но влияет на сферу ее применения, позволяя распространить действие этой нормы в том числе и на явно аномальные ситуации. Данное свойство нормы прогнозируемости проявляется в русском языке в использовании дискурсивных слов, с одной стороны, отражающих стремление говорящего принять во внимание обстоятельства, которые невозможно предвидеть (*если что, на всякий случай, паче чаяния*), а с другой – являющихся показателем отказа от попыток подготовиться к возможным неприятностям (*авось пронесет, как-нибудь обойдется*). При этом последний из названных вариантов поведения, согласно выводам современных исследователей (Там же), является гораздо менее частотным и встречается все реже.

6. Заключение

Результаты осуществленного в статье исследования позволили уточнить содержание нормы прогнозируемости как элемента нормативной русской языковой картины мира. Содержанием данной нормы являются представления о возможности составить правильное суждение в отношении развития той или иной ситуации или положения дел в будущем на основании имеющейся у говорящего информации об обычном состоянии вещей, а также благодаря знанию основных логических закономерностей. С точки зрения нормы прогнозируемости могут оцениваться как уже существующие положения дел, так и события в будущем. И те и другие могут соответствовать норме прогнозируемости или представлять собой аномалию.

При оценке уже существующих положений дел для носителей русского языка важно не только зафиксировать сам факт соответствия или несоответствия ситуации норме прогнозируемости, но и отметить причины того, почему ситуация воспринимается как нормальная или аномальная. Чаще всего условием для оценки ситуации как соответствующей или не соответствующей данной норме является наличие или отсутствие причинно-следственной связи между событиями, которое маркируется в высказывании с помощью союзов и предлогов со значением причины, условия или следствия, местоименных слов с постфиксами *-то* и *-нибудь*, а также слова *вдруг*. Еще одной причиной такой оценки может стать соответствие или несоответствие ситуации ожиданиям субъекта, сформировавшимся на основе его представлений об обычном положении дел; в этом случае оценка ситуации выражается в высказывании при помощи сочинительных союзов, частиц и междометий. Каждое в отдельности или в сочетании друг с другом эти слова способны не только указывать на соответствие или несоответствие ситуации норме прогнозируемости, но и выражать отношение говорящего к ситуации: его удив-

ление, уверенность или надежду на изменение или сохранение ситуации в будущем, разочарование, а также некоторые другие оттенки смысла.

В высказываниях о будущих событиях дискурсивные слова могут быть носителями явной или скрытой семантики и различаться по характеру формулируемого с их помощью прогноза (оптимистический или пессимистический) и по степени вероятности его реализации (неизбежность, высокая или незначительная вероятность). Специфичными для русского языка являются высказывания с дискурсивными словами, которые могут отличаться друг от друга по реакции говорящего на те внешние обстоятельства в будущем, на которые он не может повлиять (стремление подготовиться к любым неожиданным событиям или намерение действовать на удачу). Семантика нормы прогнозируемости сочетается в этих высказываниях с компонентами значения, выражаяющими субъективное отношение говорящего к ситуации.

Литература

1. Вежбицкая А. Язык, культура, познание / пер. с англ.; отв. ред. М.А. Кронгауз. М.: Русские словари, 1996. 416 с.
2. Шмелев А.Д. Русская языковая модель мира: материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002. 224 с.
3. Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы ее представления. М.: Языки славянских культур, 2006. 672 с.
4. Дронова Л.П., Ермоленкина Л.И., Катунин Д.А. и др. Картины русского мира: аксиология в языке и тексте / отв. ред. З.И. Резанова. Томск, 2005. 354 с.
5. Колмогорова А.В. Прототипическая языковая картина мира и семантика слова «по умолчанию»: опыт экспериментального исследования // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2015. № 6 (38). С. 29–42.
6. Иоанесян Е.Р. Классификация ментальных предикатов по типу вводимых ими суждений // Логический анализ языка: Ментальные действия. М., 1993. С. 89–95.
7. Разлогова Е.Э. Эксплицитные и имплицитные пропозициональные установки в причинно-следственных и условных конструкциях // Логический анализ языка: Знание и мнение. М., 1988. С. 98–107.
8. Ефанова Л.Г. Семантика нормы в русских глаголах ментальной деятельности // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2011. № 3 (105). С. 5–9.
9. Ducrot O. Les modificateurs déréalisaits // Journal of Pragmatics. 1995. № 24. P. 145–165.
10. Шамяунова М.Д., Ефанова Л.Г. Прием контаминации в прозе В.В. Набокова // Коммуникативно- pragmaticальные аспекты слова в художественном тексте. Томск, 2000. С. 100–116.
11. Шамяунова М.Д. Лексическая контаминация как стилистический прием и ее использование в прозе В. Набокова // Вестн. Том. гос. ун-та. 2015. № 393. С. 43–47.
12. Шамяунова М.Д. Прием фразеологической контаминации в прозе В. Набокова // Филол. науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 6 (60), ч. 3. С. 165–167.
13. Славянские сочинительные союзы / отв. ред. Т.М. Николаева. М.: Изд-во РАН, 1997. 80 с.
14. Урысон Е.В. Союзы *A* и *HO* и фигура говорящего // Вопр. языкоznания. 2004. № 6. С. 64–83.
15. Зализняк Анна А., Микаэлян И.Л. Русский союз *a* как лингвоспецифичное слово // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной Междунар. конф. ‘Диалог 2005’. М., 2005. С. 153–159.
16. Efanova L.G., Lutoshkina O.S., Dronova L.P., Natsagdorj S. On Cognitive Approach to Language when Studying Russian Prefixes Expressing Relation to the Norm // International Conference for International Education and Cross-cultural Communication. Problems and Solutions, 9–11 June 2015, Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2015. № 215. P. 67–71.
17. Wierzbicka A. Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. New York; Oxford: Oxford University Press, 1992. 496 p.

18. Зализняк Анна А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. 544 с.
19. Зализняк Анна А., Шмелев А.Д. *Вздор: слово и дело* // Логический анализ языка: Моно-, диа-, полилог в разных языках и культурах. М., 2010. С. 141–151.
20. Вольф Е.М. Субъективная модальность и семантика пропозиции // Логический анализ языка: Избранное. 1988–1995. М., 2003. С. 87–102.
21. Ефанова Л.Г. Семантика меры и нормы в значениях производных единиц // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2009. № 4 (8). С. 5–19.
22. Серышева Ю.В., Филь Ю.В. Глаголы с вторичными префиксами *пере-* и *недо-*: сквозь призму языкового сознания носителей русского языка // Вестн. Том. гос. ун-та. 2014. № 386. С. 24–35.
23. Ефанова Л.Г. К вопросу о параметрических нормах // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2013. № 1 (21). С. 22–31.
24. Ефанова Л.Г. Норма видовой идентичности как фрагмент функционально-семантического поля нормы // Сиб. филол. журн. 2011. № 2. С. 122–129.
25. Ефанова Л.Г. Функционально-семантическое поле нормы в русском языке. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2012. 220 с.
26. Ефанова Л.Г. Категория нормы в русской языковой картине мира: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Томск, 2013. 41 с.
27. Ефанова Л.Г. Семантическая категория нормы в аспекте структурных составляющих нормативной оценки. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2012. 220 с.
28. Федяева Н.Д., Демченков С.А. Неологизм «новая нормальность» в контексте свойств нормы // Мир науки, культуры, образования. 2016. № 5 (60). С. 368–370.
29. Ефанова Л.Г. Норма в языковой картине мира русского человека. Томск: Изд-во Том. политехн. ун-та, 2013. 492 с.
30. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд. М.: Языки русской культуры, 1999. 896 с.
31. Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Неожиданности в русской языковой картине мира // Полутропот: К 70-летию В.Н. Топорова. М., 1998. С. 306–324.
32. Ефанова Л.Г. Категория нормы как объект лингвистического исследования // Вестн. Том. гос. пед. ун-та. 2010. № 6 (96). С. 21–24.
33. Семенова С.Ю. О предчувствии и его речевых свидетельствах // Логический анализ языка: Лингвофутуризм. Взгляд языка в будущее. М., 2011. С. 132–141.
34. Плахов В.Д. Социальные нормы: философские основания общей теории. М.: Мысль, 1985. 253 с.
35. Апресян Ю.Д. Исследования по семантике и лексикографии: в 2 т. Т. 1: Парадигматика. М.: Языки славянских культур. 2009. 568 с.
36. Баранов А.Н., Плунгян В.А., Рахилина Е.В. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка. М.: Помовский и партнера, 1993. 207 с.
37. Краткая русская грамматика / под ред. Н.Ю. Шведовой, В.В. Лопатина. М.: Рус. яз., 1989. 639 с.
38. Словарь структурных слов русского языка / В.В. Морковкин, Н.М. Луцкая, Г.Ф. Богачева и др. М.: Лазурь, 1997. 420 с.
39. Березович Е.Л. Еще раз о русском *авось* // Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М., 2007. С. 333–339.
40. Кобозева И.М., Захаров Л.М. Для чего нужен звучащий словарь дискурсивных слов русского языка // Тр. Междунар. семинара «Диалог 2004 по компьютерной лингвистике и ее приложениям». М., 2004. С. 292–297.
41. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нереферентные слова. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 400 с.
42. Санников В.З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М.: Языки славянских культур, 2008. 624 с.
43. Anderson S.R. How to Get ‘Even’ // Language. 1972. № 48. P. 893–906.
44. Николаева Т.М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков). М.: Едиторал УРСС, 2005. 168 с.
45. Прияткина А.Ф. Русский синтаксис в грамматическом аспекте (синтаксические связи и конструкции): избр. тр. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2007. 390 с.

46. Крейдлин Г.Э. Лексема ДАЖЕ // Семиотика и информатика. М., 1997. Вып. 35. С. 108–120.
47. Шимчук Э.Г., Щур М.Г. Словарь русских частиц. Frankfurt am Main: Peter Lang – Europäische Verlag der Wissenschaften, 1999. 146 с.
48. Левин Ю.И. Избранные труды: Поэтика: Семиотика. М.: Языки русской культуры, 1998. 824 с.

THE SEMANTICS OF THE NORM OF PREDICTABILITY IN STATEMENTS WITH DISCOURSE MARKERS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 70–86. DOI: 10.17223/19986645/50/5

Larisa G. Efanova, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: efanova@sibmail.com

Keywords: norm semantic category, discourse markers, semantics of predictability, categorical features of norm, unforeseen events, appreciation of future events.

The article aims to analyse the content of the norms of predictability, the understanding of which is reflected in the semantics of statements with discourse markers, and identify the role of these linguistic units in its expression. The study was carried out on the material with more than 100 discourse markers and about 80 contexts of their use. Discourse markers that express the attitude to the norm of predictability are some conjunctions, particles, parentheses, indefinite pronouns and interjections. To study the role of these units in terms of the norm of predictability semantic analysis of statements, in which discourse words contribute to designating the situation corresponding or not corresponding to the norm, and comparative analysis of statements designating different options of deviations from this norm were used.

The study found that the existing state of affairs and events in the future may be assessed from the point of view of the norms of predictability. Any of them can conform to the norm of predictability or indicate an anomaly. Discourse markers can be used to specify that the current situation conforms to the norm, because it corresponds to the expectations or intentions of the subject (e.g., *konechno* [of course], *estesvenno (chto...)* [naturally], *razumeetsya* [certainly], *v poryadke veshchey* [in the nature of things]) and deviations from the norm of predictability generally resulting from unexpected situations (e.g., *kak vdrug* [and suddenly], *vot tak istoriya!* [what a mess!]); in that case, these words can indicate the reasons of unpredictability, consisting in change of the usual order of things (e.g., *dazhe (azh i)* [even]) or in non-obvious causal relations between events (e.g., *pochemu-to* [somehow], *zachem-to* [for some reason]).

In statements about future events discourse markers have an implicit or explicit semantics. Their meanings can be different 1) in the nature of predictions, which may be optimistic (e.g., *avos'* [may be], *byla ne byla* [whatever happens happens] or pessimistic (e.g., *a (ne) to* [otherwise], *ne roven chas* [one never knows]), 2) in the degree of probability of its implementation, which can range from the inevitable (e.g., *konechno* [of course], *nesomnenno* [certainly], *bez /vne (vsyakogo) somneniya* [no doubt]) to a small probability (e.g., *edva li* [it is unlikely]), 3) by the reaction of speakers to external circumstances they cannot influence; this reaction can be a desire to prepare for any unexpected events (e.g., *esli chto* [if something happens], *na vsyakiy sluchay* [just in case], *pache chayaniya* [contrary to (all) expectations]) or an intention to take pot luck (e.g., *avos'* [may be], *byla ne byla* [whatever happens happens]).

The study established that the content of the norm of predictability is the idea of human ability to form a correct opinion on the development of events or on the state of affairs in the future on the basis of the speaker's information about the normal state of things, and by knowing basic logical laws.

References

1. Wierzbicka, A. (1996) *Yazyk. Kul'tura. Poznanie* [Language. Culture. Cognition]. Translated from English. Moscow: Russkie slovari.
2. Shmelev, A.D. (2002) *Russkaya yazykovaya model' mira: materialy k slovaryu* [Russian language model of the world: materials for the dictionary]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.

3. Zaliznyak, A.A. (2006) *Mnogochnost' v yazyke i sposoby ee predstavleniya* [Polysemy in the language and ways of representing it]. Moscow: Yazyki slavyanskih kul'tur.
4. Dronova, L.P. et al. (2005) *Kartiny russkogo mira: aksiologiya v yazyke i tekste* [Images of the Russian world: axiology in language and text]. Tomsk: Tomsk State University.
5. Kolmogorova, A.V. (2015) Prototypical linguistic worldview and word semantics tacito consensus: experimental studies. *Vestnik Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6 (38). pp. 29–42. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/38/3
6. Ioanesyan, E.R. (1993) Klassifikatsiya mental'nykh predikatov po tipu vvodimykh imi suzhdenniy [Classification of mental predicates by the type of their judgments]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Mental'nye deystviya* [Logical analysis of language. Mental actions]. Moscow: Nauka.
7. Razlogova, E.E. (1988) Eksplitsitnye i implitsitnye propozitsional'nye ustanovki v prichinnosledstvennykh i uslovnykh konstruktsiyakh [Explicit and implicit propositional attitudes in cause-effect and conditional constructions]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Znanie i mnenie* [Logical analysis of language. Knowledge and opinion]. Moscow: Nauka.
8. Efanova, L.G. (2011) Semantics of the norm in Russian mental activity verbs. *Vestn. Tom. gos. ped. un-ta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 3 (105). pp. 5–9. (In Russian).
9. Ducrot, O. (1995) Les modificateurs déréalisants [Derealizing modifiers]. *Journal of Pragmatics*. 24. pp. 145–165.
10. Shamaunova, M.D. & Efanova, L.G. (2000) Priem kontaminatsii v proze V.V. Nabokova [Blending in VV. Nabokov's prose]. In: Bolotnova, N.S. (ed.) *Kommunikativno-pragmatische aspekty slova v khudozhestvennom tekste* [Communicative-pragmatic aspects of the word in fiction]. Tomsk: TSPU.
11. Shamaunova, M.D. (2015) Lexical blending as a stylistic device in the prose of Vladimir Nabokov. *Vestn. Tom. gos. un-ta – Tomsk State University Journal*. 393. pp. 43–47. (In Russian).
12. Shamaunova, M.D. (2016) Priem frazeologicheskoy kontaminatsii v proze V. Nabokova [Phraseological blending in the prose of V. Nabokov]. *Filol. nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philosophical Sciences. Issues of Theory and Practice*. 6 (60).3. pp. 165–167.
13. Nikolaeva, T.M. (ed.) (1997) *Slavyanskie sochinitel'nye soyuzы* [Slavic coordinating conjunctions]. Moscow: RAS.
14. Uryson, E.V. (2004) Soyuzы A i NO i figura govoryashchego [Conjunctions A and NO and the figure of the speaker]. *Vopr. Yazykoznanija*. 6. pp. 64–83.
15. Zaliznyak, A.A. & Mikaelyan, I.L. (2005) [Russian conjunction as a language-specific word]. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii* [Computer Linguistics and Intellectual Technologies]. Proceedings of the international conference 'Dialog 2005'. Moscow: Nauka. pp. 153–159. (In Russian).
16. Efanova, L.G., Lutoshkina, O.S., Dronova, L.P. & Natsagdorj, S. (2015) On Cognitive Approach to Language when Studying Russian Prefixes Expressing Relation to the Norm. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*. 215. pp. 67–71. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.575
17. Wierzbicka, A. (1992) *Semantics, Culture, and Cognition. Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations*. N.Y., Oxford: Oxford Univ. Press.
18. Zaliznyak, A.A., Levontina, I.B. & Shmelev, A.D. (2005) *Klyuchevye idei russkoy yazykovoy kartiny mira* [Key ideas of the Russian language picture of the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
19. Zaliznyak, A.A. & Shmelev, A.D. (2010) Vzdr: slovo i delo [Nonsense: word and deed]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Mono-, dia-, polilog v raznykh yazykakh i kul'turakh* [Logical analysis of the language. Mono-, dia-, polylogue in different languages and cultures]. Moscow: Indrik.
20. Vol'f, E.M. (2003) Sub"ektivnaya modal'nost' i semantika propozitsii [Subjective modality and semantics of the proposition]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Izbrannoe. 1988–1995* [Logical analysis of the language. Selected works. 1988–1995]. Moscow: Indrik.
21. Efanova, L.G. (2009) Semantika mery i normy v znacheniyakh proizvodnykh edinits [Semantics of measure and norm in the meanings of derived units]. *Vestn. Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (8). pp. 5–19.
22. Seresheva, Yu.V. & Fil', Yu.V. (2014) erbs with secondary prefixes PERE- and NEDO- in the linguistic consciousness of Russian speakers. *Vestn. Tom. gos. un-ta – Tomsk State University Journal*. 386. pp. 24–35. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/38/4

23. Efanova, L.G. (2013) On parametrical norms problem. *Vestn. Tom. gos. un-ta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 1 (21). pp. 22–31. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/21/3
24. Efanova, L.G. (2011) Norma vidovoy identichnosti kak fragment funktsional'no-semanticeskogo polya normy [Norm of aspect identity as a fragment of the functional-semantic field of the norm]. *Sibirski filol – Siberian Journal of Philology*. 2. pp. 122–129.
25. Efanova, L.G. (2012) *Funktsional'no-semanticeskoe pole normy v russkom yazyke* [Functional-semantic field of the norm in the Russian language]. Tomsk: TSPU.
26. Efanova, L.G. (2013) *Kategoriya normy v russkoj yazykovoj kartine mira* [The category of the norm in the Russian language picture of the world]. Abstract of Philology Dr. Diss. Tomsk.
27. Efanova, L.G. (2012) *Semanticheskaya kategoriya normy v aspekte strukturnykh sostavlyayushchikh normativnoy otsenki* [Semantic category of the norm in the aspect of the structural components of normative assessment]. Tomsk: TSPU.
28. Fedyaeva, N.D. & Demchenkov, S.A. (2016) Neologism “new normality” in the context of characteristics of the norm. *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya – World of Science, Culture, Education*. 5 (60). pp. 368–370. (In Russian).
29. Efanova, L.G. (2013) *Norma v yazykovoy kartine mira russkogo cheloveka* [Norm in the language picture of the world of the Russian people]. Tomsk: TPU.
30. Arutyunova, N.D. (1999) *Yazyk i mir cheloveka* [Language and the world of man]. 2nd ed. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
31. Bulygina, T.V. & Shmelyev, A.D. (1998) Neozhidannosti v russkoj yazykovoy kartine mira [Unexpectedness in the Russian language picture of the world]. In: Nikolaeva, T.M. (ed.) *Полутропон. К 70-letiyu V.N. Toporova* [Polutropot. To the 70th anniversary of V.N. Toporov]. Moscow: Indrik.
32. Efanova, L.G. (2010) The category of norm as a linguistic object. *Vestn. Tom. gos. ped. un-ta. Tomsk State Pedagogical University Bulletin*. 6 (96). pp. 21–24. (In Russian).
33. Semenova, S.Yu. (2011) O predchuvstvii i ego rechevykh svидetel'stvakh [About a premonition and its verbal evidence]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Lingvofuturizm. Vzglyad yazyka v budushchhee* [Logical analysis of the language. Linguistic futurism. A glance of the language into the future]. Moscow: Indrik.
34. Plakhov, V.D. (1985) *Sotsial'nye normy: filosofskie osnovaniya obshchey teorii* [Social norms: the philosophical foundations of the general theory]. Moscow: Mysl'.
35. Apresyan, Yu.D. (2009) *Issledovaniya po semantike i leksikografii. V 2-kh tt.* [Studies on semantics and lexicography. In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
36. Baranov, A.N., Plungyan, V.A. & Rakhilina, E.V. (1993) *Putevoditel' po diskursivnym slovam russkogo yazyka* [A guide to the discursive words of the Russian language]. Moscow: Pomovskiy i partner.
37. Shvedova, N.Yu. & Lopatin, V.V. (eds) (1989) *Kratkaya russkaya grammatika* [Short Russian grammar]. Moscow: Rus. yaz.
38. Morkovkin, V.V. et al. (1997) *Slovar' strukturnykh slov russkogo yazyka* [Dictionary of structural words of the Russian language]. Moscow: Lazur'.
39. Berezovich, E.L. (2007) *Yazyk i traditsionnaya kul'tura: Etnolingvisticheskie issledovaniya* [Language and Traditional Culture: Ethnolinguistic Studies]. Moscow: Indrik. pp. 333–339.
40. Kobozova, I.M. & Zakharov, L.M. (2004) [Why we need a sounding dictionary of discursive words of the Russian language]. *Trudy Mezhdunar. seminara Dialog 2004 po kom'yeternoy lingvistike i ee prilozheniyam* [Proceedings of the international seminar Dialogue 2004 on computer linguistics and its applications]. Moscow: Nauka. pp. 292–297. (In Russian).
41. Shatunovskiy, I.B. (1996) *Semantika predlozeniya i nereferentnye slova* [Semantics of the sentence and non-referential words]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
42. Sannikov, V.Z. (2008) *Russkiy sintaksis v semantiko-pragmatiskom prostranstve* [Russian syntax in a semantic-pragmatic space]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
43. Anderson, S.R. (1972) How to Get ‘Even’. *Language*. 48. pp. 893–906.
44. Nikolaeva, T.M. (2005) *Funktsii chastits v vyskazyvanii (na materiale slavyanskikh yazykov)* [Functions of particles in the utterance (on the material of the Slavic languages)]. Moscow: Editorial URSS.
45. Priyatkina, A.F. (2007) *Russkiy sintaksis v grammaticeskem aspekte (sintaksicheskie svyazi i konstruktsii). Izbr. tr.* [Russian syntax in a grammatical aspect (syntactic links and constructions). Selected works]. Vladivostok: Far-Eastern State University.

-
46. Kreydin, G.E. (1997) Leksema DAZhE [Lexeme EVEN]. *Semiotika i informatika*. 35. pp. 108–120.
47. Shimchuk, E.G. & Shchur, M.G. (1999) *Slovar' russkikh chastits* [Dictionary of Russian particles]. Frankfurt: Peter Lang – Europäische Verlag der Wissenschaften.
48. Levin, Yu.I. (1998) *Izbrannye trudy: Poetika: Semiotika* [Selected Works: Poetics: Semiotics]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/50/6

И.С. Морозова, Е.А. Смольянина

**ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ МЕТАФОРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ А.ДЖ. ГРЕГОРА
«КОРНИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ИДЕОЛОГИИ»)**

Политическая научная метафора как отражение персонологического знания ученого рассматривается на материале научной статьи американского политолога А.Дж. Грэгора «Корни революционной идеологии». В результате анализа выявлены авторские метафоры, отражающие уникальность точки зрения исследователя. Реконструированы модели авторских метафор, представленных в проблемно-гипотетическом, обосновывающем и выводном субтекстах научного текста, а также модель авторской концепции. Результатами исследования являются метафорические модели Революционная идеология – это Человек, Революционная идеология – это Мир Неживой Природы, Революционная идеология – это Животное, Революционная идеология – это Артефакт, Революционная идеология – это Религия и Революционная идеология – это Математика.

Ключевые слова: персонологическое знание, научная метафора, политический курс, субтекст научного текста, модель метафоры.

Познающая личность находится в центре внимания научных исследований на протяжении многих десятилетий. Интерес к ней особенно возрос в кризисные времена из-за осознания угрозы (военной, демографической, экологической, этнокультурной и т.п.) человеку как таковому [1. С. 35]. Зародившись в философии, этот интерес проявляется в поиске ответов на вопросы о природе человека, его связи с окружающим миром, способах познания, проявления личностного начала в познании, тексте и дискурсе. Как известно, на протяжении длительного времени субъект элиминировался из результата познавательной деятельности [2]. Однако постепенно стало ясно, что субъективный фактор не может быть устранен из научного познания, и место старой эпистемологической парадигмы заняли новые теории, ориентированные на личность познающего субъекта (Т. Кун, А. Маслоу, М. Полани, С. Тулмин, И. Лакатос, П. Фейерабенд и др.). Современная философия подчеркивает особую значимость личностного фактора в создании научной теории и рассматривает личность в качестве источника смыслообразования и смыслопонимания. Это обусловлено тем, что исследователь имеет дело с «непосредственным чувственным опытом (наблюдение, эксперимент)... и интерпретацией результатов этого опыта, фактов и гипотез (выбор позиции, точки зрения)» [3. С. 140].

Антрапологический подход распространился из философии на другие гуманитарные науки, которые находятся на пути перехода к духовному универсализму и персонологизации [1]. Система знаний о личности постепенно выделилась в самостоятельную междисциплинарную область исследования – персонологию (Э. Мунье, Г. Мюррей, А.В. Петровский и др.). В современной

лингвистике понимание многих явлений также оказалось невозможным без обращения к личности, что привело к появлению новой области научного познания – лингвистической персонологии, исследующей языковую личность. Термин «языковая личность» впервые встречается в 1930 г. в труде В.В. Виноградова «О художественной прозе». Помимо этого, идею личностного начала развивали В. Гумбольдт, В. Вундт, Б. Куртене и Л.В. Щерба, однако наиболее полно понятие языковой личности было раскрыто Г.И. Богиным [4] и Ю.Н. Карапловым [5]. На современном этапе исследуются такие психо-личностные аспекты познающего субъекта, находящие выражение в речевой деятельности, как эмоционально-коммуникативная ориентированность, направленность мотивации, способ формирования и формулирования мысли и т.п. (Т.Н. Калентьева, А.А. Сергеев, М.М. Смирнова, Л.А. Хараева и др.).

Одним из актуальных направлений, развивающихся на стыке лингвистики и персонологии, является изучение персонологического, или личностного (по М. Полани), знания посредством интерпретации персонотекстов, относящихся к различным типам дискурсов. Понятие «дискурс» вошло в научный обиход в 70-е гг. XX в. в связи с развитием когнитивной лингвистики. Выделяют различные подходы к определению этого понятия. В данном исследовании дискурс трактуется как «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – pragматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте» [6. С. 136]. Такая трактовка дискурса как «текста, который понимается (мыслится) с учётом социальных, ситуативных, коммуникативных, культурных и иных условий (предпосылок) его порождения (создания) и функционирования» [7. С. 20–21] определяет цель дискурсивного анализа – интерпретация текста, основанная на экстралингвистическом контексте, включая связи с другими текстами, pragматические установки и когнитивные процессы текстопорождения [8].

В связи с тем, что данное исследование посвящено персонологическому знанию, которое отражает уникальные качества индивида – автора текста, текст рассматривается нами как персонотекст, или антропотекст. Персонотекст – это не просто «реализация какого-либо сообщения на конкретном языке, а сложное устройство, хранящее многообразные коды и способное трансформировать получаемые сообщения и порождать новые <...> трансформационный генератор, обладающий чертами интеллектуальной личности» [9. С. 45–53].

Одним из способов презентации персонологического знания является концептуальная метафора. До настоящего времени концептуальная метафора в политическом дискурсе исследовалась преимущественно на материале публицистических текстов (А.Н. Баранов, Т.С. Вершинина, Ю.Н. Караплов, И.М. Кобозева, Т.В. Таратынова, А.П. Чудинов, К. Burke, Р. Chilton, Р. Dvořák, М. Edelman, R.L. Ivie, G. Lakoff, V. Ottati, A. Musolff, K. Tanaskovic и др.), в которых она выполняет функцию управления массовым сознанием (персуазивную, манипулятивную, риторическую, pragматическую, структурирующую и т.п.) и выступает в качестве терминистического экрана (термин К. Берка), задающего нужные рамки восприятия информации. Анализ работ по политической метафоре не выявил исследований, посвященных особенно-

ствам метафоризации в политических научных текстах, что и обусловило необходимость проведения данного исследования концептуальной метафоры как способа репрезентации персонологического знания в политическом научном дискурсе и повлияло на выбор материала исследования, которым стала научная статья А.Дж. Грегора «Корни революционной идеологии».

Отметим, что в исследовании вслед за В.А. Масловой мы придерживаемся широкого понимания политического дискурса. Политический дискурс в широком смысле включает такие формы коммуникации, в которых к сфере политики относится хотя бы одна из составляющих: автор, адресат или содержание текста [10]. Такой подход позволяет рассматривать научные тексты, посвященные политическим объектам и процессам, в качестве одной из разновидностей политического дискурса. Таким образом, анализируемая научная статья на политическую тему относится к политическому научному (политологическому) дискурсу. Ей присущи следующие свойства: характер ситуации дискурса, т.е. деятельности в определенной специальной сфере, специальное образование участников дискурса и освоение значения термина [11]. Так, в статье анализируется старое научное знание о революции и создается новая концепция о причинах ее возникновения. Участниками дискурса являются ученый А.Дж. Грегор и научное сообщество, обладающее научным знанием об исследуемой проблеме. Понимание концепции А.Дж. Грегора предполагает освоение значений и смыслов терминов, различаемых по параметру конвенциональности и персонологичности и соотносимых со старым и новым знанием.

Итак, политические объекты могут находить отражение как в политическом публицистическом, так и политическом научном дискурсе. Как уже отмечалось, основной функцией публицистического дискурса является манипуляция взглядами целевой аудитории, а научного – обоснование выдвигаемой концепции в научном сообществе. На основе этого полагаем, что способы репрезентации и оязыковления политических объектов в публицистических и научных текстах должны иметь разный характер, поскольку репрезентация моделей объектов обусловлена целеполаганием как главным дискурсообразующим фактором. Вероятно, метафорические модели политического научного дискурса будут иметь более обобщенный характер в силу научного мышления исследователя и оперирования абстрактными формами представления знания, отражающего результаты научного познания. Кроме того, хотя политическая научная метафора и обусловлена природой политического дискурса как знаковой деятельности по производству научных знаний в политической сфере, она является средством репрезентации персонологического опыта исследователя, характеризующегося «的独特性, неповторимо личностным характером, оценочностью, эмоциональным характером» [3. С. 635]. Иными словами, персонологическое знание проявляется в использовании ученым доминирующих в конкретном тексте метафорических моделей, обеспечивающих развитие смысла на всех этапах научного познания.

Наиболее вероятно, что ключ к основным авторским метафорам исследуемого научного текста и, соответственно, к персонологическому знанию его автора содержится в заголовке. Так, в названии статьи «The Roots of Revolutionary Ideology» легко заметить контраст между базовым (*the part of a*

plant that grows under the ground, through which the plant gets water and food' [12]) и контекстуальным ('the essential part or element' [13]) значением метафорической единицы *roots*. То есть основой метафорической идеи и переноса значения лексемы *roots* является сходство двух концептуальных областей: '*политическая сфера*' (область мишени) и '*царство растений*' (область источника). По аналогии с растением у идеологии выделяется глубинная часть, которая питает и укрепляет ее. Итак, на основе фитонимной символики и использования концептуальной метафоры ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА – ЭТО ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ в названии статьи можно предположить, что понятийная сфера природы послужит ключом к пониманию главной мысли автора.

Целью работы является реконструкция авторских метафорических моделей политического научного текста, отражающих персонологическое знание ученого-политолога о революции и смежных понятиях. Для выявления личностных смыслов в политическом научном тексте используется индивидуально-герменевтический подход [14]. Материалом исследования послужила научная статья А.Дж. Грегора «Корни революционной идеологии» из его монографии «Марксизм, фашизм и тоталитаризм: главы из интеллектуальной истории радикализма» [15]. Данная научная статья представляет интерес, поскольку А.Дж. Грегор является одним из ведущих политологов университета Беркли, и его личность оказала и до сих пор оказывает большое влияние на западные научные и политические умы. Исследование дискурсивного пространства научной статьи А.Дж. Грегора и попытка воссоздать ментальный мир автора, представленный в концептуальной метафоре, позволит, по нашему мнению, внести вклад в развитие теории политического дискурса. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: определить ключевые понятия исследования; проанализировать метафоры и реконструировать авторские метафорические модели знания, представленного в научной статье А.Дж. Грегора; выявить авторские метафорические модели, характерные для различных этапов познания.

Метафора находится в фокусе внимания исследователей на протяжении двух тысячелетий. Подходы к ее изучению усложнялись и углублялись по мере развития науки. Традиционный подход к изучению метафоры как риторической фигуры берет начало в трудах Аристотеля [16]. Этот подход принято противопоставлять когнитивной теории метафоры, основоположниками которой считаются Дж. Лакофф и М. Джонсон [17]. Однако идеи, сходные с изложенными в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсона, высказывались и ранее. Так, Дж. Вико настаивал на первичности метафорического смысла по отношению к буквальному [18]. Ф. Ницше утверждал, что метафора – это все, так как человек обладает не знаниями о вещах, а лишь метафорами вещей [19]. П. Фонтанье указывал на то, что в основе всех тропов, включая метафору, лежит взаимодействие двух идей [20]. Мысль о взаимодействии двух идей в метафоре также развивали английский ученый А. Ричардс, американские исследователи М. Блэк, М. Бирдсли, Н. Гудмен, Ф. Уилрайт, французский философ П. Рикер, испанский философ Х. Ортега-и-Гассет и др.

Когнитивно-ориентированные идеи высказывали и отечественные учёные: М.О. Гершельзон, В.А. Успенский, Н.В. Павлович и др. Интересно от-

метить, что термин «когнитивная метафора» встречался в работах отечественных исследователей в 80-е гг. XX в., однако он употреблялся вне когнитивной лингвистики и в ином понимании, которое, однако, в некоторой степени сходно с когнитивным подходом. Так, например, В.Н. Телия выделяла класс когнитивных метафор, служащих для обозначения абстрактных понятий. Уподобляя гетерогенное, когнитивная метафора синтезирует новое понятие и со временем начинает функционировать как нейтральное наименование [21]. А.Н. Мороховский также выделяет когнитивную метафору, которая является результатом сдвига сочетаемости признаковых слов при изменении их значения от более конкретного к более абстрактному и состоит в присвоении объектам 'чужих' признаков [22]. Основные положения когнитивной теории метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона развиваются в трудах таких отечественных лингвистов, как Л.М. Алексеева, А.Н. Баанов, Ю.Н. Караполов, Н.А. Мишанкина, С.Л. Мишланова, А.П. Чудинов и др. Метафора рассматривается как когнитивно-дискурсивное явление, отражающее способы познания человеком в определенной области знания. Способы познания находят отражение в моделях, реконструируемых на основе интерпретации области источника и области цели [23]. Не спадающий интерес ученых к метафоре свидетельствует о ее неисчерпаемом потенциале как объекта исследования.

В данном исследовании метафора трактуется вслед за Дж. Лакоффом и М. Джонсоном как видение одного предмета в свете другого [17]. Концептуальная метафора – неотъемлемая часть научного познания и дискурса, являющегося речемыслительной деятельностью в специальной сфере, особенно на этапе зарождения новой научной теории, так как метафора представляет собой взаимодействие различных областей знания с целью получения нового знания об объекте и используется при попытках номинировать новый объект или его свойство. Таким образом, метафоризация выступает в качестве механизма развития научного дискурса, позволяющего на основе личностного осмысливания старого знания создать новое научное знание. Результатом речемыслительной деятельности ученого является научный текст, в котором презентированы модели знания, обусловленные внутренними интенциями автора и его аксиологической системой [24]. Итак, в концептуальной метафоре раскрываются персонологичность знания как уникальный способ осмысливания действительности личностью и творческая природа личности, познающей действительность через себя и себя через действительность.

Научный текст как лингвистическое образование представляет собой оболочку потенцируемого знания, которое может быть реконструировано на основе процесса метафорического моделирования знания. Метафорический термин в научном тексте открывает доступ к системе концептов, квантов знания, которые структурируются, т.е. вступают в отношения с другими концептами из различных областей знания, сохраняя при этом свою способность потенцировать едва уловимое знание. В научном тексте переплетаются различные формы мысли, виды знания, типы логики, персонологические озарения, нестандартные взгляды и т.д. Однако структура и содержание научного текста подчиняются требованиям научного дискурса и отражают все этапы познания. В научном тексте реализуются следующие этапы познания: этап

проблемной ситуации, на котором устанавливается рассогласованность фактов старого знания; проблема, на которой формулируется познавательный вопрос; этап идеи, на котором дается интуитивный ответ, этап гипотезы, на котором формулируется интуитивно-логический ответ на вопрос; этап доказательства, на котором предоставляется развернутый логический ответ; и этап вывода, на котором дается предположительный ответ. Данные этапы маркируют логику и поступательность развития научного знания и находят отражение в соответствующих субтекстах научного текста [25. С. 14]. Так, проблемная ситуация и проблема актуализируются в проблематизирующем субтексте, идея и гипотеза – в гипотетическом, доказательство гипотезы – в обосновывающем, вывод – в выводном. Под субтекстом понимается «относительно самостоятельная структурно-смысловая единица целого научного текста, являющаяся средством онтологического, методологического, рефлексивного и коммуникативно-прагматического аспектов ЭС и имеющая свою целеустановку в рамках авторского замысла» [26. С. 28].

Проблематизирующий субтекст отражает своеобразный когнитивный дисбаланс, несоответствие старого и нового знания. Данный субтекст характеризуется дуальностью, поскольку содержит два объекта мысли, относящиеся к старому и новому знанию, а также удивление исследователя дисбалансом данных типов знания, который порождает проблемный вопрос, очерчивающий концептуальное поле исследования. Проблематизирующему субтексту свойственны высокая плотность бездеконструктивных терминов, лексика, выступающая в функции контекстных антонимов, лексика с модальностью удивления, сложные предложения, выражающие противопоставление, а также прямые и косвенные вопросы.

Гипотетический субтекст содержит образно-логический ответ на проблемный вопрос, соотносимый, с одной стороны, с предположением как исследовательским озарением, а с другой – с логическими цепочками рассуждений, задающими вектор мысли в обосновывающем тексте. Гипотетическому субтексту свойственны авторские дефиниционные термины, аналогии, лексика с модальностью уверенности, радости и предположения, вопросно-ответные комплексы и сложные предложения, выражающие условно-следственные и причинно-следственные отношения. В этом субтексте констатируются возможные проблемы, возникающие в случае признания гипотезы доказанной.

Обоснование гипотезы представлено в обосновывающем субтексте, являющемся по сути развернутым рационально-логическим ответом на вопрос, сформулированный в проблематизирующем субтексте. Обосновывающему субтексту свойственны авторские дефиниционные метафорические термины, лексика с модальностью возможности, сложные предложения, выражающие различные логические отношения, которые способствуют доказательству / опровержению гипотезы, и вопросительные предложения. Обосновывающий субтекст сменяется выводным текстом, в котором исследователь дает окончательный ответ на проблемный вопрос. Выводному субтексту свойственна лексика с модальностью уверенности и категоричности, предложения носят утвердительный характер. Перечисленные субтексты являются полноценными составляющими научного текста, поскольку каждый из них обладает па-

раметром цельности, т.е. характеризуется соотнесенностью с научной дискурсивной ситуацией. Функционально-стилистический анализ [27] научной статьи А.Дж. Грегора позволил выявить проблемно-гипотетический, обосновывающий и выводной субтексты. В проблемно-гипотетическом, сравнительно небольшом по объему (1 страница) субтексте исследователь формулирует проблему и выдвигает гипотезу исследования, используя терминологические антиномии: *moral – immoral* (моральный – аморальный), *heinous acts against humanity – eminently human* (чудовищные преступления против человечества – в высшей степени гуманный), *moral justification – rejection of “absolute” morality* (моральное оправдание – отрицание «абсолютной» морали), *eternal – relative* (вечный – относительный) и др. Гипотеза А. Дж. Грегора может быть сформулирована следующим образом: в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса и их последователей представлено эмпирическое и нормативное обоснование насилия, обусловившее не только революционные изменения конца XIX – начала XX в., сопровождавшиеся геноцидом, но и появление различных видов тоталитарного режима (социализм, фашизм, ленинизм и маосизм).

Небезынтересно отметить формулирование А.Дж. Грегором проблемного вопроса в форме утвердительного предложения. Это может свидетельствовать о том, что ученый уже дал себе ответ и занял определенную концептуальную позицию в отношении морали насилия: «*Why overthrowing the present should recommend itself as moral is part of the story of the role played by normative reasoning in the twentieth century*» [15. С. 22]. Идея зла и насилия, выраженная разнообразными лексическими средствами (*overthrowing the present, abominable acts, mass murder, destruction heinous acts, violence, mayhem, death, massive destruction, aggressive intellectuals, unimaginable destruction* и т.д.), коррелирующая с идеей морального поведения (*absolute morality, a moral rationale, moral justification* и т.д.), обусловила ключевые авторские метафоры данного субтекста (*moral reasoning darkens almost the entire past century, restless forces were to animate with revolutionary ideas* и т.д.).

Аргументы в пользу выдвинутой гипотезы представлены в обосновывающем субтексте, который состоит из четырех частей, посвященных фантомам мозга в марксизме, марксистской этике и дарвинизму, К. Каутскому и дарвинистскому марксизму, а также соотношению марксизма, морали и науки. Анализируя мораль, религию и право как фантомы мозга, которые, согласно К. Марксу, возникают в результате существования определенного способа производства, А.Дж. Грегор использует много терминов, выражаютих отношения зависимости: *relative, transitory, related, contingent, derivative* и др. Исследователь называет рассуждения К. Маркса неясными (*less than transparent, obscure, vague, uncertain, clarifies very little*), зашифрованными (*cryptic*) и запутанными (*patent intricacies, a tangled set of exchanges*), а саму интерпретацию и ход рассуждений К. Маркса соответственно провисающей (*slack*) и причудливо автоматическим (*quaint automaticity*).

В обосновывающем субтексте о марксизме и дарвинизме анализируется труд И. Дицгена, экстраполирующий теорию Дарвина на социально-производственные отношения. А.Дж. Грегор характеризует работу Дицгена как слабоструктурированную и неубедительную, что проявляется в использо-

вании таких метафорических выражений, как *intrinsic vagueness*, *a loosely structured discussion* и др. В свою очередь, относительно короткий обосновывающий субтекст посвящен теории К. Каутского. Интерпретируя его концепцию, А.Дж. Грегор прибегает к метафорическим выражениям типа *intellectual freedom seemed to be its natural climate, struggle with the external environment, social instinct was largely a product of conditions, interpretation was a product* и др. В выводном субтексте А.Дж. Грегор заключает, что марксистская концепция голословна и непоследовательна: «*Marxists simply asserted*» [15. С. 45] и т.п. А.Дж. Грегор особо подчеркивает, что несмотря на отсутствие эмпирического обоснования, понятия марксистской морали привлекли внимание великих умов XX в., способствуя появлению нескольких разновидностей марксизма, а в дальнейшем и элементов фашизма, социализма и ленинизма, бросивших тень на весь XX в.: «*German National Socialism, Italian Fascism, and Russian Leninism... cast their shadows across the new century*» [15. С. 48].

В каждом из описанных субтекстов с помощью толковых словарей [12, 13] были выявлены метафоры. Главным критерием их идентификации послужил контраст между прямым и контекстуальным значением лексической единицы [28]. Нетрудно заметить, что смыслообразующий потенциал выявленных метафор различен и, следовательно, они по-разному репрезентируют научное персонологическое знание. Существует множество классификаций метафор (Арутюнова, Балли, Гак, Ефимов, Левин, Москвин и др.), традиционно разделяющих их на узуальные (конвенциональные, мертвые, стертые) и окказиональные (авторские, инновационная, свежая). Однако до сих пор не существует формальной методики оценки узуальности / окказиональности метафорических выражений [29]. Деление метафор на конвенциональные и авторские носит преимущественно интуитивный характер и восходят к Ш. Балли [30]. Традиционно маркером конвенциональных метафор считается незаметность, автоматизм восприятия, тогда как окказиональные сближения двух семантических планов принято считать признаком недавнего возникновения метафорического выражения. В настоящем исследовании для разграничения конвенциональных и авторских метафор используется алгоритм, предложенный Г.Б. Гуриным и А.Е. Беликовой [29].

Согласно авторам данной методики критериями разграничения метафор являются наличие / отсутствие словарной фиксации метафорического выражения в толковом словаре; возможность / невозможность замены метафорической единицы неметафорическим синонимом; возможность / невозможность реализации метафорического значения в минимальном контексте; фиксация метафорического выражения в корпусе; соответствие / несоответствие концептуальным метафорам, определяющим строй языка. Отметим, что в данном исследовании к авторским метафорам относились не только случаи индивидуального совмещения области-источника и области-мишени, не имеющего конвенциональных аналогов, но и случаи индивидуального заполнения слотов в стандартном сближении двух концептуальных областей. Например, метафора *the roots of ideology* в названии статьи А.Дж. Грегора рассматривается нами как конвенциональная, так как в толковом словаре зафиксировано вторичное значение лексемы *roots*: '*the origins or background of something*' [12]. Однако она не является главным средством номинации и лег-

ко может быть заменена неметафорическим синонимом *the beginnings of ideology*. В то же время реализация метафорического значения данной лексемы вне контекста области-мишени может быть затруднена. Примером авторской метафоры может служить *slack interpretation*, поскольку толковый словарь не отражает переносное значение лексемы *slack*. Согласно словарной дефиниции *slack* означает '*loose and not pulled tight; not taking enough care to make sure that something is done well; not as busy or successful as usual in business*' [12], тогда как в данном случае контекстуальным значением лексемы *slack* является '*not convincing or believable*'. Поиск данного метафорического выражения в Corpus of Contemporary American English (COCA) также не дал положительного результата. Таким образом, метафорическое выражение *slack interpretation* квалифицировалось как авторская метафора и далее подверглось анализу по методике Г. Стейна.

Так, в результате пропозиционного анализа была сформулирована метафорическая идея, структурно представленная в виде пропозиции [MOD INTERPRETATION SLACK] – *слабая интерпретация*. Будучи одной из форм презентации концептуальных структур, пропозиция требует интерпретации. Для этого сравнение, лежащее в основе переноса значения лексемы *slack*, репрезентируется в виде схемы SIM {ЭF Эa, [F INTERPRETATION]_t, [SLACK a]_s. То есть у INTERPRETATION (*интерпретации*) есть качество F из области-мишени, которое имеет сходство с качеством SLACK, характеризующим объект a из области-источника. Четвертая ступень – это интерпретация, результатом которой является заполнение пустых слотов, обозначенных переменными F и a, для выявления аналогии между концептами. Далее выявляется аналогия, лежащая в основе переносного значения лексемы SLACK: SIM {[UNCONVINCING INTERPRETATION]_t [SLACK STRAND/ROPE]_s. Данную схему можно трактовать следующим образом: *интерпретация неубедительна подобно тому, как веревка / провод не натянут(a)*. На основе реконструкции концептуального наложения области-источника на область-мишень для лексической единицы SLACK можно сделать следующие выводы: *неубедительность* соответствует *слабому натяжению*, *интерпретация* соответствует *веревке / проводу и т.п.*, результат *неубедительности* соответствует результату *слабого натяжения – не выполняет свою функцию*. Иными словами, *неубедительная интерпретация, как и слабо натянутая веревка / провод / струна и т.п., не выполняет свою функцию*. Таким образом, сферой-источником метафорического переноса значения лексемы SLACK является концептосфера «Артефакты», а метафорическая модель выглядит как ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – ЭТО АРТЕФАКТ (ФРЕЙМ «ИНСТУМЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ»). Подобным образом в проанализированных субтекстах были выявлены авторские метафоры, которые и обеспечивают развитие научной концепции. Количество авторских метафор в различных субтекстах представлено на рис. 1.

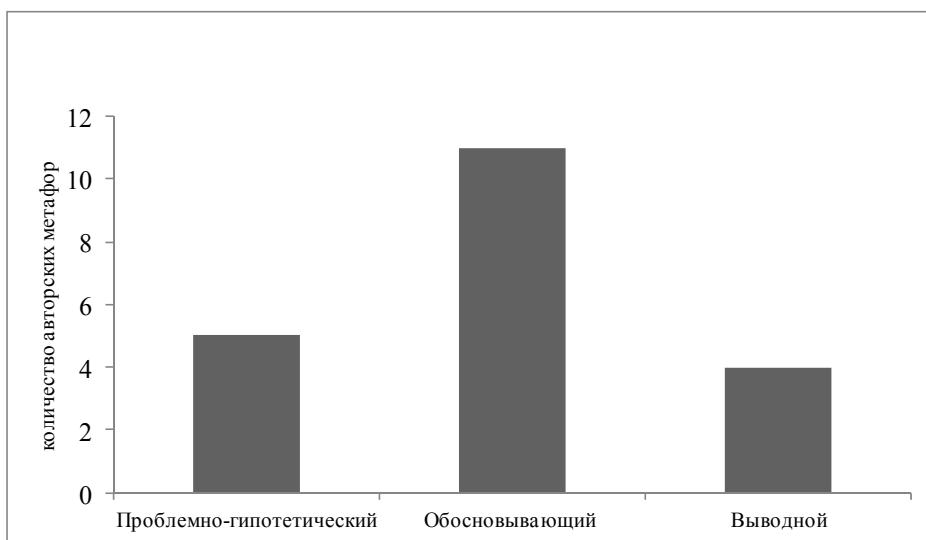


Рис. 1. Количество авторских метафор в субтекстах научной статьи А.Дж. Грегора
«Корни революционной идеологии»

На рис. 1 видно, что наибольшее количество авторских метафор встретилось в обосновывающем субтексте, выступающем основой развивающейся А.Дж. Грегором научной концепции. Для большей объективности было вычислено среднее количество авторских метафор на одной странице субтекста научного текста по формуле

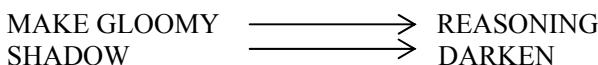
$$a = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + a_n}{n},$$

где a – среднее количество авторских метафор субтекста; $a_1 - a_n$ – множество метафор субтекста; n – количество страниц субтекста. Среднее количество метафор на одной странице проблемно-гипотетического субтекста составляет 3; обосновывающего – 0,5; выводного – 1. Таким образом, на одну страницу обосновывающего субтекста приходится наименьшее число авторских метафор. Наиболее вероятно, это объясняется тем, что, анализируя идеологию К. Маркса, Ф. Энгельса, И. Дицгена и К. Каутского в обосновывающем субтексте, А.Дж. Грегор зачастую ссылается на их труды.

Как отмечалось, за основу анализа авторских метафор в данном исследовании была взята методика Г. Стейна, состоящая из пяти ступеней: определение метафорического фокуса; выявление пропозиций; выявление сходства, лежащего в основе переноса значения; выявление аналогии между концептами и, наконец, определение наложения области-источника на целевую область для лексической единицы [31]. Данная методика была дополнена контекстуальным анализом метафорического термина, поскольку смысл научной

метафоры может быть понятен лишь в контексте концепции, в которой она была создана [32. С. 11].

Для иллюстрации данной методики приведем пример анализа и реконструкции метафорической модели одной из авторских метафор, обнаруженных в научной статье А.Дж. Грегора «Корни революционной идеологии»: ‘...moral reasoning used to justify totalitarianism and the massive destruction of life and property that darkens almost the entire past century’ [15. С. 21]. Процедура анализа начинается с определения метафорического фокуса высказывания путем сопоставления контекстуального и базового значений лексических единиц. В данном примере был выявлен контраст между базовым и контекстуальным значением лексической единицы *darken*. Ее базовым значением является “*to become darker, or to make something darker*” (потемнеть или затемнить) [12], а контекстуальным – ‘*to fill with sadness*’ (наполнить грустью) [13]. Таким образом, данную лексическую единицу следует рассматривать как метафорическую, а поскольку она употребляется на фоне других лексических единиц с буквальным значением, то можно сделать вывод, что *darken* – это метафорический фокус высказывания. Следующей ступенью является пропозиционный анализ, в результате которого семантическая структура метафорического высказывания может быть представлена в виде ряда пропозиций: P1 [REASONING_t DARKENS_s], P2 [MOD P1 CENTURY_t], P3 [MOD REASONING_t MORAL_t], P4 [MOD CENTURY_t PAST_t]. Пропозиционный анализ позволил сформулировать следующую метафорическую идею: *Моральное обоснование омрачило прошлый век*. На следующей ступени сравнение, лежащее в основе переноса значения лексемы *darken*, репрезентируется в виде схемы SIM {EF Эа, выражющей сходство двух концептуальных областей: области-мишени и области-источника. Согласно данной схеме существует сходство между деятельностью F из области-мишени, которую выполняет *REASONING* (*обоснование*), и действием *DARKEN*, (*затемнять*), выполняемым объектом a из области-источника. Четвертая ступень – это интерпретация, результатом которой является заполнение пустых слотов, обозначенных переменными F и a, для выявления аналогии между концептами. Аналогия, лежащая в основе переносного значения лексемы *DARKEN*, может быть представлена как SIM {[MAKE GLOOMY REASONING]_t [DARKEN SHADOW]_s. Данная схема может интерпретироваться следующим образом: *обоснование омрачает, подобно тому, как тень затемняет*. На заключительном этапе реконструируется концептуальное наложение области-источника на область-мишень для лексической единицы *DARKEN*:



Данный анализ позволил сделать следующие выводы: *омрачать* соответствует *затемнять*, *обоснование* соответствует *тени*, результат *омрачения* соответствует результату *затемнения* – недостаток счастья / света. То есть *моральное обоснование омрачает весь прошлый век, лишая людей счастья, подобно тому, как тень затемняет объекты, лишая их света*. Итак, источ-

ником метафорической экспансии в данном примере служит концептосфера «Неживая природа». То есть *MORAL REASONING DARKENS* является природной метафорой, в основе которой лежит фрейм «Физические свойства / состояния объектов / среды» и входящий в его состав слот «Темнота». Таким образом, метафорическую модель, выражающую связь между двумя понятийными сферами, можно представить в виде МОРАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ – ЭТО НЕЖИВАЯ ПРИРОДА.

Согласно результатам анализа в проблемно-гипотетическом тексте встречаются антропоморфные и природоморфные авторские метафоры. Антропоморфные авторские метафоры представлены фреймами «Действия и поступки человека» (*revolutionary forces were to visit*), «Качества человека» (*restless forces*) и «Физиологические действия» (*intellectual labors*). Природоморфные авторские метафоры проблемно-гипотетического субтекста представлены моделями МОРАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ – ЭТО НЕЖИВАЯ ПРИРОДА, фрейм «Состояние среды» (*moral reasoning darkens almost the entire past century*) и СИСТЕМА РЕВОЛЮЦИОННЫХ УБЕЖДЕНИЙ – ЭТО ЖИВОТНОЕ, фрейм «Обращение с животными» (*tease elements of revolutionary belief system*). Таким образом, авторские метафорические модели проблемно-гипотетического субтекста подчеркивают убеждение А.Дж. Грегора в том, что стремление к революции заложено в природе человека: «*revolutionaries are eminently human*» [15. С. 21].

В обосновывающем субтексте почти в половине случаев употребления авторских метафор сферой-источником служит математика. А. Дж. Грегор проводит аналогию между революционной идеологией и математической функцией, значение которой изменяется в зависимости от значений других величин: *ideas were a function of time, place and circumstances*. Около трети авторских метафор обосновывающего субтекста являются АРТЕФАКТНЫМИ. Одна из них относится к фрейму «Инструменты и механизмы»: *a slack interpretation of morals and ethic*, а остальные – к фрейму «Жилище»: *forces can no longer be housed, production can no longer be accommodated in a given societies economic base*. В обосновывающем субтексте также выявлена АНТРОПОМОРФНАЯ метафора, относящаяся к фрейму «Действия и поступки человека» (*the revolutionary activity reassured itself*) и еще одна СОЦИОМОРФНАЯ метафора, относящаяся к фрейму «Религия» (*the advent of such morality*). Таким образом, метафорическая идея обосновывающего субтекста заключается в том, что революционная идеология искусственно создана человеком (артефакт) с помощью точного расчета (математика).

В выводном субтексте встретились 4 авторские метафоры, относящиеся к одной метафорической модели: РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, фрейм «Математика», слот «Математическая функция» (*stability was a function of the class beliefs; morality was a function of time, circumstance, economic imperative, and class interests; human will, and the behavior... were conceived... to be a function of "social organization..."*; *the will to revolution... is a function of the relationship between the material productive forces*). Данная метафорическая модель подчеркивает относительность революционной идеологии, которая по аналогии с математической функцией является переменной величиной.

Авторские метафорические модели научной статьи А.Дж. Грегора «Корни революционной идеологии» представлены в табл. 1.

**Авторские метафорические модели научной статьи А.Дж. Грегора
«Корни революционной идеологии»**

Субтекст	Модель метафоры	Метафорическая идея
Проблемно-гипотетический	1. АНТРОПОМОРФНАЯ (РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО ЧЕЛОВЕК) 1.1. «Действия и поступки человека» 1.2. «Качества человека» 1.3. «Физиологические действия» 2. ПРИРОДОМОРФНАЯ 2.1. НЕЖИВАЯ ПРИРОДА (РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО МИР НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ) 2.1.1. «Состояние среды» 2.2. ЗООМОРФНАЯ (РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО ЖИВОТНОЕ) 2.2.1. «Обращение с животными»	Стремление к революции заложено в природе человека Революционная идеология негуманна
Обосновывающий	1. СОЦИОМОРФНАЯ (РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ) 1.1. «Математика» 1.2. «Религия» 2. АРТЕФАКТНАЯ (РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО АРТЕФАКТ) 2.1. «Инструменты и механизмы» 2.2. «Жилище» 3. АНТРОПОМОРФНАЯ (РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО ЧЕЛОВЕК) 3.1. «Действия и поступки человека»	В основе революционной идеологии лежит точный расчет Революционная идеология искусственно создана человеком
Выходной	1. СОЦИОМОРФНАЯ (РЕВОЛЮЦИОННАЯ ИДЕОЛОГИЯ – ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ) 1.1. «Математика»	Революционная идеология относительна

Итак, в анализируемом научном тексте реконструированы авторские метафорические модели. 50% из них – это СОЦИОМОРФНЫЕ авторские метафоры, причем 25% авторских метафор отсылают к понятийной области математики. АНТРОПОМОРФНЫЕ и АРТЕФАКТНЫЕ авторские метафоры

представлены в равном количестве – по 20%, тогда как ПРИРОДНЫЕ авторские метафоры составляют меньшинство – 10% от общего количества авторских метафор. На основе реконструированных моделей авторских метафор можно сделать вывод, что А.Дж. Грегор противопоставляет социально-политическую жизнь природе, рассматривая революционную идеологию как искусственно созданный продукт человеческой деятельности. Реконструкция авторских метафорических моделей знания на разных этапах познания научного объекта в политическом научном дискурсе позволила получить представление о творческой персонологической деятельности ученого-политолога и внести некоторый вклад в теорию концептуальной метафоры и политического дискурса. Полученные результаты могут лежать в основу разграничения различных видов дискурсов, типов текстов и способов моделирования политического знания, а также иметь практическую ценность для лингводидактики. В перспективе в исследовании возможно привлечение более широкого материала для выявления закономерностей метафорического моделирования в политическом научном дискурсе.

Литература

1. Геляева А.И. Человек как объект номинации в языковой картине мира: дис. ... д-ра филол. наук. Нальчик, 2002. 307 с.
2. Поппер К. Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 606 с.
3. Тульчинский Г.Л. Постчеловеческая персонология: Новые перспективы свободы и рациональности. СПб.: Алетейя, 2002. 677 с.
4. Богин Г.И. Концепция языковой личности: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1982. 31 с.
5. Карапулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. 1-е изд. М.: Наука, 1987. 264 с.
6. Арутюнова Н.Д. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1990. С. 136–137.
7. Васильев Л.М. Общие проблемы лингвистики: теория и методы. Уфа: РИЦ БашГУ, 2012. 206 с.
8. Караманова А.А. Текст и дискурс: соотношение понятий // Вестн. Южно-Урал. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика, 2013. Т. 10, №2. С. 19–23.
9. Сулимов В.А. Персона как вызов // Философские науки, 2009. № 12. С. 45–55.
10. Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова? // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2008. Вып. 1 (24). С. 43–48.
11. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 1990. С. 68–82.
12. MACMILLAN Dictionary //www.macmillandictionary.com
13. American Heritage Dictionary // https://ahdictionary.com
14. Bell V. Negotiation in the workplace: The view from a political linguist // The discourse of negotiation: Studies of language in the workplace. Oxford, 1995. P. 41–58.
15. Gregor A.J. Marxism, Fascism, and totalitarianism. Stanford, California, 2009. 402 p.
16. Аристотель. Поэтика и риторика. СПб.: Изд. дом «Азбука-классика», 2008. 352 с.
17. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры / под ред. Н.Д. Арутюновой. М., 1990. С. 387–416.
18. Вико Дж. Основания новой науки об общей природе нации. Москва; Киев: REFL-BOOK, 1994. 656 с.
19. Ницше Ф. Об истине и лжи во вnenравственном смысле // Ницше Ф. Избранные произведения. / сост. А.А. Жаровский. М., 1994. Т. 3. С. 254–265.
20. Fontanier P. Les figures du discours. Paris: Flammarion, 1977. 137 p.
21. Телия В.Н. Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. М., 1988. С. 173–204.

22. Мороховский А.Н., Воробъева О.П., Лихошерст Н.И., Тимошенко З.В. Стилистика английского языка. Киев: Вищ. шк., 1984. С. 173–174.
23. Чудинов А.П. Когнитивно-дискурсивное исследование политической метафоры // Когнитивная лингвистика. 2004. № 1. С. 91–102.
24. Мишанкина Н.А. Прагматика научного дискурса // Вестн. Новосиб. гос. пед. ун-та, 2015. № 2. С. 126–133.
25. Кожина М.Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории: Избранные труды. Пермь: Перм. ун-т: ПССГК, 2002. 475 с.
26. Баженова Е.А. Научный текст в дискурсивно-стилистическом аспекте // Вестн. Перм. ун-та. Сер. Российская и зарубежная филология. 2009. № 5. С. 24–32.
27. Баженова Е.А. Научный текст как система субтекстов: дис. ... д-ра филол. наук. Екатеринбург, 2001. 366 с.
28. Pragglejaz Group. MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse // Metaphor & Symbol. 2007. № 22 (1). Р. 1–39.
29. Беликова А.Е., Гурин Г.Б. Методика оценки конвенциональности метафорических выражений: от интуитивистских критерий к операциональным // Учен. зап. Петрозавод. гос. ун-та. Сер. Обществ. и гуманит. науки. 2012. № 1 (122). С. 44–50.
30. Bally Ch. *Traité de Stylistique Française*. Geneve, 1951. 332 р.
31. Steen G. Finding Metaphor in Discourse: Pragglejaz and Beyond // CULTURE, LANGUAGE AND REPRESENTATION. 2007. Vol. 5. P. 9–25.
32. Налимов В.В. Вероятностная модель языка. М.: Наука, 1979. 272 с.

SPECIFICITY OF SCIENTIFIC POLITICAL METAPHOR (A CASE STUDY OF A.J. GREGOR'S SCIENTIFIC ARTICLE "THE ROOTS OF REVOLUTIONARY IDEOLOGY")

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 87–103. DOI: 10.17223/19986645/50/6

Irina S. Morozova, Elena A. Smolianina, Higher School of Economics (Perm, Russian Federation). E-mail: ismorozo@rambler.ru / elen3002@yandex.ru

Keywords: personological knowledge, conceptual metaphor, political scientific text, subtext, metaphorical model.

Previous research into conceptual metaphor in political discourse was done on media texts. The present paper deals with a political scientific text “The Roots of Revolutionary Ideology” by the outstanding American politologist A.J. Gregor. Recent years have seen the growing interest to personological knowledge represented by conceptual metaphors in personotexts from different discourses. Based on the premise that personological knowledge is manifested in original metaphors, this research aims to reconstruct Gregor’s original metaphorical models at different stages of cognition. The study was carried out in four steps using the method of functional-stylistic analysis, the Pragglejaz method, Gurin and Belikova’s algorithm for metaphor classification and, finally, G. Steen’s methodology. First, the analysed political scientific text was broken into subtexts (problem stating, hypothetical, substantiating and deducing) correlating with different stages of cognition. Second, there were metaphors found in each of the subtexts using the Pragglejaz method for metaphor identification. Metaphors are different in terms of personological knowledge representation. Thus, they were divided into conventional and original applying Gurin and Belikova’s algorithm. In the research original metaphors included both individual mapping of the source and target domains and individual filling of slots in case of conventionalised cross-domain mapping. Only original metaphors were further analysed using G. Steen’s five-step methodology: finding a metaphorical focus, proposition, comparison, analogy and mapping. As a result original metaphorical models were reconstructed for each subtext: REVOLUTIONARY IDEOLOGY IS A HUMAN BEING, REVOLUTIONARY IDEOLOGY IS AN ANIMAL, and REVOLUTIONARY IDEOLOGY IS INANIMATE NATURE in the problem stating-hypothetical subtext; REVOLUTIONARY IDEOLOGY IS A HUMAN BEING, REVOLUTIONARY IDEOLOGY IS AN ARTEFACT and REVOLUTIONARY IDEOLOGY IS A SOCIAL INSTITUTION in the substantiating subtext; REVOLUTIONARY IDEOLOGY IS A SOCIAL INSTITUTION (MATHEMATICS) in the deducing subtext. The reconstructed models allowed concluding about Gregor’s personological knowledge manifested in his metaphorical ideas at different stages of cognition. Thus, the problem is that revolutions are human, but revolutionary ideology is inhuman. Gregor hypothesises

and proves that revolutionary ideology was created by humans artificially (an artefact) using exact calculation (mathematics) and it is relative to time and circumstances. Content analysis showed that 50% of Gregor's original metaphors are SOCIOUMORPHOUS with a half of them referring to the MATHEMATICS conceptual domain. ANTHROPOMORPHOUS AND ARTEFACTUAL original metaphors have equal numbers – 20% in each group, while NATUREMORPHOUS original metaphors are the least – 10%. So, it may be concluded that Gregor opposes socio-political life and nature regarding revolutionary ideology as an artificial product of human activity.

References

1. Gelyaeva, A.I. (2002) *Chelovek kak ob'ekt nominatsii v yazykovoy kartine mira* [Man as an object of nomination in the language picture of the world]. Philology Dr. Diss. Nalchik.
2. Popper, K. (1983) *Logika i rost nauchnogo znaniya* [Logic and the growth of scientific knowledge]. Translated from English. Moscow: Progress.
3. Tul'chinskii, G.L. (2002) *Postchelovecheskaya personologiya. Novye perspektivy svobody i ratsional'nosti* [Posthuman personology. New perspectives of freedom and rationality]. St. Petersburg: Aleteyia.
4. Bogin, G.I. (1982) *Kontsepsiya yazykovoy lichnosti* [The concept of language personality]. Abstract of Philology Dr. Diss. Leningrad.
5. Karaulov, Yu.N. (1987) *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian language and language personality]. 1st ed. Moscow: Nauka.
6. Arutyunova, N.D. (1990) *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistic encyclopedic dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 136–137.
7. Vasil'ev, L.M. (2012) *Obshchie problemy lingvistiki: teoriya i metody* [General problems of linguistics: theory and methods]. Ufa: Bashkir State University.
8. Karamova, A.A. (2013) Text and Discourse: Notions Correlation. *Vestnik Yuzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Lingvistika – South Ural State University Bulletin. Series "Linguistics"*. 10:2. pp. 19–23. (In Russian).
9. Sulimov, V.A. (2009) Persona kak vyzov [Person as a challenge]. *Filosofskie nauki*. 12. pp. 45–55.
10. Maslova, V.A. (2008) Politicheskiy diskurs: yazykovye igry ili igry v slova? [Political discourse: language games or word games?]. *Politicheskaya lingvistika – Political Linguistics*. 1 (24). pp. 43–48.
11. Ortega y Gasset, H. (1990) Dve velikie metafory [Two great metaphors]. Translated from Spanish. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
12. *MACMILLAN Dictionary*. [Online] Available from: www.macmillandictionary.com.
13. *American Heritage Dictionary*. [Online] Available from: <https://ahdictionary.com>.
14. Bell, V. (1995) Negotiation in the workplace: The view from a political linguist. In: Firth, A. (ed.) *The discourse of negotiation: Studies of language in the workplace*. Oxford, UK; Tarrytown, N.Y., U.S.A.: Pergamon.
15. Gregor, A.J. (2009) *Marxism, Fascism, and totalitarianism*. Stanford, California: Stanford University Press.
16. Aristotle. (2008) *Poetika i ritorika* [Poetics and rhetoric]. Translated from Old Greek. St. Petersburg: Izd. dom "Azbuka-klassika".
17. Lakoff, G. & Johnson, M. (1990) Metafory, kotorymi my zhivem [Metaphors we live by]. Translated from English. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Teoriya metafory* [Theory of metaphor]. Moscow: Progress.
18. Vico, G. (1994) Osnovaniya novoy nauki ob obshchey prirode natsii [Foundations of a new science on the general nature of a nation]. Translated from Italian. Moscow; Kiev: REFL-BOOK.
19. Nietzsche, F. (1994) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Vol. 3. Moscow: REFL-BOOK. pp. 254–265.
20. Fontanier, P. (1977) *Les figures du discours* [The figures of discourse]. Paris: Flammarion.
21. Teliya, V.N. (1988) Metaforizatsiya i ee rol' v sozdaniy yazykovoy kartiny mira [Metaphorization and its role in creating a language picture of the world]. In: Serebrennikov, B.A. et al. *Rol' chelovecheskogo faktora v yazyke: Yazyk i kartina mira* [The role of the human factor in language: Language and the world picture]. Moscow: Nauka.
22. Morokhovskiy, A.N., Vorob'eva, O.P., Likhoshrest, N.I. & Timoshenko, Z.V. (1984) *Stilistika angliyskogo yazyka* [Stylistics of the English language]. Kiev: Vishcha shk.

23. Chudinov, A.P. (2004) Kognitivno-diskursivnoe issledovanie politicheskoy metafory [Cognitive-discursive study of political metaphor]. *Kognitivnaya lingvistika*. 1. pp. 91–102.
24. Mishankina, N.A. (2015) Pragmatics of scientific discourse. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin*. 2. pp. 126–133. (In Russian).
25. Kozhina, M.N. (2002) *Rechevedenie i funktsional'naya stilistika: voprosy teorii. Izbrannye trudy* [Speech studies and functional stylistics: questions of theory. Selected works]. Perm: Perm State University: PSI: PSSGK.
26. Bazhenova, E.A. (2009) Discourse-stylistic approach to the research of scientific texts. *Vestnik Permskogo un-ta. Seriya "Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya"* – Perm University Herald. Russian and Foreign Philology. 5. pp. 24–32. (In Russian).
27. Bazhenova, E.A. (2001) *Nauchnyy tekst kak sistema subtekstov* [Scientific text as a system of subtexts]. Philology Dr. Diss. Ekaterinburg.
28. Pragglejaz Group. (2007) MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. *Metaphor & Symbol*. 22 (1). pp. 1–39.
29. Belikova, A.E. & Gurin, G.B. (2012) A procedure for evaluating degree of conventionality of metaphor expressions: from intuition to operational criteria. *Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Obshchestvennye i gumanitarnye nauki"* – Proceedings of Petrozavodsk State University. Series "Social and Human Sciences". 1 (122). pp. 44–50. (In Russian).
30. Bally, Ch. (1951) *Traité de Stylistique Française* [Treaty of French stylistics]. Geneva: Georg, et P., Klincksieck.
31. Steen, G. (2007) Finding Metaphor in Discourse: Pragglejaz and Beyond. *CULTURE, LANGUAGE AND REPRESENTATION*. 5. pp. 9–25.
32. Nalimov, V.V. (1979) *Veroyatnostnaya model' yazyka* [Probabilistic model of language]. Moscow: Nauka.

УДК 81'23

DOI: 10.17223/19986645/50/7

З.И. Резанова, Е.Ю. Ершова

**ВЛИЯНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО РОДА
НА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)¹**

В статье представлены результаты исследования влияния грамматической категории рода на концептуализацию объектов носителями русского языка и русско-испанскими билингвами, проведенного с применением экспериментальных психолингвистических методов. Экспериментально доказано влияние различий в грамматическом роде имен на оценку степени сходства изображений именуемых ими предметов и изображений мужчин и женщин. Доказывается влияние грамматических категориальных значений как первого (русского), так и второго (испанского) языка.

Ключевые слова: грамматический род, лингвистическая относительность, концептуализация, билингвизм, русский язык, испанский язык.

Представленное в данной статье исследование влияния грамматической категории рода на восприятие и интерпретацию неязыковых объектов проводится с позиций теории лингвистической относительности. Гипотеза о глобальном влиянии языковых структур на восприятие и интерпретацию явлений внеположенного человеку мира, сформулированная в работах Э. Сепира и Б. Уорфа почти сто лет назад, находится в поле активных дискуссий представителей разных научных направлений и в настоящее время. На протяжении последних ста лет основные положения гипотезы рассматривались и доказывались этнолингвистами (Д. Ли, Г. Хойер и др.), когнитивными лингвистами и лингвоконцептологами (А. Вежбицкая, Дж. Лакофф и др.), психолингвистами (Д. Слобин, С. Левинсон, Дж. Люси, Л. Бородицки и др.).

Одним из способов подтверждения гипотезы лингвистической относительности является проведение сопоставительных этноязыковых исследований. Ученые ищут факты, доказывающие или опровергающие идею о том, что разница в лексических и грамматических категориях языков мира влияет на различие в способах концептуализации внеязыковой действительности их носителями, что доказывается обнаружением фактов концептуальной и семантико-функциональной асимметрии лексических и лексико-грамматических систем языков [1–2].

Различия в языковой репрезентации категорий времени и пространства в рамках теории лингвистической относительности доказывались анализом систем как лексических (ЛСГ, семантические поля с соответствующей интегральной семой), так и грамматических манифестаций (грамматическая категория времени у глаголов, локативы и пр.) [3–5].

¹ Результаты были получены в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России, проект № 34.8749.2017/9.10.

В лингвокогнитивных исследованиях моделируется концептуальное своеобразие этноязыковых картин мира на основе анализа языковых единиц разных уровней, преимущественно лексического и лексико-фразеологического (работы Ю.Д. Апресяна, А.А. Зализняк, Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой и др.)¹.

С середины XX в. для доказательства положений гипотезы также широко используются психолингвистические методы. Эвристическая ценность психолингвистических методов состоит в том, что они позволяют экспериментальным путем проверить те или иные положения гипотезы с опорой на некоторые объективные показатели, результаты измерений неосознаваемых реакций носителей языка (например, время реакции, количество фиксаций взгляда). Исследователи проводят поведенческие эксперименты на материале языков со значимыми различиями в выражении лексических и грамматических категорий, пытаясь выявить результирующие различия в когнитивных процессах восприятия носителями данных языков [8–16].

Интерес к исследованию влияния грамматических систем на ментальные процессы категоризации в рамках теории лингвистической относительности во многом обусловлен обязательностью выражения грамматических значений в языке, которая, по мнению исследователей, способствует тому, что носители языков бессознательно воспринимают свойства предметов, явления сквозь своеобразные смысловые фильтры, формируемые системой формально маркируемых грамматических категорий. Одним из таких смысловых фильтров, например, в русском языке при восприятии процессов является их отнесенность к завершенным или длящимся действиям, маркированная грамматическим видом.

В последние десятилетия в рамках гипотезы лингвистической относительности с применением психолингвистических методов из числа грамматических категорий наиболее активно изучается категория рода. Это объясняется, во-первых, существующим разнообразием в ее выражении даже среди родственных европейских языков (например, в английском языке грамматическая категория рода отсутствует, во французском она существует и является двучленной, в немецком – трехчленной), а во-вторых, тем, что род представляет собой максимально абстрактную категорию, влияние которой на мышление должно, по мнению некоторых исследователей, проявляться сильнее, чем влияние областей, тесно связанных с универсальным телесным опытом [16. С. 63]. Психолингвистические методы активно применяются при изучении грамматического рода в двух основных аспектах: исследуется то, как носители языка осваивают и обрабатывают грамматический род, и то, как грамматический род влияет на концептуализацию объектов носителями языка. Нас интересует прежде всего второй аспект данной общей проблемы.

Подавляющее большинство исследований влияния грамматического рода выполнено на материале европейских языков (чаще всего испанского, французского, итальянского, немецкого и португальского). В качестве языков без

¹ Стоит отметить также ряд работ, в которых проблематика такого рода рассматривается на примере специализированных языков, таких как юридический язык [6], и в историческом разрезе [7].

системы грамматического рода в большинстве работ выступает английский, также анализируются японский [17] и венгерский [18, 19], из славянских языков – русский [20] и болгарский [21–23].

Изучаются следующие вопросы: как грамматический род влияет на процесс концептуализации объектов, проявляется ли влияние грамматического рода только на лексическом уровне или оно распространяется на концептуальный уровень, в каком возрасте дети осваивают грамматический род и он начинает оказывать влияние на их восприятие и т. д. Особенно актуальным в данной области в настоящий момент является анализ билингвизма и овладения вторым языком, в рамках которых лингвисты изучают потенциальное влияние грамматического рода во втором языке на когнитивные процессы билингвов и их речевую деятельность, осуществляющую на первом языке.

В целом можно говорить о том, что результаты многих исследований продемонстрировали влияние грамматического рода на концептуализацию объектов носителями языка, которое проявлялось в том, что носители языков с системами грамматического рода наделяли женскими характеристиками объекты, обозначенные существительными женского рода, и мужскими – объекты, обозначенные существительными мужского рода. Однако эти результаты зависели от многих факторов и не всегда реплицировались в аналогичных исследованиях.

Одним из самых значимых факторов, влияющих на результаты, является используемый в исследовании экспериментальный метод. Методики, наиболее часто применяемые в психолингвистических исследованиях влияния грамматического рода, можно разделить на две группы: в первой используются задания, в которых прямо упоминается грамматический род или манипуляция им очевидна; во второй – задания, в которых нет прямого упоминания грамматического рода.

Методики первого типа основываются на заданиях определения рода (*gender attribution tasks*): на заданиях определения голоса и имени (*voice and name attribution tasks*), в которых участникам нужно выбрать мужской или женский голос/имя для предметов и/или животных, которые якобы будут использованы в анимационном фильме. Результаты подобных исследований показывают, что носители языков с грамматическим родом склонны выбирать голоса и имена для объектов в соответствии с грамматическим родом существительных, обозначающих эти объекты [18, 22–24]. К первой группе также относятся задания с использованием шкалы семантического дифференциала в тех случаях, когда используется шкала мужское – женское [27, 28], а также анкетирование по вопросам о природе и особенностях грамматического рода в разных языках, как, например, в исследовании Б. Бассетти [29].

К методикам второй группы можно отнести задания на запоминание: участникам эксперимента нужно запоминать пары объект – имя (например, «мост Клаудия»), при этом проверяется, будут ли испытуемые лучше запоминать пары, в которых грамматический род существительного, обозначающего объект, совпадает с родом имени собственного. Влияние грамматического рода при выполнении задания на запоминание было обнаружено в исследовании Л. Бородицки и Л. Шмидта [16. С. 68], однако в другом исследо-

вании, использующем аналогичный метод, влияние грамматического рода было обнаружено у носителей испанского языка, но отсутствовало у носителей немецкого [30].

Также к «скрытым» методам в исследованиях влияния грамматического рода на категоризацию можно отнести метод семантического дифференциала, широко применяемый в исследованиях начиная с 1962 г. [31] и измеряющий мужские и женские коннотации объектов с помощью их оценки по биполярным градуированным шкалам активности (активный – пассивный), силы (сильный – слабый) и др. При этом участникам подобных исследований неизвестно, что данные шкалы измеряют мужские и женские коннотации. В части исследований с применением метода семантического дифференциала влияние грамматического рода не было найдено [32. С. 5], однако во многих других было обнаружено [18, 30, 31, 33–36].

Наконец, в исследованиях влияния грамматического рода используются разные задания на оценку сходства разных предметов, животных и людей, направленные на проверку гипотезы о том, что объекты, выраженные существительными одного грамматического рода, будут оценены носителями языка как более похожие. В подобных исследованиях влияние грамматического рода чаще обнаруживается в случаях, когда в качестве стимулов используются не изображения, а слова [25] или когда сравниваются существительные из семантической категории животных, а не предметов [37]. Однако влияние грамматического рода было обнаружено в исследовании Л. Бородицки и У. Филипса [38], несмотря на использование изображений в качестве стимулов. Следует отметить, что в исследованиях второй группы, выстраиваемых на неявных манипуляциях с грамматическим родом, были получены более противоречивые результаты по сравнению с исследованиями первой группы.

Проведенные исследования показали, что влияние грамматического рода на концептуализацию объектов зависит от таких факторов, как возраст респондентов (исследователи сходятся во мнении, что влияние грамматического рода на мышление начинает проявляться у детей старше восьми лет [24, 34]), исследуемый язык (так, многие исследователи не смогли обнаружить влияние грамматического рода в немецком языке [30, 37]), характер задания и используемого материала (установлено влияние формы представления стимулов, их отнесенность к разным семантическим категориям [26, 37] и т. д.).

Полученные в настоящее время результаты по-прежнему неоднозначны, значительно расходятся друг с другом и требуют дальнейшего уточнения, совершенствования методов и расширения материала. Следует отметить и слабое включение материала русского языка, имеющего семантически и формально сложно организованную грамматическую категорию рода, в компаративные психолингвистические исследования.

Предметом настоящего исследования, выполненного в парадигме психолингвистики, является грамматическая категория рода в русском и испанском языках. Мы выявляем, повлияют ли различия в категоризации имен существительных в рассматриваемых языках на восприятие объектов носителями данных языков и билингвами.

Грамматическая категория рода существительных в русском и испанском языках представляет собой согласовательный класс, обладающий такими чертами грамматической категории, как обязательность, оппозитивность частных значений и формальная маркированность. И в русском, и в испанском языках грамматическая категория рода существительных является классифицирующей. У других частей речи, обладающих категорией рода, она является словоизменительной и согласуется с родом существительного.

И в русском, и в испанском языке существуют морфологические средства формального маркирования грамматического рода существительных (окончания), однако в обоих языках система флексий не всегда оказывается достаточным критерием для различения рода существительных. В испанском маркером рода также являются артикли, отсутствующие в русском языке. Другое отличие системы грамматического рода в испанском языке от системы рода в русском – ее двучленность: в испанском языке два класса рода (мужской и женский), в русском три (мужской, женский и средний).

Так как русско-испанские билингвы и носители русского языка, участвовавшие в нашем исследовании, также владели английским языком на разном уровне, необходимо обозначить особенности рода и в этом языке. Большинство исследователей сходятся во мнении, что грамматический род в английском отсутствует, и мы также придерживаемся этой позиции. Мы считаем, что род в английском является функционально-семантической, а не грамматической категорией, так как не обладает обозначенными выше чертами грамматических категорий (обязательность, формальная маркированность).

В большинстве психолингвистических исследований, изучающих влияние грамматического рода на концептуализацию объектов, английский выступает в роли контрольного языка, языка без системы грамматического рода. Ответы носителей языков с грамматическим родом сравниваются с ответами носителей английского языка для выявления в процессах концептуализации и ментальной презентации каких-либо общих тенденций, не зависящих от наличия или отсутствия системы грамматического рода в конкретном языке [39, С. 452; 32, С. 7]. В исследованиях с билингвами в качестве одной из групп часто выступают носители какого-либо языка с системой грамматического рода (например, испанского, немецкого), владеющие английским языком как иностранным.

Среди противников использования английского языка как контрольного, или языка без системы грамматического рода, можно назвать Р. Лэндора (R. Landor), использующего в своем исследовании в качестве контрольного венгерский язык, в котором, в отличие от английского, даже личные местоимения не различаются по родам. Р. Лэндор ссылается на исследования [38, 39], оперирующие термином *gender loading* для обозначения варьирования степени маркированности грамматического рода в языках. Языки можно расположить на шкале в зависимости от степени выраженности рода в них: на одном конце шкалы будут языки, в которых грамматический род бесспорно отсутствует (например, венгерский, финский), на противоположном конце шкалы – языки с очень развитыми системами грамматического рода (например, иврит, в котором грамматический род есть, среди прочего, у глаголов и личных местоимений второго лица). Английский язык на данной шкале будет

занимать положение, близкое к языкам с отсутствующим грамматическим родом, однако все же отличное от них, так как в нем присутствуют некоторые средства выражения грамматического рода. В данном вопросе мы придерживаемся позиции лингвистов, рассматривающих обязательность в качестве необходимого критерия грамматической категории, вследствие чего в исследовании исходим из тезиса об отсутствии категориального грамматического статуса у семантики рода имен существительных английского языка.

Цель данной работы – проверка **гипотезы** о том, что различия в грамматической категоризации имен существительных в русском и испанском языках окажут влияние на восприятие объектов носителями данных языков и билингвами. Для проверки данной гипотезы было проведено два эксперимента.

Первый эксперимент

Первый эксперимент представляет собой частичную репликацию эксперимента Л. Бородицки и У. Филлипса, представленного в статье «Can Quirks of Grammar Affect the Way You Think? Grammatical Gender and Object Concepts» [38].

Авторами было проведено пять экспериментов с участием испано-английских, немецко-английских, испано-немецких билингвов и носителей английского языка. В первых двух экспериментах участникам нужно было оценить сходство двух изображений, одно из которых – изображение человека (мужчины или женщины), а другое – изображение объекта (предмета или животного) по шкале от 1 до 9, где 1 – не похожи и 9 – очень похожи¹. В эксперименте использовались существительные противоположного рода в испанском и немецком языках. В третьем эксперименте Л. Бородицки и У. Филлипса была добавлена вербальная интерференция с целью отклонить гипотезу, что в предыдущих экспериментах эффект влияния грамматического рода был достигнут за счет того, что участники во время выполнения задания проговаривали про себя названия объектов. В четвертом и пятом экспериментах был использован выдуманный язык *Gumbuzi* с делением слов на категории *soupositive* и *oosative* (по аналогии с мужским и женским родом) для того, чтобы проверить, может ли грамматический род оказывать влияние на мышление без посредничества культурных факторов.

Результаты проведенных экспериментов продемонстрировали влияние аспектов грамматики, различающихся в разных языках, на восприятие объектов носителями данных языков. Влияние грамматического рода на восприятие сходства между предметами и людьми было обнаружено даже несмотря на то, что задание было сформулировано на английском языке, в котором отсутствует грамматический род, задание было нелингвистическим (использовались изображения без подписей) и применялась вербальная интерференция. Более того, в ходе экспериментов было продемонстрировано, что межъязыковые различия в мышлении могут быть вызваны грамматическими различиями даже при отсутствии культурных факторов.

Мы частично реплицировали первый из описанных выше экспериментов: участникам эксперимента нужно было оценивать сходство двух изображений

¹ В оригинале «not similar» и «very similar».

(одно из которых – изображение мужчины или женщины, другое – изображение предмета или животного) по шкале от 1 до 7, где 1 – совсем не похожи и 7 – очень похожи.

В данном эксперименте в пределах приведенной выше общей **гипотезы** о том, что различия в грамматической категоризации имен существительных в русском и испанском языках окажут влияние на восприятие объектов, были выдвинуты две частные:

1. Носители русского языка оценят конгруэнтные пары изображений (например, *женщина – скрипка*) как более похожие, чем неконгруэнтные (например, *мужчина – скрипка*). Под конгруэнтными понимаются пары с совпадением рода существительного, обозначающего объект, и пола человека, с которым этот объект нужно сравнивать (мужской род – мужской пол, женский род – женский пол). Соответственно, неконгруэнтные – это пары с несовпадением рода и пола.

2. Влияние испанского языка на русско-испанских билингвов отразится в разнице их оценок с оценками носителей русского языка, не владеющих испанским.

Дизайн эксперимента. Для проверки первой гипотезы использовался дизайн эксперимента 2×2 , где независимыми переменными послужили грамматический род существительных, обозначающих объекты, с двумя уровнями: мужской vs женский и пол людей на изображениях также с двумя уровнями: мужской vs женский. Соотношение этих двух переменных в эксперименте выражалось в конгруэнтности / неконгруэнтности рода и пола.

Для проверки второй гипотезы использовался дизайн эксперимента $2 \times 2 \times 2$, где в качестве дополнительной независимой переменной выступил тип владения языками участников эксперимента также с двумя уровнями: носители русского языка vs русско-испанские билингвы.

В качестве зависимой переменной выступала оценка испытуемыми степени сходства двух изображений, измеряемая по шкале от 1 до 7.

Участники. В первом эксперименте участие приняли две группы испытуемых: 32 русско-испанских билингва и 25 носителей русского языка. Средний возраст участников – 25 лет. Все участники отметили русский как свой родной язык. Группа русско-испанских билингвов состояла из студентов и выпускников факультетов иностранных языков томских вузов, которые представляли собой поздних, функциональных билингвов. Ранний и поздний билингвизм противопоставляются по времени овладения вторым языком [42]. Поздний билингвизм является вторичным, приобретенным, т.е. в отличие от раннего билингвизма он развивается не с рождения и не является естественным. Функциональный билингвизм – тип билингвизма, выделяемый на основании ситуации применения второго языка. Он подразумевает использование второго языка преимущественно в определенной сфере общения (обычно в сфере учебы) [43].

Большинство участников оценили свой уровень владения испанским языком как средний (62,5 %); 34,4 % отметили, что владеют испанским на высоком уровне, 3,1 % (1 респондент) оценил свой уровень как начальный. Более половины респондентов указали, что используют испанский язык только для учебы или работы; 25 % практически или совсем не используют испанский

язык в настоящее время, примерно столько же респондентов используют испанский в повседневной жизни постоянно. Ответы участников на вопрос «Сколько лет Вы изучали испанский язык?» варьировались от 1,5 до 16 лет ($M=5$ лет).

Группа носителей русского языка была представлена студентами и выпускниками томских вузов. Мы не называем данную группу монолингвами, противопоставляя ее группе русско-испанских билингвов, так как большинство респондентов этой группы владели английским языком на том или ином уровне (только 8 % указали, что не владеют английским языком; более половины (60 %) оценили свой уровень английского как средний). Однако респонденты из данной группы не владели языками, в которых была бы система грамматического рода, кроме своего родного языка.

Материалы. В качестве стимулов использовалось четыре изображения людей и 14 изображений объектов. Все изображения представляли собой свободные от копирайта векторные иллюстрации, выполненные в одном стиле в черно-белых и серых тонах. Существительные, обозначающие объекты, были подобраны так, чтобы у них был противоположный род в русском и испанском языках: семь существительных были именами мужского рода в русском языке и женского – в испанском (стул – *la silla*, велосипед – *la bicicleta*, дом – *la casa*, якорь – *la áncora*, муравей – *la hormiga*, лист – *la hoja*, колокол – *la campana*) и семь – женского рода в русском и мужского в испанском (книга – *el libro*, книга – *el libro*, улитка – *el caracol*, скрипка – *el violin*, пуговица – *el botón*, акула – *el tiburón*, кукуруза – *el maíz*). Мы не могли использовать те же существительные, что и в эксперименте Л. Бородицки и У. Филлипса, так как они выбирали существительные противоположного рода в испанском и немецком языках, а не испанском и русском. Но, как и Л. Бородицки и У. Филлипс, мы выбирали конкретные существительные, обозначающие неодушевленные предметы и животных, простые и легко узнаваемые носителями языка. Кроме этого, так как в эксперименте используются только изображения без подписей, мы постарались удостовериться, что у всех стимулов только одно наименование. В случае, если возможно два наименования (например, участник может назвать акулу рыбой), оба наименования относились к одному грамматическому роду в русском и испанском языках (и «акула», и «рыба» женского рода в русском; они же оба мужского рода в испанском: *el tiburón* и *el pez*).

В качестве изображений людей использовались два изображения женщины (женское лицо и женская фигура) и два изображения мужчины (мужское лицо и мужская фигура). Это было сделано для того, чтобы снизить возможное влияние эффекта сходства формы (некоторые стимулы-объекты по форме могут быть больше похожи на фигуру человека, другие – на лицо) и тем самым уравнять все стимулы. Мы использовали четыре изображения людей вместо восьми, как в эксперименте Л. Бородицки и У. Филипса, чтобы сократить общее количество пар (56 вместо 112) и облегчить выполнение задания для участников (мы предположили, что задание на оценивание сходства 112 пар изображений может показаться участникам слишком длинным и утомительным и это скажется на их ответах). Кроме этого, мы использовали только нейтральные изображения людей, не вызывающие дополнительных

ассоциаций, в то время как в эксперименте Бородицки и Филипса среди прочих в качестве изображений людей использовались изображения балерины, невесты, короля и великана.

Процедура эксперимента. Участники проходили эксперимент дистанционно и индивидуально на своих личных компьютерах. Эксперимент проводился с помощью Google-анкет.

Экспериментальный материал предъявлялся участникам следующим образом: на экране компьютера появлялись одновременно изображения предмета и изображения мужчины или женщины. Под каждой парой изображений была представлена шкала с семью делениями, одно из которых участник должен был отметить, чтобы обозначить, насколько похожими он считает данные изображения. См. пример предъявляемых стимулов в эксперименте на рис. 1.

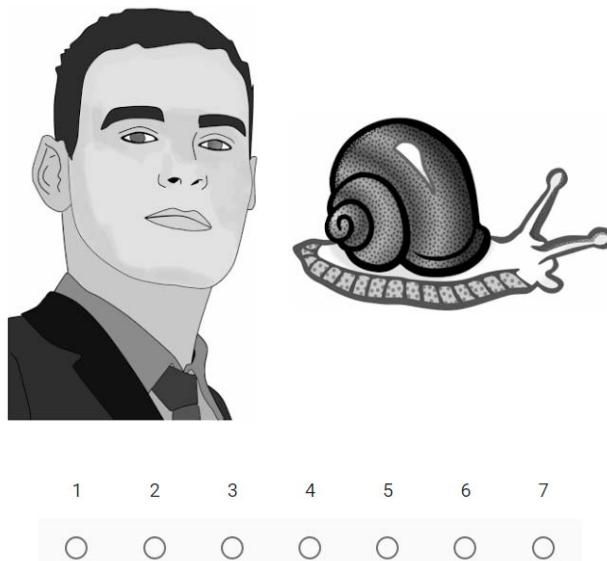


Рис. 1. Пример предъявляемых в эксперименте стимулов

Инструкция к эксперименту давалась на родном языке участников: «Вы увидите на экране два изображения, на одном из которых человек, а на другом – какой-то предмет или животное. Оцените, насколько, по Вашему мнению, похожи изображенные объекты по шкале от 1 до 7: 1 – совсем непохожи, 7 – очень похожи. Пожалуйста, используйте всю шкалу (не только крайние, но и промежуточные значения)». Для всех участников был задан случайный порядок представления вопросов.

Перед прохождением эксперимента каждый участник заполнял форму информированного согласия и анкету с вопросами о своем языковом опыте, включая вопросы о том, является ли русский язык родным, какими языками владеет информант и на каком уровне. Как отмечалось, данная информация была необходима, чтобы исключить возможное влияние другого (не испанского) изучаемого языка, имеющего грамматический род. Более подробную

информацию информанту предлагалось представить о характере владения испанским языком – об уровне владения, количестве лет изучения, характере использования языка в настоящее время.

Результаты и обсуждение¹. Всего было получено 3192 реакции. Статистическая обработка данных проводилась в среде RStudio². Для анализа результатов мы использовали критерий Уилкоксона. Выбор данного критерия обусловлен тем, что в эксперименте применяется порядковая шкала и, следовательно, полученные данные не могут быть проверены на нормальность и проанализированы с помощью параметрических критериев. Критерий Уилкоксона является непараметрическим статистическим критерием, позволяющим оценить различия между двумя выборками парных измерений. В выборе статистического критерия при обработке результатов проявилось еще одно расхождение нашего эксперимента с экспериментом Л. Бородицки и У. Филлипса, которые для анализа результатов использовали дисперсионный анализ, что считается недопустимым при использовании порядковой шкалы.

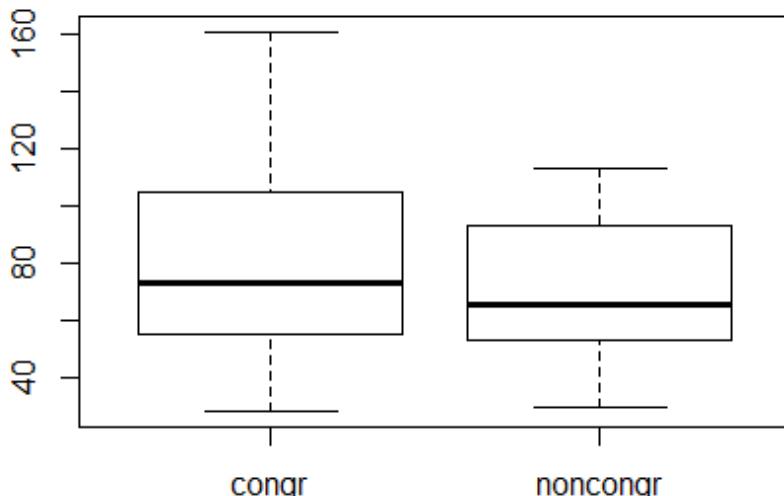


Рис. 2. Разница в оценках конгруэнтных (congr) и неконгруэнтных (noncongr) пар в группе носителей русского языка

¹ Нужно отметить, что наша интерпретация ответов билингвов отличалась от анализа, представленного в статье Л. Бородицки и У. Филлипса. Это было обусловлено прежде всего отличием типов билингвизма участников экспериментов. Русско-испанские билингвы, принявшие участие в нашем эксперименте, представляли собой учебных билингвов с доминирующим русским языком и в среднем пятилетним опытом изучения испанского языка. Испано-немецкие билингвы, участвовавшие в эксперименте Л. Бородицки и У. Филлипса, владели вторым языком на более высоком уровне; кроме того, их, вероятно, можно было бы назвать сбалансированными билингвами: участники изучали испанский язык в среднем 23,1 года, немецкий – 26,1 года. Как следствие, влияние второго языка на билингвов, участвовавших в эксперименте Л. Бородицки и У. Филлипса, было более явным и легко измеримым.

² RStudio Team (2016). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA. URL: <http://www.rstudio.com/>

Критерий Уилкоксона показал наличие статистически значимой разницы между оценками конгруэнтных и неконгруэнтных пар у носителей русского языка ($p = 0,04$) (рис. 2).

При анализе ответов русско-испанских билингвов, как и при анализе ответов носителей русского языка, мы считаем конгруэнтными те пары, которые являются таковыми в русском языке (хотя они являлись неконгруэнтными в испанском, так как все существительные, использованные в эксперименте, были противоположного рода в русском и испанском языках). Критерий Уилкоксона не показал значимой разницы между оценками конгруэнтных и неконгруэнтных пар у русско-испанских билингвов ($p = 0,1$) (рис. 3).

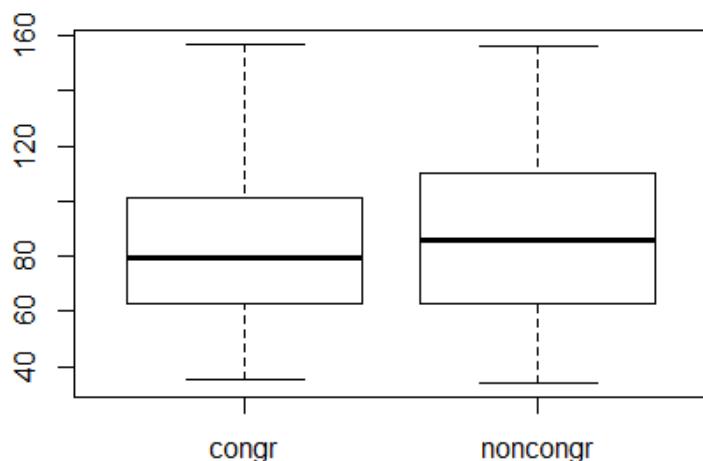


Рис. 3. Разница в оценках конгруэнтных и неконгруэнтных пар в группе русско-испанских билингвов

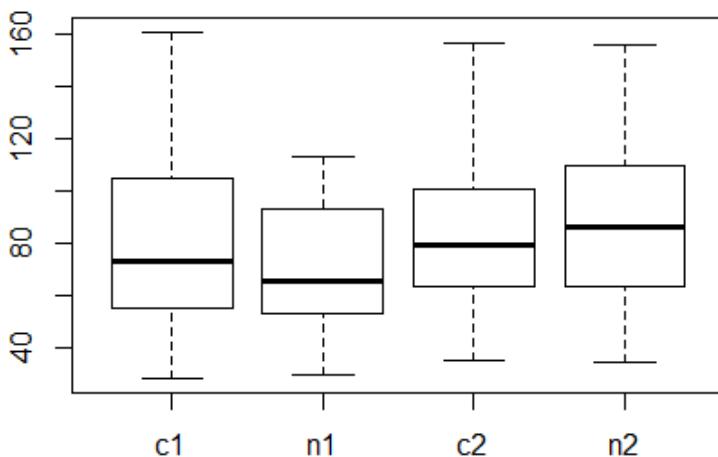


Рис. 4. Разница в выборках русско-испанских билингвов и носителей русского языка (c1 и n1 – оценки конгруэнтных (c1) и неконгруэнтных (n1) пар в группе носителей русского языка; c2 и n2 – оценки конгруэнтных (c2) и неконгруэнтных (n2) пар в группе русско-испанских билингвов)

Также с помощью критерия Уилкоксона для независимых выборок мы проверили, есть ли разница между оценками носителей русского языка и русско-испанских билингвов. Анализ показал наличие статистически значимой разницы между оценками неконгруэнтных пар ($p = 0,02$), но отсутствие разницы между оценками конгруэнтных пар ($p = 0,68$) (рис. 4).

Таким образом, наша гипотеза о влиянии грамматического рода на концептуализацию объектов подтверждается на группе носителей русского языка, не владеющих другими языками с системами грамматического рода. Отсутствие статистически значимой разницы между оценками конгруэнтных и неконгруэнтных пар у русско-испанских билингвов может быть проинтерпретировано по-разному: эта разница могла быть нивелирована противоположными тенденциями грамматических систем рода в русском и испанском языках (тем фактом, что использованные в эксперименте конгруэнтные для русского языка пары являлись неконгруэнтными для испанского и наоборот). Также есть вероятность, что знание двух языков усиливает метаязыковое осознание семантической произвольности грамматического рода, что приводит к ослаблению влияния грамматической категории рода как таковой. Подобная идея была высказана и доказана в исследовании Б. Бассетти [44]. Наличие статистически значимой разницы между оценками неконгруэнтных пар у носителей русского языка и русско-испанских билингвов показывает, что на ответы билингвов мог влиять второй язык. Для более точного определения форм и границ влияния второго языка необходимо было провести следующий эксперимент.

Второй эксперимент

Во втором эксперименте мы использовали тот же метод, что и в первом, однако в качестве стимулов мы взяли существительные, у которых совпадает род в русском и испанском языках. Это позволяло проверить, объясняется ли отсутствие разницы в оценках пар с совпадающим и несовпадающим родом в предыдущем эксперименте особенностью его дизайна или же действительно на оценки сходства изображений предметов и мужчин и женщин билингвами не влияет грамматический род имени сравниваемого предмета.

Была выдвинута частная **гипотеза** о том, что, во-первых, русско-испанские билингвы оценят конгруэнтные пары изображений (например, женщина – ложка, *la mujer* – *la cuchara*) как более похожие, чем неконгруэнтные (например, мужчина – ложка, *el hombre* – *la cuchara*), и, во-вторых, будет обнаружена статистически значимая разница между ответами русско-испанскими билингвами в этом эксперименте и в предыдущем.

Участники. В эксперименте приняло участие 20 русско-испанских билингвов. Большинство из них принимали участие в первом эксперименте.

Материалы. Как и в предыдущем эксперименте, в качестве стимулов использовались четыре изображения людей и 14 изображений объектов. Существительные, обозначающие объекты, были подобраны таким образом, чтобы у них был одинаковый род в русском и испанском языках: семь существительных мужского рода (дельфин – *el delfín*, карандаш – *el lápiz*, самолет – *el avión*, зонт – *el paraguas*, помидор – *el tomate*, свисток – *el silbato*, жук – *el escarabajo*) и семь существительных женского рода (ложка – *la cuchara*, тык-

ва – la calabaza, лампочка – la bombilla / lámpara eléctrica, пальма – la palmera, звезда – la estrella, ракетка – la raqueta, зебра – la cebra).

Процедура эксперимента была тождественной процедуре первого эксперимента.

Результаты и обсуждение. В эксперименте было получено 1120 реакций. Для анализа результатов эксперимента, как и в предыдущем случае, использовался критерий Уилкоксона. Он показал наличие статистически значимой разницы между оценками конгруэнтных и неконгруэнтных пар стимулов ($p = 0,002$) (рис. 5).

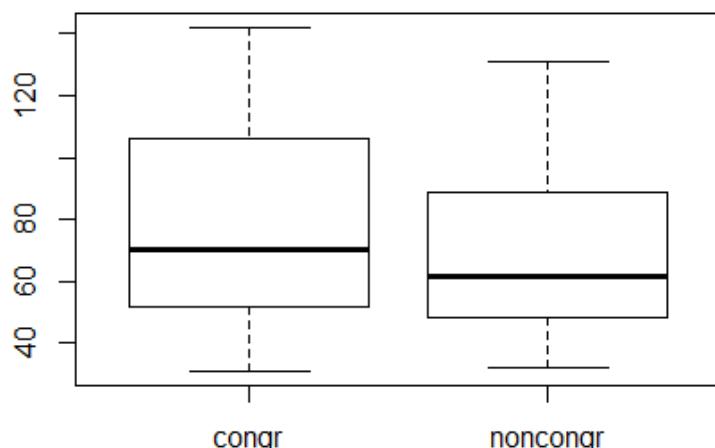


Рис. 5. Разница в оценках конгруэнтных и неконгруэнтных пар

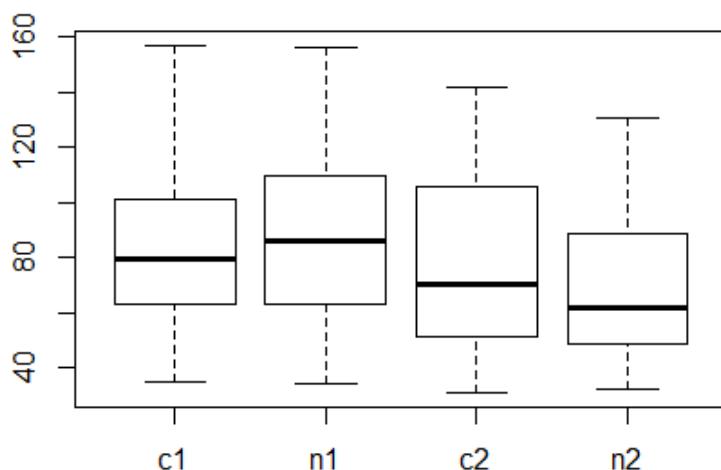


Рис. 6. Разница в выборках русско-испанских билингвов в первом и втором экспериментах (c1 и n1 – оценки конгруэнтных (c1) и неконгруэнтных (n1) пар в первом эксперименте; c2 и n2 – оценки конгруэнтных (c2) и неконгруэнтных (n2) пар во втором эксперименте)

Затем мы использовали критерий Уилкоксона для независимых выборок, чтобы проверить, есть ли разница между выборками ответов русско-испанских билингвов в первом и во втором экспериментах. Применение критерия выявило наличие статистически значимой разницы между оценками неконгруэнтных пар ($p = 0,02$), но отсутствие разницы между оценками конгруэнтных пар ($p = 0,53$) (рис. 6).

Таким образом, второй эксперимент подтвердил гипотезу о том, что русско-испанские билингвы оценивают конгруэнтные пары изображений как более похожие, чем неконгруэнтные. Вторая часть гипотезы (то, что будет обнаружена статистически значимая разница между ответами русско-испанских билингвов в этом эксперименте и в предыдущем) подтвердилась только частично и требует дополнительной интерпретации.

Общий анализ и обсуждение

Результаты проведенных экспериментов доказывают, что грамматический род в русском языке действительно влияет на восприятие объектов носителями языка, заставляя их воспринимать объекты, выраженные существительными мужского рода, как более похожие на мужчин, чем объекты, выраженные существительными женского рода. При этом, как и в оригинальном эксперименте Л. Бородицки и У. Филлипса, мы обнаружили эффект даже несмотря на использование изображений, а не слов в качестве стимулов. Использование изображений делало задание нелингвистическим и позволяло говорить о действии грамматического рода на концептуальном, а не только лексическом уровне.

Практически все носители русского языка, участвовавшие в нашем эксперименте, владели английским на том или ином уровне, однако знание языка, в котором отсутствует грамматическая категория рода, не помешало проявиться влиянию грамматического рода в русском языке на их ответы, хотя, вероятно, оно могло снизить размер эффекта (p -value в данной группе был равен 0,04, т.е. уровень значимости был достигнут, но это не очень высокая значимость).

Что касается русско-испанских билингвов, то в первом эксперименте, в котором использовались слова противоположного рода в русском и испанском языках, в этой группе не было обнаружено разницы между оценками сходства пар изображений с совпадающим и несовпадающим родом. Данный результат, по нашему предположению, мог говорить как о значимости второго языка, который «вмешивался» во влияние первого языка и, таким образом, балансировал ответы участников, так и об активации метаязыкового сознания билингвов, развившегося у них благодаря усвоению двух языков с системами грамматического рода и наличием противоположных тенденций в них.

Второй эксперимент с существительными, у которых совпадал грамматический род в русском и испанском языках, показал наличие статистически значимой разницы между оценками сходства пар изображений с совпадающим и несовпадающим родом у русско-испанских билингвов. Этой разницы не наблюдалось бы, если бы на билингвов оказывало влияние прежде всего их метаязыковое сознание, позволяющее заметить произвольность деления по родам в двух языках. Можно сделать вывод, что на русско-испанских билингвов влияет и первый, и второй язык даже несмотря на то, что участво-

вавшие в нашем эксперименте респонденты были поздними билингвами и большинство из них пользовалось испанским языком только для учебы или работы. Уровень значимости в данном эксперименте был очень высоким ($p = 0,002$), что также говорит в пользу гипотезы о влиянии одновременно двух языков. Можно предположить, что, так как у существительных, использованных в эксперименте в качестве стимулов, был одинаковый род в русском и испанском языках, эффект от влияния грамматического рода на билингвов оказался сильнее, чем от влияния грамматического рода на носителей русского языка в первом эксперименте.

Более неоднозначной ситуация предстает при сравнении ответов носителей русского языка и русско-испанских билингвов в первом эксперименте и ответов билингвов в первом и втором экспериментах. В первом эксперименте носители русского языка и русско-испанские билингвы одинаково оценивали конгруэнтные пары изображений, т.е. пары, у которых совпадал род существительного, обозначающего объект, и пол человека, с которым этот объект нужно сравнить. Неконгруэнтные пары изображений эти две группы участников оценили по-разному. Та же тенденция прослеживается при сравнении ответов русско-испанских билингвов в эксперименте с существительными, у которых противоположный род в русском и испанском, и их ответов в эксперименте с существительными, у которых совпадает род в этих двух языках: разница в ответах прослеживалась только при сравнении оценок неконгруэнтных пар.

В чем может быть причина того, что различия в ответах разных групп участников и одной и той же группы в разных экспериментальных условиях проявляются именно при оценке неконгруэнтных пар, а конгруэнтные пары участники оценивают схожим образом? Здесь нужно отметить, что среди сравниваемых выборок наиболее нетипичными были ответы русско-испанских билингвов в первом эксперименте, когда они оценивали неконгруэнтные для русского языка пары изображений. Хотя между оценками конгруэнтных и неконгруэнтных пар в этой группе не было обнаружено статистически значимой разницы, на графике (рис. 3) видно, что неконгруэнтные для русского языка пары участники оценили как более похожие, чем конгруэнтные. Это может говорить о влиянии на них грамматического рода в испанском языке, в котором данные пары, в отличие от русского, являлись конгруэнтными (ср. *дом – женщина* и *la casa – la mujer*). Возможно, условие «двойной» неконгруэнтности (неконгруэнтность стимулов в первом языке участников и несоответствие грамматической категоризации существительных в первом и втором языках) способствовало активизации метаязыкового сознания билингвов и оно повлияло на их ответы.

Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают выдвинутую нами гипотезу о том, что различия в грамматической категоризации имен существительных в русском и испанском языках окажут влияние на восприятие объектов носителями данных языков и билингвами.

Заключение

Результаты проведенного исследования, выполненного на материале русского и испанского языков, подтверждают положение гипотезы лингвистической относительности о влиянии грамматических категорий языка на когни-

тивные процессы его носителей. Тот факт, что носители русского языка нашли больше сходства в объектах, выраженных существительными одного грамматического рода, чем в объектах, выраженных существительными разного рода, может свидетельствовать о том, что носители языка воспринимают свойства объектов сквозь своеобразные фильтры, формируемые системой обязательных грамматических категорий, а именно грамматического рода.

Интересным вопросом является то, каким образом грамматические категории влияют на мышление и восприятие билингвов, т.е. носителей двух языков с различающимися системами грамматической категоризации. Как в сознании билингвов хранится и обрабатывается грамматический род двух языков? Могут ли не один, а несколько языков влиять на когнитивные процессы говорящих и определяется ли степень влияния этих языков степенью владения ими? Данные вопросы, несомненно, требуют дальнейшего изучения. В настоящем исследовании мы продемонстрировали, что второй язык «вмешивается» в процесс концептуализации объектов, осуществляющей говорящими на их первом языке. При этом второй язык может как усиливать влияние грамматической категории рода (в случае, когда в двух языках совпадает грамматическая категоризация конкретных имен существительных), так и ослаблять влияние рода в первом языке (когда возникают несоответствия между делением по родам в двух языках).

Проведенное исследование расширяет материал психолингвистических исследований влияния грамматической категории рода, так как до настоящего момента подобные исследования не проводились на материале русского языка и с участием русско-испанских билингвов. Использованная нами экспериментальная методика, частично реплицирующая аналогичную методику экспериментального исследования Л. Бородицки и У. Филлипса, позволила нам выявить влияние грамматического рода при выполнении нелингвистического задания и в условиях скрытости предмета манипуляции от участников эксперимента, что в лучшую сторону отличает данный метод от большинства остальных, применяющихся в подобных исследованиях. Несомненно, у данного метода также есть свои недостатки и ограничения, и настоящее исследование не может дать исчерпывающего ответа на вопрос о том, как различия в грамматической категоризации имен существительных в двух языках влияют на восприятие объектов носителями данных языков и билингвами. Исследование влияния грамматического рода требует дальнейшего расширения материала и совершенствования метода.

Литература

1. Нагель О.В. Деривационная специфика наименований лица в славянских языках (на материале параллельного подкорпуса НКРЯ) // Русин. 2015. №3 (41). С. 226–241.
2. Резанова З.И. Субъективные образы времени в современных славянских языках: диминутивные модели // Сибирский филологический журнал. 2017. № 3. С. 161–173.
3. Логический анализ языка: Языки и времена / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, Т.Е. Янко. М.: Индрик, 1997. 351 с.
4. Логический анализ языка: Языки пространств / отв. ред.: Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. М.: Языки русской культуры, 2000. 448 с.
5. Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте / отв. ред. З.И. Резанова. Томск: UFO-Plus, 2007. 384 с.

6. Оглезнев В.В., Суровцев В.А. Правила, юридический язык и речевые акты // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2014. Т. 8, вып. 2. С. 293–302.
7. Найман Е.А. Социолингвистические аспекты философской риторики киников // Schole. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016. Т. 10, вып. 2. С. 550–558.
8. Levinson S.C. Language and space // Annual review of Anthropology. 1996. Т. 25, №. 1. С. 353–382.
9. Boroditsky L. Does language shape thought?: Mandarin and English speakers' conceptions of time // Cognitive psychology. 2001. Т. 43, №. 1. С. 1–22.
10. Boroditsky L. Metaphoric structuring: Understanding time through spatial metaphors // Cognition. 2000. Т. 75, №. 1. С. 1–28.
11. Winawer J. et al. Russian blues reveal effects of language on color discrimination // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2007. Т. 104, №. 19. С. 7780–7785.
12. Casasanto D. et al. How deep are effects of language on thought? Time estimation in speakers of English, Indonesian, Greek, and Spanish // Proceedings of the Cognitive Science Society. 2004. Т. 26, №. 26.
13. Majid A. et al. Can language restructure cognition? The case for space // Trends in cognitive sciences. 2004. Т. 8, №. 3. С. 108–114.
14. Núñez R.E., Sweetser E. With the future behind them: Convergent evidence from Aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time // Cognitive science. 2006. Т. 30, №. 3. С. 401–450.
15. Gilbert A.L. et al. Whorf hypothesis is supported in the right visual field but not the left // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2006. Т. 103, №. 2. С. 489–494.
16. Boroditsky L., Schmidt L.A., Phillips W. Sex, syntax, and semantics // Language in mind: Advances in the study of language and thought. 2003. С. 61–79.
17. Flaherty M. The influence of a language gender system on perception // Tohoku psychologica folia. 2000. Т. 58, С. 1–10.
18. Kurinski E., Jambor E., Sera M.D. Spanish grammatical gender: Its effects on categorization in native Hungarian speakers // International Journal of Bilingualism. 2016. Т. 20, №. 1. С. 76–93.
19. Landor R. Grammatical Categories and Cognition across Five Languages: The Case of Grammatical Gender and its Potential Effects on the Conceptualisation of Objects: Thesis (PhD Doctorate). – Griffith University, Brisbane, 2014. 310 с.
20. Nicoladis E., Da Costa N., Foursha-Stevenson C. Discourse relativity in Russian-English bilingual preschoolers' classification of objects by gender // International Journal of Bilingualism. 2016. Т. 20, №. 1. С. 17–29.
21. Andonova E. et al. Second language gender system affects first language gender classification // Cognitive aspects of bilingualism. Springer Netherlands, 2007. С. 271–299.
22. Janyan A., Vergilova Y. Biological sex context influences grammatical gender categorization of objects // European Perspectives on Cognitive Science. Sofia, 2011.
23. Резанова З.И., Некрасова Е.Д. Влияние грамматической категории рода на бимодальное восприятие имен существительных болгарского языка // Русин. 2015. №3 (41). С. 241–255.
24. Mills A.E. Acquisition of the natural-gender rule in English and German // Linguistics. 1986. Т. 24, №. 1. С. 31–46.
25. Ramos S., Roberson D. What constrains grammatical gender effects on semantic judgements? Evidence from Portuguese // Journal of Cognitive Psychology. 2011. Т. 23, №. 1. С. 102–111.
26. Sera M.D. et al. When language affects cognition and when it does not: An analysis of grammatical gender and classification // Journal of Experimental Psychology: General. 2002. Т. 131, №. 3. С. 377.
27. Guiora A.Z., Sagi A. A cross - cultural study of symbolic meaning—developmental aspects // Language Learning. 1978. Т. 28, №. 2. С. 381–386.
28. Clarke M.A. et al. Gender perception in Arabic and English // Language Learning. 1981. Т. 31, №. 1. С. 159–169.
29. Bassetti B.A.L. Is grammatical gender considered arbitrary or semantically motivated? Evidence from young adult monolinguals, second language learners, and early bilinguals // British Journal of Psychology. 2014. Т. 105, №. 2. С. 273–294.
30. Koch S.C., Zimmermann F., Garcia-Retamero R. El sol-die Sonne // Psychologische Rundschau. 2007. Т. 58, №. 3. С. 171–182.
31. Ervin S.M. The connotations of gender // Word. 1962. Т. 18, №. 1–3. С. 249–261.

32. Bassetti B., Nicoladis E. Research on grammatical gender and thought in early and emergent bilinguals // *Internacional Journal of Bilingualism*. 2016. Vol. 20. Iss 1. 3–16.
33. Bassetti B. 16 The grammatical and conceptual gender of animals in second language users // *Language and bilingual cognition*. 2010. C. 357.
34. Flaherty M. How a language gender system creeps into perception // *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 2001. T. 32, №. 1. C. 18–31.
35. Konishi T. The semantics of grammatical gender: A cross-cultural study // *Journal of psycholinguistic research*. 1993. T. 22, №. 5. C. 519–534.
36. Konishi T. The connotations of gender: A semantic differential study of German and Spanish // *Word*. 1994. T. 45, №. 3. C. 317–327.
37. Vigliocco G. et al. Grammatical gender effects on cognition: implications for language learning and language use // *Journal of Experimental Psychology: General*. 2005. T. 134, №. 4. C. 501.
38. Phillips W., Boroditsky L. Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender and object concepts // *Proceedings of the 25th annual meeting of the Cognitive Science Society*. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2003. C. 928–933.
39. Cubelli R. et al. The effect of grammatical gender on object categorization // *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*. 2011. T. 37, №. 2. C. 449–460.
40. Guiora A.Z. Language and concept formation: A cross-lingual analysis // *Behavior Science Research*. 1983. T. 18, №. 3. C. 228–256.
41. Rigalleau F., Caplan D. Effects of gender marking in pronominal coindexation // *The Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section A*. 2000. T. 53, №. 1. C. 23–52.
42. Ширин А.Г. Билингвизм: поиск подходов к исследованию в отечественной и зарубежной науке // *Вестн. Новгород. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого*. 2006. №. 36.
43. Nagel O.V. et al. Functional bilingualism: Definition and ways of assessment // *Procedia-Social and Behavioral Sciences*. 2015. T. 215. C. 218–224.
44. Bassetti B. Bilingualism and thought: Grammatical gender and concepts of objects in Italian-German bilingual children // *International Journal of Bilingualism*. 2007. T. 11, №. 3. C. 251–273.

THE INFLUENCE OF THE GRAMMATICAL GENDER ON THE CONCEPTUALISATION OF OBJECTS (AN EXPERIMENTAL STUDY)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 104–124. DOI: 10.17223/19986645/50/7

Zoya I. Rezanova, Tomsk State University, Tomsk Polytechnic University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: resso@rambler.ru / resso@mail.tsu.ru

Elizaveta Yu. Ershova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: li-veta@list.ru

Keywords: grammatical gender, linguistic relativity, conceptualisation, bilingualism, Russian language, Spanish language.

The article investigates the influence of the grammatical gender on the conceptualisation of objects by native speakers and bilinguals. The research is carried out in the theoretical framework of the linguistic relativity hypothesis. This hypothesis is presently in the focus of vigorous scientific discussions by the representatives of different scientific fields, and it attracts a lot of research implementing both linguistic and psycholinguistic methods.

The subject of the experimental psycholinguistic research is the grammatical category of gender in Russian and Spanish languages. Nowadays many papers implement psycholinguistic methods in the investigation of the grammatical gender. However, almost no research is done on the material of the Russian language. The authors conducted two experiments to test the hypothesis that the differences in the grammatical categorisation of nouns in Russian and Spanish languages would influence the perception of objects by the native speakers of these languages and bilinguals. The method the authors used partially derived from the paper by L. Boroditsky and W. Philips (Phillips W., Boroditsky L. "Can Quirks of Grammar Affect the Way You Think?"). The respondents saw paired pictures of men and women and objects on the screen, and their task was to rate the similarity of these pictures on the scale from 1 to 7. The participants were Russian native speakers who did not speak foreign languages except for English that lacks grammatical gender and late functional Russian-Spanish bilinguals.

The results of the experiments demonstrated the influence of the grammatical gender in the Russian language on the perception of objects by native speakers who indeed perceived objects denoted by

the nouns of masculine gender as more similar to men than to women. In the first experiment the authors used nouns of the opposite grammatical gender in Russian and Spanish, and bilinguals' responses did not show any difference in ratings of congruent (like *a woman – a book* that are both feminine in Russian) and non-congruent (like *a man – a book*, where *man* is masculine and *book* is feminine in Russian) pairs. In the second experiment the authors used nouns of the corresponding grammatical gender in Russian and Spanish, and bilinguals rated congruent pairs as much more similar than non-congruent. These results prove that bilinguals' perception is influenced by both their first and second languages.

The experiments that the authors conducted confirmed the hypothesis that the differences in the grammatical categorisation of nouns in Russian and Spanish languages influence the perception of objects by the native speakers of these languages and bilinguals. The present study contributes to the linguistic relativity hypothesis and enriches its material and methodology.

References

1. Nagel', O.V. (2015) Derivation Peculiarities of Nominal Nouns in Slavic Languages (Based on the Parallel Subcorpus of the National Russian Corpus). *Rusin.* 3 (41). pp. 226–241. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/41/16
2. Rezanova, Z.I. (2017) Subjective Images of Time in Modern Slavic Languages: Diminutive Models. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology.* 3. pp. 161–173. DOI: 10.17223/18137083/60/14
3. Arutyunova, N.D. & Yanko, T.E. (eds) (1997) *Logicheskiy analiz yazyka: Yazyk i vremya [Logical analysis of the language: Language and time]*. Moscow: Indrik.
4. Arutyunova, N.D. & Levontina, I.B. (eds) (2000) *Logicheskiy analiz yazyka: Yazyki prostranstv [Logical analysis of the language: Languages of spaces]*. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
5. Rezanova, Z.I. (ed.) (2007) *Kartiny russkogo mira: prostranstvennye modeli v yazyke i tekste [Images of the Russian world: spatial models in language and text]*. Tomsk: UFO-Plus.
6. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2014) Rules, legal language, speech acts. *Schole. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaya traditsiya – Ancient Philosophy And The Classical Tradition.* 8:2. pp. 293–302. (In Russian).
7. Nayman, E.A. (2016) Sociolinguistic Aspects of the Philosophical Rhetoric of the Cynics. *Schole. Filosofskoe antikovedenie i klassicheskaya traditsiya – Ancient Philosophy And The Classical Tradition.* 10:2. pp. 550–558. (In Russian).
8. Levinson, S.C. (1996) Language and space. *Annual review of Anthropology.* 25:1. pp. 353–382.
9. Boroditsky, L. (2001) Does language shape thought?: Mandarin and English speakers' conceptions of time. *Cognitive psychology.* 43:1. pp. 1–22. DOI: 10.1006/cogp.2001.0748
10. Boroditsky, L. (2000) Metaphoric structuring: Understanding time through spatial metaphors. *Cognition.* 75:1. pp. 1–28. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0010-0277\(99\)00073-6](https://doi.org/10.1016/S0010-0277(99)00073-6)
11. Winawer, J. et al. (2007) Russian blues reveal effects of language on color discrimination. *Proceedings of the National Academy of Sciences.* 104:19. pp. 7780–7785. DOI: 10.1073/pnas.0701644104
12. Casasanto, D. et al. (2004) How deep are effects of language on thought? Time estimation in speakers of English, Indonesian, Greek, and Spanish. *Proceedings of the Cognitive Science Society.* 26:26. DOI: 10.1016/j.cognition.2010.09.010
13. Majid, A. et al. (2004) Can language restructure cognition? The case for space. *Trends in cognitive sciences.* 8:3. pp. 108–114. DOI: 10.1016/j.tics.2004.01.003
14. Núñez, R.E. & Sweetser, E. (2006) With the future behind them: Convergent evidence from Aymara language and gesture in the crosslinguistic comparison of spatial construals of time. *Cognitive science.* 30:3. pp. 401–450. DOI: 10.1207/s15516709cog0000_62
15. Gilbert, A.L. et al. (2006) Whorf hypothesis is supported in the right visual field but not the left. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.* 103:2. pp. 489–494.
16. Boroditsky, L., Schmidt, L.A. & Phillips, W. (2003) Sex, syntax, and semantics. In: Gentner, D. & Goldin-Meadow, S. (eds) *Language in mind: Advances in the study of language and thought*. The MIT Press.
17. Flaherty, M. (2000) The influence of a language gender system on perception. *Tohoku psychologica folia.* 58. pp. 1–10.

18. Kurinski, E., Jambor, E. & Sera, M.D. (2016) Spanish grammatical gender: Its effects on categorization in native Hungarian speakers. *International Journal of Bilingualism*. 20:1. pp. 76–93. DOI: <https://doi.org/10.1177/1367006915576833>
19. Landor, R. (2014) *Grammatical Categories and Cognition across Five Languages: The Case of Grammatical Gender and its Potential Effects on the Conceptualisation of Objects*: Thesis. PhD Doctorate). Griffith University, Brisbane.
20. Nicoladis, E., Da Costa, N. & Foursha-Stevenson, C. (2016) Discourse relativity in Russian-English bilingual preschoolers' classification of objects by gender. *International Journal of Bilingualism*. 20:1. pp. 17–29. DOI: <https://doi.org/10.1177/1367006915576826>
21. Andonova, E. et al. (2007) Second language gender system affects first language gender classification. In: Kecskes, I. (ed.) *Cognitive aspects of bilingualism*. Dordrecht, Netherlands: Springer.
22. Janyan, A. & Vergilova, Y. (2011) Biological sex context influences grammatical gender categorization of objects. In: Kokinov, B., Karmiloff-Smith, A. & Nersessian, N. J. (eds) *European Perspectives on Cognitive Science*. Sofia: New Bulgarian University Press
23. Rezanova, Z.I. & Nekrasova, E.D. (2015) The Influence of Grammatical Gender on the Bi-modal Perception of Bulgarian Nouns. *Rusin.* 3 (41). pp. 241–255. (In Russian). DOI: [10.17223/18572685/41/17](https://doi.org/10.17223/18572685/41/17)
24. Mills, A.E. (1986) Acquisition of the natural-gender rule in English and German. *Linguistics*. 24:1. pp. 31–46.
25. Ramos, S. & Roberson, D. (2011) What constrains grammatical gender effects on semantic judgements? Evidence from Portuguese. *Journal of Cognitive Psychology*. 23:1. pp. 102–111. DOI: <https://doi.org/10.1080/20445911.2011.466795>
26. Sera, M.D. et al. (2002) When language affects cognition and when it does not: An analysis of grammatical gender and classification. *Journal of Experimental Psychology: General*. 131:3. pp. 377. DOI: [10.1037/0096-3445.131.3.377](https://doi.org/10.1037/0096-3445.131.3.377)
27. Guiora, A.Z. & Sagi, A. (1978) A cross-cultural study of symbolic meaning—developmental aspects. *Language Learning*. 28:2. pp. 381–386.
28. Clarke, M.A. et al. (1981) Gender perception in Arabic and English. *Language Learning*. 31:1. pp. 159–169. DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-1770.1981.tb01377.x>
29. Bassetti, B.A.L. (2014) Is grammatical gender considered arbitrary or semantically motivated? Evidence from young adult monolinguals, second language learners, and early bilingual. *British Journal of Psychology*. 105:2. pp. 273–294. DOI: <http://doi.org/10.1111/bjop.12037>
30. Koch, S.C., Zimmermann, F. & Garcia-Retamero, R. (2007) El sol – die Sonne. *Psychologische Rundschau*. 58:3. pp. 171–182. DOI: <https://doi.org/10.1026/0033-3042.58.3.171>
31. Ervin, S.M. (1962) The connotations of gender. *Word*. 18:1–3. pp. 249–261.
32. Bassetti, B. & Nicoladis, E. (2016) Research on grammatical gender and thought in early and emergent bilinguals. 20:1. pp. 3–16. DOI: <https://doi.org/10.1177/1367006915576824>
33. Bassetti, B. (2010) The grammatical and conceptual gender of animals in second language users. In: Cook, V. & Bassetti, B. (eds) *Language and bilingual cognition*. Oxford, UK: Psychology Press.
34. Flaherty, M. (2001) How a language gender system creeps into perception. *Journal of Cross-Cultural Psychology*. 32:1. pp. 18–31. DOI: [10.1177/0022022101032001005](https://doi.org/10.1177/0022022101032001005)
35. Konishi, T. (1993) The semantics of grammatical gender: A cross-cultural study. *Journal of Psycholinguistic Research*. 22:5. pp. 519–534. DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/BF01068252>
36. Konishi, T. (1994) The connotations of gender: A semantic differential study of German and Spanish. *Word*. 45:3. pp. 317–327.
37. Vigliocco, G. et al. (2005) Grammatical gender effects on cognition: implications for language learning and language use. *Journal of Experimental Psychology: General*. 134:4. pp. 501.
38. Phillips, W. & Boroditsky, L. (2003) Can quirks of grammar affect the way you think? Grammatical gender and object concepts. In: *Proceedings of the 25th annual meeting of the Cognitive Science Society*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
39. Cubelli, R. et al. (2011) The effect of grammatical gender on object categorization. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*. 37:2. pp. 449–460. DOI: [10.1037/a0021965](https://doi.org/10.1037/a0021965)
40. Guiora, A.Z. (1983) Language and concept formation: A cross-lingual analysis. *Behavior Science Research*. 18:3. pp. 228–256.

41. Rigalleau, F. & Caplan, D. (2000) Effects of gender marking in pronominal coindexation. *The Quarterly Journal of Experimental Psychology: Section A.* 53:1. pp. 23–52. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/027249800390655>
42. Shirin, A.G. (2006) Bilingvizm: poisk podkhodov k issledovaniyu v otechestvennoy i zarubezhnoy nauke [Bilingualism: the search for approaches to research in domestic and foreign science]. *Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo – Vestnik of Yaroslav the Wise Novgorod State University.* 36.
43. Nagel, O.V. et al. (2015) Functional bilingualism: Definition and ways of assessment. *Procedia-Social and Behavioral Sciences.* 215. pp. 218–224. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.625
44. Bassetti, B. (2007) Bilingualism and thought: Grammatical gender and concepts of objects in Italian-German bilingual children. *International Journal of Bilingualism.* 11:3. pp. 251–273. DOI: 10.1177/13670069070110030101

УДК 81-2

DOI:10.17223/19986645/50/8

И.С. Урманчеева

РИТМИКО-РИФМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ ВАРИАНТНОСТИ ПЕЧОРСКИХ И ОБЩЕРУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

В статье сопоставлению подвергаются краткие (общерусские) и полные (употребляющиеся в говорах Низовой Печоры) фразеологические единицы, отличающиеся ритмико-рифмической организацией. Рассматриваются средства выразительности, сопровождающие эфоническую гармонизацию фразем: парономасия, антитеза, абсурд, каламбур, образный параллелизм. Затрагиваются вопросы происхождения фразеологизмов, в частности процессы имплицирования (сокращения) и эксплицирования (наращивания) фразеологических единиц.

Ключевые слова: *фразеологическая вариантность, говоры Низовой Печоры, конструктивная вариантность фразеологизмов, ритмико-рифмическая организация фразеологизмов.*

Фразеологическая вариантность включает фонетические, словообразовательные, грамматические, лексические и конструктивные различия. При этом фразеологические единицы отдельных говоров варьируются с устойчивыми выражениями литературного языка. Варианты фразеологизмов нередко соотносятся как полная и сокращенная (краткая) разновидности, что можно отнести к проявлениям конструктивной вариантности.

В говорах Низовой Печоры сохранились фразеологические единицы (часто – пословицы), которые в литературном языке известны только в сокращенном варианте. Вполне вероятен, однако, процесс не сокращения (импликации), а наращивания (экспликации) фразеологизма в результате окказионально-диалектного речевого употребления. Детально вопросы импликации и экспликации фразеологических единиц рассмотрены в другой статье автора [1], поэтому в настоящей работе высказываются лишь предположения об их редуцировании или расширении. Сделать вывод о первичности-вторичности полного / сокращенного варианта фразеологизма возможно только при диахроническом и синхронном сопоставлении всего корпуса общерусских устойчивых выражений с фразеологизмами, сохранившимися на той или иной территории. Делать такие выводы при сравнении общерусских фразеологизмов с оборотами одного говора (даже не узколокальными) неправомерно [1. С. 79].

В статье, кроме того, не утверждается уникальность рассматриваемых полноструктурных вариантов, вполне возможно их употребление в периферийных зонах русского языка (других диалектах, разговорной речи, просторечии). Однако все привлекаемые к анализу полноструктурные фраземы употребляются на территории распространения печорских говоров – в речи коренных русских жителей поселений, расположенных по реке Печоре и ее

притокам Пижме, Цильме и Нерице (Усть-Цилемский район Республики Коми) [2. С. 8].

Узуальность и общераспространенность оборотов устанавливались по «Фразеологическому словарю русского языка» под ред. А.И. Молоткова [3], «Фразеологическому словарю русского литературного языка» А.И. Федорова [4], «Словарю русских пословиц и поговорок» В.П. Жукова [5] и «Словарю-тезаурусу русских пословиц, поговорок и метких выражений» В.И. Зимина [6]. Печорские фразеологизмы приводятся по «Фразеологическому словарю русских говоров Нижней Печоры» (составитель Н.А. Ставшина) [7].

Как известно, пословица характеризуется художественной оформленностью (ритмичностью, параллелизмом частей, использованием звуковых повторов, в том числе рифмы) [8. С. 327]. Народная речь часто прибегает к такой фигуре, как **рифмовка**, особенно в разного рода устойчивых оборотах и малых фольклорных жанрах. Экспрессивность рифмованных фразеологизмов создается в основном за счет повторения различных языковых элементов – частей слова [9. С. 189]. «Рифма – важнейший залог воспроизведимости паремии, но не менее важен и ритм, оформляющий высказывание, возводящий его в ранг поэтического произведения. Идеальный для паремии вариант – наличие и рифмы и четкого ритма, задающих ей особый лад» [10. С. 250]. Многие анализируемые фразеологические единицы говоров Низовой Печоры построены по этому принципу и тем отличаются от фразеологизмов литературного языка. Рассмотрим несколько примеров.

Ни рыба ни мясо. В говорах Низовой Печоры этот оборот иногда имеет факультативную вторую часть, эвфонически организованную, рифмующуюся с первой частью: *ни рыба ни мясо, <ни кафтан ни ряса>*. Посредственность, отсутствие индивидуальности выражается кулинарными и социальными образами. Общерусский фразеологизм содержит гастрономическую метафору, в которой человек уподобляется продукту, природу и качество которого невозможно определить [11. С. 486]. Диалектная пословица осложняется социально-иерархической метафорой: различие между гражданскими (*кафтан*) и духовными (*ряса*) лицами было таким же исключающим третье (комплементарным) противопоставлением, как и различие между *рыбой* и *мясом* – основными продуктами русской кухни. Метонимически наименования традиционной одежды *кафтан – ряса* указывают на лиц определенного социального статуса. Сравнивая полный и краткий варианты устойчивого оборота, можно отметить, что в этом случае, вероятнее всего, произошло не усечение пословицы до фразеологизма *ни рыба ни мясо*, а, напротив, локальное развертывание двучленного фразеологизма, его наращение в диалектной речи [12. С. 616–617] до выражения *ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса*. Известно, например, такое продолжение: *ни рыба, ни мясо, ни копченая сельдь* (калька английского устойчивого оборота) [13. С. 150]. Многим славянским и западноевропейским языкам известен именно двучленный фразеологизм (ср.: бел. *ні рыба ні мяса*; укр. *ні риба ні м'ясо*; пол. *ni ryba ni mięso*; чеш. *ani ryba ani rak*; англ. *neither fish nor flesh*; нем. *nicht Fisch nicht Fleisch*; фр. *ni chair ni poisson* и др. [12. С. 616]). Отметим также, что выражение *ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса* без ареальных помет помещено только в «Словарь-тезаурусу русских пословиц, поговорок и метких выражений» В.И. Зимина.

Что бог послал. В говорах Низовой Печоры выражение имеет ритмически организованную, рифмующуюся с первой вторую часть: *что бог послал, то и на стол настал*. Общерусский оборот обычно употребляется по отношению к пище, трапезе, поэтому печорское продолжение пословицы кажется органичным и непротиворечивым. Может быть, именно поэтому обще-русский оборот имеет гастрономическую семантику, не поддерживаемую никакими компонентами устойчивого оборота. В пользу того, что произошло усечение ранее существовавшей пословицы, свидетельствует и конструкция общерусского фразеологизма, представляющего собой придаточное предложение, которое только в составе пословицы обретает конструктивную завершенность. Отметим также отсутствие пословицы *что бог послал, то и на стол настал* в паремиологических словарях литературного языка. «Большой словарь русских пословиц» приводит общерусские и ареально ограниченные варианты *что Бог послал, то и мякенькое* (пск.), *что Бог послал, то и наше* [14. С. 70].

Тянуть лямку. В говорах Низовой Печоры этот оборот имеет факультативный элемент: *тянуть <свою> лямку, <пока не выроют ямку>*. Сходное выражение зафиксировано в «Большом словаре русских пословиц» со ссылками на Даля и Разумова [14. С. 511]. Несмотря на то, что почти все этимологии единодушно возводят фразеологизм к речи бурлаков на русских судоходных реках [12. С. 408–409], исключать эллипсизации вышеприведенной поговорки до идиомы не следует, так как по содержанию она не противоречит общепризнанной этимологической версии.

С лёгким паром! В говорах Низовой Печоры традиционное русское приветствие после бани парадоксально осложняется противоречивым дополнением дисфемичного характера: *с лёгким паром, с тяжёлым угаром*. В банях пар мог смешиваться с угарным газом, от которого люди нередко умирали. Этот пар, в отличие от легкого, хорошего пара, называли тяжелым [15. С. 85]. Шутливая, ритмически организованная поговорка основана на антитезе, гармонизирующей это выражение: *лёгкий – тяжёлый, пар – угар*. Вероятно, такое нелогичное продолжение доброжелательного приветствия является образцом шутливого антифразиса – употребления слова или словосочетания в значении, противоположном обычному [16. С. 50], тем более примеры отрицательных форм, связанных с суеверным страхом сглазить, во фразеологии есть (ср. *ни пуха ни пера, ни костей ни чешуи*). С помощью парадокса, основанного на фактическом противоречии, возникает комический эффект поговорки. Балагурство, шутливый тон – неотъемлемая составляющая таких парадоксальных формул.

Губа не дура. Просторечный фразеологизм *губа не дура* в говорах Низовой Печоры может употребляться с факультативными, неточно рифмующимися частями, расширяющими конструкцию идиомы до пословицы: *губа не дура, <язык не лопата – <знают, что горько, что сладко>>*. По мнению большинства этимологов, непрозрачный идиоматичный оборот является сокращением пословицы, зафиксированной многими собирателями паремий в разных вариантах (см. [14. С. 228]): *у него губа не дура, язык не лопатка: знает, где горько, где сладко* [12. С. 170]. На фоне полной версии устойчивого выражения мотивированность, прозрачность фразеологизма *губа не дура* вос-

становится. Против версии сокращения пословицы выступает А.И. Молотов, считающий, что выражение не является следствием сокращения, а, наоборот, включается в новую поговорку [17. С. 113–114]. В говорах Низовой Печоры пословица имеет также вариантный компонент *топор* (*губа не дура, язык не топор*), при этом сохраняется только параллелизм конструкции, но отсутствуют рифма и четкий ритм.

Где сядешь, там и слезешь. Общерусский оборот употребляется применительно к человеку изворотливому, неуступчивому. Печорская поговорка *где сядешь, там и слезешь, никуда не уедешь* свидетельствует о том, что выражение относилось к верховым животным. Все три части зарифмованы, ритмически организованы. Третья часть мотивирует зооморфный образ, без нее не декодируемый: на человека никто не садится и не едет.

С лица не воду пить. В говорах Низовой Печоры развернутая пословица употребляется в двух по-разному организованных вариантах: рифмованном и ритмизированном (*с лица воду не пить, а ума не купить*) и нерифмованном, с отсутствием четкого ритма (*с лица воду не пить, умела бы пироги печь*). Пословица в разнообразных вариантах употребляется во многих говорах. По смысловому содержанию можно условно разделить варианты на три группы: 1) к непривлекательной внешности жены можно привыкнуть (*нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить; с лица воду не пить, можно и с рябою жить* [14. С. 487]; *с лица не воду пить, можно с некрасивой жить* [6. С. 687]); 2) красота жены не главное, главное – ум и человеческие качества (*с лица воду не пить, а ума не купить* (печор.); *с лица не воду пить, а с человеком жить* [6. С. 687]; *с лица воду не пить, а разума не купишь* (кубан.) [14. С. 487]); 3) красота жены не главное, главное – хозяйственность (*с лица не воду пить, умела бы пироги печь* [18. Т. 1. С. 284]). Общепотребительный вариант *с лица не воду пить* выбирает все три типа оправдания женской непривлекательности, обладает смысловым синкретизмом, пословичные варианты отличаются дифференцированным подходом, смысловой дискретностью.

Говорят, что кур доят. Общерусская шутливая поговорка в говорах Низовой Печоры имеет вариантное продолжение: *говорят, что кур доят, коровы на яйца садят / говорят, что кур доят, коровы яйца несут*. Первый вариант этой поговорки поддерживает звоническую организацию общеноародного оборота, основанную на акустической рифме при намеренном переносе удара в компоненте-глаголе с корня на флексию. Второй вариант ритмико-рифмической организацией не обладает. Оборот построен по принципу нарочитого абсурда с целью выражения смысла ‘не всяким слухам можно верить’. Употребляемое в говорах Низовой Печоры продолжение поговорки создает перекрестный образ: *кур доят – коровы яйца несут* (в действительности наоборот), представляющий собой яркий пример алогизма – несоответствия смысла речи реальному положению дел, ложность утверждений [19. С. 101].

Язык без костей. В говорах Низовой Печоры эта идиома является частью таких вариантических пословиц, как *язык без костей, что хочет, то и лопочет* / *язык без кости, мелет напrosti* / *язык без костей, гнётся, ломится*. Во всех случаях расширительная часть является факультативной. Первый полный вариант *язык без костей, что хочет, то и лопочет* отличается от сокращенного конструкцией, части которой рифмуются между со-

бой благодаря парономасии слов *хочет – лопочет*. Во втором полном варианте *язык без кости*, *<мелет напрости>* факультативная часть рифмуется с основной грамматически контрастной рифмой (*кости – напрости*, где *напрости*, вероятно, ‘свободно, вольно, беззаботно’ (в «Словаре русских народных говоров» *напросте* [20. Т. 20. С. 102], в «Словаре русских говоров Низовой Печоры» это наречие не зафиксировано). Еще один вариант *язык без костей*, *<гнётся, ломится>* эвфонической организацией не обладает, но имеет факультативную часть, лучше других завершающую образ: язык не имеет костей, поэтому обладает гибкостью и подвижностью. Однако этот вариант менее других способен передавать смысл ‘речевая невоздержанность’. Особенность безобразной идиомы *язык без костей* в том, что она основана не на переинтерпретации, а на буквализации значения (построена по принципу констатации факта), что для идиом не характерно. Без второй части (т.е. ее усечения) идиоматичность оборота ставится под сомнение. Поэтому, вероятнее всего, такое усечение в прошлом имело место. Этимологи в качестве полной версии приводят пословицу *язык без костей – что хочешь плести* [12. С. 781] с каламбурным обыгрыванием глагола *плести* ‘перевивая, соединять в одно целое’ и ‘говорить что-нибудь несуразное, глупое’. Однако, учитывая локальную вариантность, это могло быть и другое выражение (ср. разнообразие вариантов пословицы в национальном языке: *язык без костей, а кости ломает*; *язык без костей: всё перемелет*; *язык без костей: как хочет, так и ворочается*; *язык без костей: куда хочешь, туда и воротишь*; *язык без костей: мелет*; *язык без костей: назовёт к себе гостей* (perm.); *язык без костей: намелет на семь волостей* (ленингр., кубан.); *язык без костей: он не перетрепляется, не перемнётся* (арх.) [14. С. 1013]).

Был конь, да заезжен. В говорах Низовой Печоры эта общерусская пословица имеет варианты словообразовательно-конструктивного типа: *был конь, да уезжен* (уезженный, приезженный), *<был человек, да уроблен> / был мужик, да уроблен*, *был конь, да уезжен.* Печорское выражение организовано по принципу образного (психологического) параллелизма – сравнения эмоциональных состояний и событий человеческой жизни с состояниями и явлениями природы [21. С. 107–117]. Фигура образного параллелизма обязательно сопровождается лексико-синтаксическим параллелизмом: *был конь, да уезжен, был человек, да уроблен*. Две части пословицы унифицированы не только в конструктивном плане, но и в ритмико-рифмическом отношении (с неточной рифмой). Благодаря психологическому параллелизму смысловые акценты в печенской пословице не смешаются и не смешиваются. Сокращенный общерусский вариант ввиду отсутствия антропной части подвергается зооморфному переосмыслинию и вбирает в себя образ отсутствующей собственно человеческой части оборота: *был конь, да заезжен* говорится не о коне, а о потерявшем силы, постаревшем, больном человеке [6. С. 97, 170]. Отметим также немногочисленность полных вариантов этой пословицы: *был конь, да ежжсан, был молодец, да держсан* (сев.-рус.); *был конь, да заезжсан, был молодец, да подержсан* [14. С. 426].

Ни кола ни двора. В говорах Низовой Печоры эта общеизвестная разговорная идиома является частью нескольких вариантов поговорок: *ни кола, ни двора, ни милого живота / ни кола, ни двора, ни перегородки / ни кола ни*

двора, ни поддворна труба / ни кола, ни двора, ни поддворного места / ни кола ни задоринки. Н.М. Шанский предполагает эллипсизацию оборота *ни кола, ни двора, ни милого живота* до общеизвестного варианта [13. С. 114]. Существуют разнообразные этимологические версии объяснения исходной семантики фразеологизма. Основные споры ведутся по поводу истолкования значения слова *кол*, приводятся преимущественно следующие объяснения: 1) *кол* – ‘полоса пахотной земли шириной в две сажени’ (Борзенко); 2) *кол* – ‘небольшой участок земли’ (Шанский); 3) *кол* – ‘дым’ (Федорова); 4) *кол* – ‘дом, жилище’ (Тимошенко); 5) *кол* – ‘толстая палка с заостренным концом’ (Мокиенко) (см. [12. С. 317–318]). Многочисленные печорские варианты поддерживают последнюю версию: лексические варьируемые компоненты *перегородка, задоринка* семантически однородны слову *кол* в значении ‘материал, из которого делается ограда’ и в составе поговорки вместе с компонентами *кол, двор* обозначают нечто целое, частями которого они являются. Рифмической организацией (с неточной рифмой) обладают варианты *ни кола, ни двора, ни милого живота; ни кола ни двора, ни поддворна труба; ни кола, ни двора, ни поддворного места*. Ритмической – только *ни кола ни двора, ни поддворна труба; ни кола, ни двора, ни поддворного места* (в последнем варианте с небольшими отклонениями).

На посошок. В говорах Низовой Печоры эта общерусская поговорка, произносимая как последний тост перед расставанием, перед дорогой, употребляется с расширительным компонентом, придающим поговорке шутливо-игровой, балагурный тон: *на посошок да на свой бережок*. Выбор компонента *бережок* подчинен цели гармонизировать оборот посредством рифмовки и ритмизации: *посошок – бережок*.

Тяп-ляп. По мнению В.П. Жукова, фразеологизм возник из пословицы *тяп-ляп да и корабль (корабь)* [22. С. 468]. В говорах Низовой Печоры эта пословица употребляется до сих пор: *В руках худо рождается у его, тяп-ляп – опять кораб, всё разваливается; А чё у его и работа: тяп-ляп – вышел кораб*. В практике речевого употребления компоненты *тяп-ляп* и *кораб* рифмуются благодаря выпадению эпентетического [л’] и оглушению звонкого [б] и ритмизуются ввиду наличия ослабленного (побочного) ударения в проклитике *тяп*.

Рассмотренные конструктивные варианты устойчивых оборотов, бытующие в говорах Низовой Печоры, отличаются от своих кратких вариантов литературного языка ритмико-рифмической организацией. Ряд выражений обладает точной рифмой (*ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса; что бог послал, то и на стол настал; тянуть лямку, пока не выроют ямку; с лёгким паром, с тяжёлым угаром; где сядешь, там и слезешь, никуда не уедешь* и др.), другие имеют неточную рифму (*губа не дура, язык не лопата – знают, что горько, что сладко; язык без кости, мелет напрости; был конь, да уезжен, был человек, да урублен; ни кола, ни двора, ни милого живота*).

По частеречной принадлежности рифмантов преобладают однородные (именные и глагольные) рифмы, разнородные (грамматически контрастные) рифмы немногочисленны.

«Основное значение рифмы – создать звуковую симметрию фразеологизма. Лексико-семантические и логико-сintаксические связи, подчиняясь этой

функции, играют второстепенную роль в организации рифмованных пар, они как бы «подгоняются» под их «звуковую симметрию». Рифмические и ритмические элементы активно влияют на грамматическую структуру, порядок слов и другие структурные элементы фразеологизма» [9. С. 189]. Показательный пример – сосуществование в говорах Низовой Печоры двух вариантов пословицы, один из которых (общезвестный) организован ритмически, но не обладает рифмой: *беда не приходит одна*; другой – всей своей организацией и расширенным компонентным составом подчинен и ритму и рифме: *одна беда не ходит, всегда другую водит* (за небольшим отступлением строгое чередование ударных и безударных слов). За пределами печорских говоров бытуют и другие рифмические, но менее гармоничные, не ритмизованные варианты: *одна беда не ходит: беда беду водит; одна беда не ходит: за собою горе водит* [14. С. 41].

Таким образом, **ритм** – равномерное чередование ударных и безударных слов [19. С. 642] – в рассмотренных паремиях не менее важен, чем рифма. Ритм ориентируется на определенную метрическую схему как на абстрактный образец, но отличается от метра и размера. Народные пословицы и поговорки, как и реальная речь, допускают отступления от метрической схемы ввиду разноударности и многосложности русских слов. Например, в выражении *ни рыба ни мясо, ни кафтан ни ряса* наблюдается отступление от метрической схемы (амфибрахий) во второй конструктивной части фразеологической единицы благодаря компоненту *кафтан*, имеющему ударение на втором слоге.

В шутливо-каламбурном ключе построены выражения *тянуть лямку, пока не выроют ямку; говорят, что кур доят, коров на яйца садят*. В этих оборотах рифма служит для создания алогизма, абсурдного высказывания, поддерживающего традиции балагурства народной речи. «Языковой механизм создания комического эффекта в паремиях – это совокупность семантических и стилистических особенностей, заложенных в структуре и содержании паремий. В самом общем смысле этот механизм сводится к алогизму (парадоксальности) семантики пословиц и поговорок. Причем если экспрессивность как средство создания комического эффекта ярче проявляется в поговорках, то парадокс чаще встречается в пословицах и является одним из средств формирования подтекста в высказывании» [10. С. 261].

Парадоксальность полноструктурных выражений нередко строится на антитезе (*говорят, что кур доят, коров на яйца садят*), однако не все антитетические конструкции алогичны (*был конь, да уезжен, был человек, да урублен; с лица воду не пить, а ума не купить*). Противоположность некоторых пословиц строится на языковых и контекстуальных антонимах (*с лёгким паром, с тяжёлым угаром; губа не дура, язык не лопата – знают, что горько, что сладко*). Варьируемая часть последней пословицы выражает альтернативно-противительные отношения конструкциями, пропозиционные компоненты которых имеют равный вес и равноценные логические отношения [23. С. 52].

Парономасия (фигура сближения слов по звунию), которая свойственна многим рассмотренным оборотам, выполняет в них ряд функций: эвфоническую (ритмико-рифменная организация), мнемоническую (связанную с запо-

минаемостью), игровую (прием балагурства). Парономасия часто служит неисчерпаемым источником звуко-смысловой игры слов [19. С. 539]. «При рифмованном соединении слов на передний план выступает не тождество содержания, а тождество выражения. Именно «гиперлексемный» характер рифмы обуславливает общую эмфатическую экспрессивность рифмованных фразеологизмов» [9. С. 190].

Ритмико-рифмическая организация – это лишь одно из проявлений конструктивной вариантности диалектных и литературных фразеологических единиц, но благодаря гармонизирующей силе ритма и рифмы – одно из самых ярких.

Безусловно, ритмико-рифмическая организация фразеологических единиц способствует их сохранению в условиях устного бытования (если полноструктурный вариант первичен) или расширению, обновлению, повышению экспрессивности за счет гармонизации выражения (если полноструктурный вариант вторичен). Размеренное существование сельского жителя предрасполагает к накоплению многочисленных полноструктурных вариантов устойчивых выражений, создает благоприятные условия для консервации архаичных явлений, служит благодатной почвой для появления обновленных, эвфонически организованных вариантов привычных оборотов.

Литература

1. Урманчеева И.С. Печорские фразеологизмы на фоне общерусских: конструктивные отличия // PHILOLOGY. 2017. № 2 (8). С. 79–82.
2. Урманчеева И.С. Печорские фразеологизмы на фоне общерусских инвариантов // Язык и культура. Новосибирск. 2014. № 14. С. 7–12.
3. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова. 6-е изд., испр. и доп. М.: АСТ: Астрель, 2001. 512 с.
4. Федоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. 3-е изд., испр. М.: Астрель: АСТ, 2008. 878, [2] с.
5. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. 9-е изд., стер. М.: Рус. яз., 2002. 544 с.
6. Зимин В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких выражений. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. 736 с. (Настольные словари русского языка).
7. Фразеологический словарь русских говоров Нижней Печоры: в 2 т. / сост. Н.А. Ставшина. СПб.: Наука, 2008. Т. 1. 416 с.; Т. 2. 420 с.
8. Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 562, [1] с.
9. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М.: Высш. шк., 1989. 287 с.
10. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология. М.: Флинта: Наука, 2009. 344 с.
11. Большой фразеологический словарь русского языка: Значение. Употребление. Культурологический комментарий / отв. ред. В.Н. Телия. 2-е изд., стер. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. 784 с. (Фундаментальные словари).
12. Бирюк А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология: Историко-этимологический словарь. М.: Астрель: Хранитель, 2007. 926, [2] с.
13. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М.: Высш. шк., 1985. 160 с.
14. Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских пословиц. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010. 1024 с.
15. Вакуров В.Н. С легким паром // Рабоче-крестьянский корреспондент. 1977. № 1. С. 85.
16. Энциклопедический словарь-справочник: Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / под ред. А.П. Сквородникова. 4-е изд., стер. М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. 480 с.

17. Молотков А.И. От фразеологизма к фразеологизму // Русский язык за рубежом. 1969. № 3. С. 112–114.
18. Даль В.И. Пословицы русского народа. 3-е изд.: в 2 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 1. 382 с.; Т. 2. 399 с.
19. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры: Терминологический словарь. 3-е изд., испр. и доп. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 941 с.
20. Словарь русских народных говоров / гл. ред. Ф.П. Филин; ред. Ф.П. Сороколетов. 2-е изд. СПб.: Наука, 2002. Вып. 20. 378 с.
21. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М.: Выш. шк., 1989. 405 с.
22. Жуков В.П., Жуков А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. М.: Просвещение, 2003. 543 с.
23. Ишханова Д.И. Противительные отношения на различных яруса синтаксиса: дис. ... канд. филол. наук. Ставрополь, 2007. 204 с.

RHYTHM AND RHYME ORGANISATION AS MANIFESTATION OF CONSTRUCTURAL VARIABILITY OF PECHORA AND ALL-RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 125–134. DOI: 10.17223/19986645/50/8

Irina S. Urmanceeva, Syktyvkar State University of Pitirim Sorokin (Syktyvkar, Russian Federation). E-mail: isurman@rambler.ru

Keywords: phraseological variability, dialects of Local Pechora, constructural variability of phraseological units, rhythm and rhyme organisation of phraseological units.

The article aims to compare complete (Pechora) and short (all-Russian) constructural variants of phraseological units differing in the rhythm and rhyme organisation.

The object of the research are complete-structure phrasemes used in the territory of the distribution of the Pechora dialects (speech of indigenous Russian residents of settlements located down the Pechora River and its influxes the Pizhma, the Tsilma and the Neritsa (the Ust-Tsilemsky region of the Komi Republic)) in comparison with all-Russian phraseological units. The use and prevalence of the units were determined by Russian phraseology and paremiae dictionaries. The Pechora phraseological units are given by *Frazeologicheskiy slovar' russkikh govorov Nizhney Pechory* [The phraseological dictionary of the Russian dialects of the Lower Pechora].

In the research the method of contrastive (comparative) analysis was applied. To explicate constructive, figurative and artistic distinctions of Pechora and all-Russian phrasemes, the semantic-stylistic method, the method of linguistic (synchronous) description, elements of etymological analysis were used.

In the research the complete-structure phraseological units used in dialects of the Local Pechora are compared to their short popular variants in separate entries. The analysis showed the rhyme and rhythm features of dialect units that distinguish them from all-Russians phrasemes. The different figurativeness of constructive variants is compared, different etymological versions of phraseological units origin, in particular implication (shortening) of proverbs to set phrases and explication (augmentation) of phraseological units as a result of the occasional and dialect speech use are considered.

Conclusions:

1. Constructive variants of set phrases in the dialects of the Local Pechora differ from the short variants of the literary language in their rhythm and rhyme organisation. Some phrases have perfect rhyme (*gde syadesh'*, *tam i slezesh'*, *nikuda ne uedesh'* [where you sit down, there you get down, you won't leave anywhere], etc.), others have slant rhyme (*yazyk bez kosti*, *melet naprosti* [tongue without a bone, speaks nonsense]; *byl kon'*, *da uezhen, byl chelovek, da uroblen* [there was a horse and now it is worn out, there was a person and now is overworked]).

Rhyming words mostly belong to the same part of speech (nouns and verbs), different parts of speech in rhymes are few.

2. Rhythm, a uniform alternation of stressed and unstressed syllables, is also important in the considered paremiae. Folk proverbs and sayings, as well as the real speech, allow breaking the metric diagram in view of the different stress patterns and polysyllabic structure of the Russian words.

3. The rhythm and rhyme organisation of phraseological units comes along with other means of expressiveness, such as antithesis, pun, alogism, paradox, paronomasia, etc.

Paronomasia (convergence of words by consonance), inherent to all considered unites, has several functions: euphony (the rhythm and rhyme organisation), mnemonic (easy to remember), game (buffoonery).

References

1. Urmanceeva, I.S. (2017) Pechora phraseological units compared with the all-Russian ones: the features of construction. *PHILOLOGY*. 2 (8). pp. 79–82. (In Russian).
2. Urmanceeva, I.S. (2014) Pechorskie frazeologizmy na fone obshcherusskikh invariantov [Pechora Phraseologisms Against the Background of All-Russian Invariants]. *Yazyk i kul'tura*. 14. pp. 7–12.
3. Molotkov, A.I. (ed.) (2001) *Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Phraseological Dictionary of the Russian language]. 6th ed. Moscow: AST: Astrel'.
4. Fedorov, A.I. (2008) *Frazeologicheskiy slovar' russkogo literaturnogo yazyka* [Phraseological Dictionary of the Russian literary language]. 3rd ed. Moscow: Astrel': AST.
5. Zhukov, V.P. (2002) *Slovar' russkikh poslovits i pogovorok* [Dictionary of Russian proverbs and sayings]. 9th ed. Moscow: Rus. yaz.
6. Zimin, V.I. (2008) *Slovar'-tezaurus russkikh poslovits, pogovorok i metkikh vyrazheniy* [Dictionary-thesaurus of Russian proverbs, sayings and phrases]. Moscow: AST-PRESS KNIGA.
7. Stavshina, N.A. (2008) *Frazeologicheskiy slovar' russkikh govorov Nizhney Pechory: v 2-kh tomakh* [Phraseological dictionary of Russian dialects of the Lower Pechora: in 2 volumes]. St. Petersburg: Nauka.
8. Matveeva, T.V. (2010) *Polnyy slovar' lingvisticheskikh terminov* [A complete dictionary of linguistic terms]. Rostov-on-Don: Feniks.
9. Mokienko, V.M. (1989) *Slavyanskaya frazeologiya* [Slavic phraseology]. Moscow: Vysshaya shkola.
10. Alefirenko, N.F. & Semenenko, N.N. (2009) *Frazeologiya i paremiologiya* [Phraseology and paremiology]. Moscow: Flinta: Nauka.
11. Teliya, V.N. (ed.) (2006) *Bol'shoy frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka. Znachenie. Upotreblenie. Kul'turologicheskiy kommentarii* [A large phraseological dictionary of the Russian language. Meaning. Use. Cultural commentary]. 2nd ed. Moscow: AST-PRESS KNIGA.
12. Birikh, A.K., Mokienko, V.M. & Stepanova, L.I. (2007) *Russkaya frazeologiya. Istoriko-etimologicheskiy slovar'* [Russian phraseology. Historical and etymological dictionary]. Moscow: Astrel': AST: Khranitel'.
13. Shanskiy, N.M. (1985) *Frazeologiya sovremennoego russkogo yazyka* [Phraseology of the modern Russian language]. Moscow: Vysshaya shkola.
14. Mokienko, V.M., Nikitina, T.G. & Nikolaeva, E.K. (2010) *Bol'shoy slovar' russkikh poslovits* [A large dictionary of Russian proverbs]. Moscow: ZAO "OLMA Media Grupp".
15. Vakurov, V.N. (1977) *S legkim parom* [Enjoy your steam]. *Rabochе-krest'yanskiy korrespondent*. 1. pp. 85.
16. Skovorodnikov, A.P. (ed.) (2016) *Entsiklopedicheskiy slovar'-spravochnik. Vyrazitel'nye sredstva russkogo yazyka i rechevye oshibki i nedochety* [Encyclopaedic dictionary-reference. Expressive means of the Russian language and verbal errors and shortcomings]. 4th ed. Moscow: FLINTA: Nauka.
17. Molotkov, A.I. (1969) *Ot frazeologizma k frazeologizmu* [From phraseologism to phraseologism]. *Russkiy yazyk za rubezhom*. 3. pp. 112–114.
18. Dahl, V.I. (1984) *Poslovity russkogo naroda* [Proverbs of the Russian people]. 3rd ed. In 2 vols. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
19. Moskvin, V.P. (2007) *Vyrazitel'nye sredstva sovremennoy russkoy rechi. Tropy i figury. Terminologicheskiy slovar'* [Expressive means of modern Russian speech. Tropes and figures. Terminological dictionary]. 3rd ed. Rostov-on-Don: Feniks.
20. Filin, F.P. (ed.) (2002) *Slovar' russkikh narodnykh govorov* [Dictionary of Russian folk dialects]. 2nd ed. Is. 20. St. Petersburg: Nauka.
21. Veselovskiy, A.N. (1989) *Istoricheskaya poetika* [Historical poetics]. Moscow: Vysshaya shkola.
22. Zhukov, V.P. & Zhukov, A.V. (2003) *Shkol'nyy frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [School phraseological dictionary of the Russian language]. Moscow: Prosveshchenie.
23. Ishkhanova, D.I. (2007) *Protivitel'nye otnosheniya na razlichnykh yarusakh sintaksisa* [Adversative relations on different levels of syntax]. Philology Cand. Diss. Stavropol.

УДК 81-13

DOI: 10.17223/19986645/50/9

В.Е. Чернявская

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА В КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

В статье объясняются теоретико-методологические связи дискурсивного анализа, продолжающего текстоцентрический принцип анализа языковых явлений, с корпусным методом изучения языка. Обосновываются различия в подходах к анализу дискурса, приводящие к различным выводам относительно текстовой структуры в критическом анализе дискурса, с одной стороны, и лингвистике дискурса – с другой. Анализируются объяснительные возможности современной лингвистики дискурса, ориентированной на текстовую структуру, прослеживается динамика текстоцентрического подхода в лингвистических разработках с 1970-х гг. до современного этапа. Текст рассматривается как отправная точка в анализе дискурсивных процессов. Объясняется методологическая связь лингвистики дискурса с корпусным методом изучения языка.

Ключевые слова: *текстовая структура, лингвистика текста, лингвистика дискурса, критический анализ дискурса, корпус текстов, корпусные исследования языка.*

Постановка проблемы, цель анализа

Современный этап развития лингвистики отмечен дискуссиями относительно того, что определяет существование теоретико-методологической работы лингвиста и его инструментарий. Фокусируется вопрос: что является действительным языковым фактом для «доказательной лингвистики» (ср.: [1, 2]), решающей задачу представлять лингвистическое знание как достоверное и доказательное.

В современной лингвистической теории сосуществуют, с одной стороны, строго формализованные методы изучения языковых явлений, с другой – широкие интерпретативные подходы. С точки зрения В.М. Алпатова, которая в определенной мере выражает позицию теоретической лингвистики и методологическое осмысление ее задач, «постоянно идет борьба стремления к строгому изучению своего объекта по образцу естественных наук, с опорой на наблюдаемые факты, и желания рассматривать язык вместе с говорящим на нем человеком, с учетом интуиции, интроспекции и творческих способностей людей. Последний подход был сформулирован В. фон Гумбольдтом в начале XIX в., но его недостатком постоянно оказывались нестрогость и произвольность. Другой же подход, достигший максимума в структурализме, давал несомненные, но ограниченные результаты... Оба подхода неустранимы из развития науки» [3. С. 18]. С 1990-х гг. и далее размежевание структурно ориентированного и широко интерпретативного подхода, соединяющегося в анализе языковое и экстралингвистическое, усилилось в оппозиции «текст vs дискурс». Сложилось особого рода противопоставление исследований речевой / текстовой структуры и когнитивных процессов, приводящих к образованию этой структуры. Специалисты замечают, что лингвистическая

теория, последовательно ориентирующаяся на речевую структуру, оказывается невостребованной в некоторых версиях дискурсивного анализа, которые, «по сути, растворяют текст как структурный и смысловой объект в бесконечном и аморфном семиозисе... либо вовсе отказываются от лингвистического субстрата, в том числе и от понятия текста» [4. С. 20]. В другой работе С.Т. Золян высказывается еще более определенно, критикуя размытые недифференцированные подходы к дискурсу: «Возможность строгого описания перестает восприниматься как необходимый критерий для оценки теории, а регулярность и системность, напротив, расцениваются скорее как результат желания упрощать исследуемые явления... Понятый превратно постмодернизм с недостаточно усвоенными процедурами деконструкции и дискурс-анализа и фантазирование на темы текста подменили анализ» [5. С. 6].

В потоке публикаций последних лет ссылки на дискурсивный анализ часто являются теоретически и методологически эклектичными. Действительно, разные концепции и разные научные школы дискурсивного анализа неравнозначно подходят к роли текстовой структуры в интерпретации языковых явлений, а категория дискурс по-разному инструментализируется в изучении и описании языка. В теоретическом осмыслении многообразия исследовательских подходов и их объяснительных возможностей важен сравнительный анализ целей и методов дискурсивного анализа. Представляется, что демаркационная линия должна усматриваться в следующей постановке исследовательского вопроса: является ли дискурс инструментом описания и изучения языка или инструментом обнаружения феноменов, которые предполагаются за использованием языка? Очевидно, что разное целеполагание и применение разных методов будет менять образ объекта и возможные выводы исследователя.

Целью публикации является анализ новых приоритетов и задач лингвистики в связи с растущим использованием корпусов текстов и корпусной методологии как инструмента доказательной лингвистики. Исходной посылкой является представление, что корпусно-ориентированный подход к языку обнаруживает методологическое сходство с дискурсивным анализом, а корпусная лингвистика – с лингвистикой дискурса. Анализ методологических приращений и преемственности можно считать эвристически значимым и продуктивным для осмыслиения тенденций развития науки о языке.

Теоретический контекст проведенного анализа задан исследованиями в 1990–2015 гг. (и отчасти в ранних публикациях) лингвистических концепций дискурса, лингвистики текста, когнитивной лингвистики, корпусной лингвистики. На основе структурного контент-анализа в сочетании с контекстуально-интерпретативным, интертекстуальным, интердискурсивным анализом проанализированы наиболее разработанные и дискуссионные вопросы, актуальное состояние и тенденции развития в науке о языке. Ключевой вектор развития лингвистической методологии усматривается в последовательном переходе от анализа идеальной структуры языка к анализу корпуса текстов.

Основной авторский результат заключается в объяснении теоретических и методологических связей дискурсивного анализа, продолжающего текстоцентрический принцип, с корпусным методом изучения языка. Обосновываются, во-первых, теоретико-методологические различия внутри дискурсивно-

го анализа, приводящие к качественно различным выводам относительно текстовой структуры в критическом анализе дискурса, с одной стороны, и лингвистике дискурса, с другой, и, во-вторых, перемещение в фокус исследовательского интереса лингвистов корпусного анализа языковых явлений.

Текст: от статичности к процессуальности

Для лингвиста единственная объективная реальность – это речевая структура / текст. Человеческое знание не только фиксируется и представляется в виде текстов, но и порождается в языковом смысле как текстовая структура.

Такой подход является не единственным возможным в дискуссиях относительно того, что же в действительности может и должен изучать лингвист, стремящийся к созданию объяснительной метатеории. Теоретический и методологический плюрализм подходов связан с осознанием того, что именно текст является основным, но не единственным элементом в сложной системе человеческой коммуникации. В работе [6] показано, что теоретическим выводом из этого оказалось разделение текста, т.е. результата коммуникативной и когнитивной деятельности и дискурса, иначе говоря, самого процесса деятельности.

Противопоставление статичности и динаминости, изучение дискурса как процесса и текста как результата коммуникативных процессов является одним из ключевых аспектов когнитивно ориентированной лингвистики. С того момента, как категория дискурса вошла в активный научный оборот, стало отчетливым исследовательское противопоставление статичности (текста) и процессуальности (дискурса). Фокус лингвистических разработок перемещался от вопросов внутритечевой организации к процессам текстопостроения и текстовосприятия. В зависимости от теоретических позиций, научной школы и личных интересов исследователей это противопоставление может звучать с меньшей или большей силой, превращаясь в оппозицию «или текст, или дискурс». В свою очередь, категоричность подобного разделения может оборачиваться сомнением относительно эвристической значимости анализа речевой структуры вообще. Так, например, сложная система взаимовлияния ментальных процессов и их отражения в тексте может представляться метафорически как взаимодействие «тела» и «души». Показательно следующее суждение: «В число исходных постулатов для метатеории понимания текста могут входить следующие. "Тело текста" без продуцирующего и воспринимающего его человека остается некоторой мертвой последовательностью графем; для его "оживления" или "одушевления" необходима включенность и "тела текста", и индивида в соответствующую культуру, вне которой текст как таковой состояться не может» [7. С. 157]. В приведенной цитате российского психолингвиста А.А. Залевской важен следующий акцент. Методологические установки психолингвистики, а именно изучение процессов порождения и восприятия смыслов как существенных (как «души») важны, они вносят неоспоримый вклад в общую поступательность знаний о языке. При этом рассуждения о «теле текста» и его «душе» основаны на метафорическом значении и сопряжены со спецификой метафорического значения. Это значит, что имплицитные приращения смысла к эксплицитным значениям могут

значительно превосходить последние в суммарном объеме информации. «Имплицитные смыслы не только дополняют и осложняют эксплицитные значения, но могут вступать в конфликт с ними...» (ср.: [8. С. 240]). Метафора способна создавать напряжение и даже конфликт между буквальным и переосмысленным значением. Именно такой конфликт создается при использовании определений «текст мертв», когда исследователь подталкивается к выводу о незначительности текстовой структуры по сравнению с «живой душой» когнитивных процессов.

Подчеркнем, что когнитивная лингвистика имеет безусловный эвристический и методологический потенциал, позволяющий рассматривать языковые данные как проявление деятельности познания. Это пример нежесткого структурирования и моделирования. Одновременно с этим утверждением принципиально значимо другое: резкое противопоставление текста и дискурса, результативности и процессуальности нельзя признать продуктивным. Напротив, продуктивным следует считать понимание текста и как результата, и как самого процесса когнитивно-коммуникативной деятельности.

В сложившихся к последнему десятилетию XX в. объяснительных концепциях текстуальности функциональная перспектива текста выходит на первый план [9–17]. Доказывается, что все языковые единицы, включенные в текст, являются результатом осмысленного целенаправленного выбора автора, создающего текстовое целое. На современном этапе в новом исследовательском ракурсе повторяются и основополагающая бахтинская концепция диалога, и идеи выдающегося филолога А.А. Потебни о том, что «при помощи слова человек вновь узнает то, что уже было в его сознании. Он одновременно и творит новый мир из хаоса впечатлений, и увеличивает свои силы для расширения пределов этого мира» [18. С. 148].

Текст получает признаки процессуальности, поскольку смысл текстового целого дает возможность свободной интерпретации, игры авторских и читательских смыслов, не обязательно совпадающих с заложенными авторскими смыслами. Именно в таком смысле сформулировал представление о тексте авторитетный немецкий лингвист П. Хартманн в 1964 г., когда в мировой науке только начинались дискуссии о целесообразности изучения феноменов больших, чем предложение: текстом можно назвать все то, что происходит в языке, поскольку язык существует в коммуникативной и всегда социальной, т.е. ориентированной на партнера форме (ср.: [19. С. 17]).

Ключевое представление о текстоцентристическом принципе, принимаемом здесь за основу, было развернуто сформулировано в работе [2]. Повторяя основные тезисы: человеческое знание – это знание текстуальное, оно представлено в текстах, зафиксировано текстами и порождается как текст. В такой формулировке заключено возражение представлению, что текст является лишь средством для презентации и архивирования знания, ‘упаковкой’ для когнитивного содержания. Напротив, текст – это средство порождения знания, как личностного, так и коллективного. Под этим понимается, с одной стороны, получение, структурирование и риторическое оформление знания как такового, с другой – критическое осмысление, интерпретация и изменение знания, его приращение. Значение текстовой структуры при интерпрета-

ции широкого комплекса языковых и коммуникативных явлений по-разному операционализируется в дискурсивно ориентированной практике.

Дискурс как объект лингвиста

Современный дискурсивный анализ существует в условиях плюрализма, порождаемого многообразием как методов анализа, так и определения самого объекта анализа – дискурса. Причины значительных расхождений в опериировании термином «дискурс» проанализированы в работах [20, 21]. Сведение этого многообразия к одномерности и однообразию не рассматривается здесь как цель анализа и как его методологическое преимущество. При этом принципиально значимое утверждение, при всей его очевидности, таково: адекватность выбора дискурсивного метода работы с языковыми фактами существенно влияет на интерпретацию результата анализа.

Анализ сложившихся к современному этапу концепций дискурса позволяет выдвинуть на первый план следующее методологически важное разделение.

Во-первых, в современной ситуации дискурсно ориентированных исследований необходимо отграничивать понимание дискурса в философии и социологии и лингвистические подходы к дискурсу (как отчетливая тенденция это особенно проявляется в зарубежной лингвистике). Решается задача отделения собственно лингвистической концепции от «дискурса по Фуко», т.е. социологических, философских пониманий дискурса [17, 22, 23].

Во-вторых, делимитация нелингвистического и лингвистического подходов должна быть дополнена исследовательским вопросом: что дает дискурсивный анализ по сравнению с иными лингвистическими дисциплинами, например лингвистикой текста, семантикой, социолингвистикой?

В этом ракурсе, в-третьих, принципиально значимым является различие в подходах, задаваемое вопросом: дискурс используется как инструмент описания и изучения языка самого по себе или как инструмент обнаружения феноменов, стоящих / усматриваемых исследователем за использованием языка?

Такое разделение исследовательских подходов стало следствием теоретического и методологического обосновления лингвистики текста, лингвистики дискурса и концепций критического анализа дискурса.

Лингвистика дискурса и особая методология анализа дискурса раздвинула границы традиционной лингвистики текста поступательно от интереса к предложению, к тексту и далее содержательно-смысловой общности текстов (подробнее см.: [21, 22, 24–27]). Дискурс понимается как транстекстовая структура, создаваемая за счет глубинной содержательно-тематической связности отдельных текстов – когезии, функционального единства, интертекстуальности, интердискурсивности. Здесь дискурс – это способ употребления языка, его особый модус. Цели дискурсивного анализа в этом случае подобны целям грамматики и семантики текста. Они заключаются в описании функционирования языковой системы за границами семантики отдельного текста, т.е. на уровне выше, чем отдельное предложение и затем отдельный текст.

В случае дискурса возникает не новый и не особый лингвистический объект, а новый ракурс изучения языка. Изменяется модус его описания, если понимать под модусом новые характеристики, получаемые в дополнение к известным базовым характеристикам. В строгом смысле методологическая новизна дискурсивного анализа связана не с привнесением нового инструментария, но с применением традиционных методов анализа текстовой структуры за пределами отдельного высказывания / текста.

Так, исследователь выявляет и объясняет, какой действительный смысл складывается из семантики языковых единиц, анализируя интертекстуально и интердискурсивно ряд высказываний, показывает, например, что действительно означают высказывания «мы подлинные патриоты», «свободное общество наша цель», «я горжусь тем, что я москвич» и т. п. в совокупности со значениями иных высказываний, существующих вместе с данным, в совокупности импликаций и интертекстуальных связей. Исследователь ориентируется на семантику дискурса наряду с семантикой слова, семантикой предложения. Для дискурсивной семантики существенно не буквальное значение языковых единиц, но интертекстуальные и интродискурсивные отношения и порождаемые ими импликации. При этом анализируются и сопоставляются значения слов, предложений не только из одного текста, но из разных, объединенных тематически текстов. Дискурсивный анализ осуществляется как макросемантический и глубинно-семантический анализ. Некий текст будет считаться репрезентативным для ‘научного, фашистского, патриотического дискурса’ и т.д. не потому, что в нем используются понятия «наука», «фашизм» или «патриотизм», но потому, какое содержание и оценка выявляются в семантическом поле данного текстового целого.

Выход исследовательского интереса лингвиста за границы предложения и далее за границы текста обусловил становление лингвистики дискурса как самостоятельной дисциплины. Дискурс как лингвистическая категория (подчеркиваем здесь именно лингвистическое понимание!) соотносится с над-/транстекстовыми явлениями и структурами. Это следует из основных лингвистических подходов к дискурсу как:

- объединению тематически общих текстов;
- институционализированной коммуникативно-речевой практике;
- модели текстостроения и текстовосприятия для единичных текстовых экземпляров;
- виртуальному текстовому корпусу, определяемому на основе содержательно-смысловых критериев.

Сложились также иное понимание дискурса и иные цели и методы дискурсивного анализа, ставшие широко известными в мировой практике в связи с критическим анализом дискурса (Critical Discourse Analysis, Critical Discourse Studies, Discourse Historical Approach) с середины 1980-х гг. (см.: [28–35]). Ключевой акцент, который расставляли исследователи, так или иначе развивавшие это направление, предполагал связь практического использования языка с условиями порождения смыслов. Терминологически критический анализ дискурса обособился благодаря публикациям Н. Ферклафа, который с начала 1980-х гг. применял его к коммуникативным процессам в обществе, опираясь на системную функциональную лингвистику М. Хэллидея. Методо-

логически вектор исследования идет от отрицания структуралистского подхода к «языку (*langue*) без контекста», к изучению языка как социально обусловленной функционирующей системы. Реализовано это через «функциональную грамматику» и «социальную» семиотику» [32].

В этом подходе одним из первых сделан акцент на взаимосвязи языка, власти и идеологии, который в последующем будет генерально прочерчен в исследованиях Т. ван Дейка, Р. Водак. По Ферклафу, порождение значения (семиозис) происходит как общественно детерминированный процесс: значение создается и оформляется в социальных практиках. При этом язык – одна из форм реализации значения в ряду других возможных семиотических кодов. Языковые конвенции (*orders of discourse*), формы языкового выражения делают очевидным существование определенных социальных, гендерных, этнических идентичностей.

Критический анализ дискурса ориентирован на социальные проблемы. В центре не язык как таковой, но лингвистический характер социокультурных процессов. Понятия «дискурс» и «социокультурная практика» находятся в диалектических отношениях друг к другу: общество и культура создаются как дискурс и одновременно порождают и поддерживают определенный дискурс. Использование языка – социально конструируемо и одновременно социально конструктивно. Ср.: «*Language use as social practice... is socially shaped, but it is also socially shaping or constitutive. ... Language use is more over constitutive in both conventional, socially reproductive ways, and creative, socially transformative ways*» [36. С. 134].

Методологически критический анализ дискурса, по Ферклафу, предполагает три процедурных этапа [29. С. 4–10]. Сначала структура и содержание текста (устного или письменного) анализируется с помощью традиционных методов текстовой когезии и когерентности с опорой на семантику языковых единиц. На втором этапе анализируются онтологические условия возникновения конкретных текстов: специфика порождения текста, характеристики его адресата, рецептивная специфика в связи с характеристиками адресата, медиальная специфика, т.е. коммуникативный канал, формат распространения высказываний – устный, письменный, СМИ и т.п. На завершающем этапе анализ учитывает социальные конвенции, допущения, пресуппозиции для вывода о характере дискурсивной практики (*discourse practice*). Благодаря этому отдельный текст оценивается как выражение этой социальной практики и «порядка дискурса».

Во взаимодействии языка, власти и идеологии иной методологический подход задан Т. ван Дейком. Исследуя вслед за Н. Ферклафом корреляцию этих понятий, ван Дейк заявляет ключевой тезис о том, что эта взаимосвязь невыводима напрямую. Между макроуровнем социальной практики, на котором, собственно, осуществляется власть, и микроуровнем коммуникации должно быть дополнительное звено (*missing link*), соединяющее язык и власть, «*that is a sociological construct in its own right*» [28. С. 354]. Роль такого связующего звена ван Дейк видит в социальном знании (*social cognition*). Ключевой тезис таков: власть актуализируется через знание, власть – это когнитивный контроль, «*mind control*» [Там же. С. 357]. Осуществление и удержание власти предполагает контроль за идеологиями, ценностями и об-

щественными нормами, манипулирование нормами. В результате знания, убеждения, нормы, ценности и идеология реципиентов формируются в интересах доминирующей группы.

Идеология в критическом дискурс-анализе – это форма социального знания и социального контроля за теми или иными практиками. При этом методологически значимо, как замечают исследователи, что это «само собой разумеющееся знание, допущения и пресуппозиции, натурализовавшиеся в определенных способах использования языка» [37. С. 64]. Это те знания о мире, которые создают определенную ментальную рамку для интерпретации и оценки событий, и соответствующие действия. Идеология создает и поддерживает идентичность социальных групп в их целях, интересах, ресурсах и возможностях социального доминирования.

Для реконструкции социального знания критический анализ дискурса, поowan Дейку, использует традиционные и всесторонне описанные лингвистические методы текстового анализа (анализа устного высказывания). В центре внимания оказываются речевые средства, которые транслируют идеологию или, наоборот, маскируют ее, например синтаксические связи, сочинительные или подчинительные, пассивные конструкции как средство дистанцирования субъекта высказывания и т.п., средства когезии и когерентности, риторические фигуры, средства аргументации, в том числе опора на авторитет, модальные средства смягчения, усиления категоричности, окончательности суждения и др.

В направлении критического дискурс-анализа, которое развивает Р. Водак [34, 35], заданы дополнительные ракурсы, а именно, идея о том, что в обществе различные идеологии, идентичности конкурируют друг с другом. Предметом критического анализа является отношение и различие между конкурирующими идеологиями. В публикациях 1980–1990-х гг. венской школы критического анализа дискурса тематическим фокусом стали гендерные, расистские, антисемитские, националистические стереотипы и предубеждения, которые авторы прослеживали в австрийском и немецком обществе, в том числе и в повседневной коммуникации. Политика, идеология исследуются на уровне обыденной коммуникации через анализ обыденных тривиальных высказываний, получающих националистическую, расистскую окраску и идеологические смыслы.

Итак, в критическом анализе дискурса язык рассматривается как форма социальной практики, порождающей различные властные идеологические отношения. Цель анализа – показать в интерпретации текста зависимость языковых структур и форм от идеологически сконструированной формы социальной практики. Изучается не язык как таковой, но представления о широком экстралингвистическом фоне, стоящем за (над) текстами. Напротив, в рамках лингвистического подхода дискурс инструментализируется теми концепциями, которые рассматривают его как над-/ транстекстовое единство. Повторяя ключевые определения лингвистики дискурса, дискурс – это содержательно-тематическая общность текстов, текстовый корпус, определяемый на основе тех или иных критериев.

От дискурса к корпусу

Понимаемый так дискурс и – шире – лингвистика дискурса связаны с новым взглядом на задачи теоретической лингвистики. Наиболее существенное отличие, по мнению В.А. Плунгяна, в ориентации не на идеальную структуру языка, но на представительный корпус текстов. «Корпус – это новая идеология, ориентирующая исследователя на текст как главный объект теоретической рефлексии. Можно сказать, что корпус в каком-то смысле вернул лингвистам их подлинный объект – тексты на естественном языке в максимально полном объеме» [38. С. 7–8; С. 14].

Дискурсивный анализ, последовательно ориентированный на текстоцентрический принцип, демонстрирует, по сути, корпусный метод исследования языка. С дискурсивно ориентированных позиций, исследователь, анализируя отдельный текст, должен доказать его репрезентативный статус для определенного типа дискурса, т.е. опираясь на выбранный метод текстового анализа (стилистический, риторический, лингво-прагматический и др.), показать, что единичный текст есть часть серийной дискурсивной практики.

Примечательно, что в публикациях с 2000-х гг. корпусная лингвистика представляется как часть дискурсивно ориентированной теории и – шире – как новая объяснительная теория (ср.: [16, 39–43]).

Корпус – это собрание текстов в электронной форме, предназначенное не для чтения (в этом принципиальное отличие корпуса от электронной библиотеки), а для изучения в соответствии с целями исследователя. Лингвист, изучая употребление языка, делая обобщения относительно частотности употребления лексических и грамматических вариантов и т. п., может задавать различные критерии и характеристики текстов для объединения в корпус. Можно задать хронологические, жанровые, содержательные, гендерные и т.д. критерии для корпуса, например, мемуарные тексты, написанные женщинами о Второй мировой войне в период 1960–1970-х гг. на немецком языке и т.п. Аналогию с корпусным методом обнаруживает исследование языка писателя, идиостиля как изучение совокупности текстов автора, а также классическая филология в описании мертвого языка как описания всей совокупности доступных для исследователя текстов, входящих в корпус этого языка. Одновременно у современных корпусных методов есть свои отличия от классического филологического подхода. Например, неприоритетность литературоцентричности, которая характеризует отбор текстов для корпуса, (см.: [38. С. 14]).

Корпусная лингвистика обнаруживает параллели с лингвистикой дискурса. В самом общем представлении они таковы. Если лингвистика дискурса фокусирует интегративность, интертекстуальную связность текстов, то корпусная лингвистика фокусирует репрезентативность текстовых образцов. Дискурсивно ориентированный анализ – это качественно-ориентированный анализ, глубинно- и макросемантический, вскрывающий глубинные связи высказываний, не обязательно лежащие на поверхности. Корпусно ориентированный анализ – количественный, создающий исследовательский фокус на том, что в языковом употреблении обеспечивает содержательное единство.

Использование корпуса продуктивно в связи с проблемой доказательства существования в языке определенного явления, при этом не отождествляются понятия «иметься в корпусе» и «иметься в языке». Могут существовать потенциально возможные языковые явления, не отраженные в данном корпусе, при этом факт отсутствия потенциально возможного явления в корпусе является для исследователя значимым.

Новизна, привносимая дискурсивным анализом, должна связываться с методами изучения совокупности отдельных текстов, уже существующих и потенциально возможных. Преимущество дискурса как единицы операционального анализа заключается в том, что он позволяет от текста как относительно законченной, формально ограниченной структуры идти к другим текстам. Содержание дискурса раскрывается не одним отдельным текстом, но в комплексном взаимодействии многих текстов. В свою очередь, это предполагает качественно новый подход к тексту – не как к относительно законченной структуре, но как к структуре в интертекстуальном и интердискурсивном единстве. В таком представлении становится очевидным инструментальный характер дискурсивного анализа. Это дескриптивная, описательная практика, своего рода «антионтологический проект»: исследователь изучает не то, как должно быть по правилам, а то, как разнообразно получается в социоречевой практике.

Заключение. Современная лингвистическая теория переосмысляет систему своих декларативных («знаю, что») и процедурных знаний («знаю, как»). Разработаны разные объяснительные подходы и разные модели представления и интерпретации знаний. Методы дискурсивного анализа, ориентированного на текстовую структуру, могут быть инструментализированы в практике корпусных исследований. И наоборот, корпусный подход к языку и тексту развивает и поддерживает теоретические представления о дискурсе как особым формате для языковой практики и языкового употребления, который переводит тексты из области внесистемного к представительной совокупности.

Литература

1. Gross A. Is Evidence Based Linguistics the Solution? Is Voodoo Linguistics the Problem? *Lacus Forum* 32. 2006. P. 173–188.
2. Беляева Л.Н., Черняевская В.Е. Доказательная лингвистика: метод в когнитивной парадигме // Вопр. когнитивной лингвистики. 2016. № 3. С. 77–84.
3. Аллатов В.М. Что и как изучает языкознание? // Вопр. языкознания. 2015. № 1. С. 7–21.
4. Золян С.Т. «Бесконечный лабиринт сцеплений»: семантика текста как многомерная структура // Критика и семиотика. 2013. № 1 (18). С. 18–44.
5. Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. М.: УРСС, 2014. С. 336.
6. Черняевская В.Е. Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность. М.: УРСС Либроком, 2009.
7. Залевская А.А. Текст и его понимание. Тверь, 2001.
8. Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. СПб., 2003.
9. Гончарова Е.А., Шишикина И.П. Интерпретация текста. М.: Выш. шк., 2005.
10. Тураева З.Я. Лингвистика текста: структура и семантика. М.: УРСС, 2007.
11. Adamzik K. Textlinguistik. Tübingen: Niemeyer, 2004.
12. Antos G. Texte als Konstitutionsformen von Wissen // Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen. Transformationen. Trends. Antos G., Tietz H. (Hgg.) Tübingen, 1997. P. 43–63.
13. Halliday M.A.K. An introduction to functional grammar. London, 2007.

14. Heinemann M., Heinemann W. Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs. Tübingen: Niemeyer, 2002.
15. Heinemann W., Viehweger D. Textlinguistik. Eine Einführung. Tübingen, 1991.
16. Sinclair J. Trust the Text. Language, Corpus and Discourse. Ruthledge: London, New York, 2004.
17. Warnke I. Adieu Text – bienvenu Diskurs? Über Sinn und Zweck einer poststrukturalistischen Entgrenzung des Textbegriffs // Brauchen wir einen neuen Textbegriff? Antworten auf eine Preisfrage. U. Fix (Hrsg). Frankfurt/M.: Peter Lang, 2002.
18. Поме́бия А.А. Теоретическая поэтика. 2-е изд. М.; СПб., 2003.
19. Hartmann P. Text, Texte, Klassen von Texten // BOGAWUS. Zeitschrift für Literatur, Kunst, Philosophie. 1964. № 2. Р.15–25.
20. Чернявская В.Е. Фантомы и синдромы дискурсивной парадигмы // Вопр. когнитивной лингвистики. 2014. № 1. С. 54–61.
21. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса. М.: УРСС-Либроком, 2013.
22. Spitzmüller J., Warnke I. Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse. W. de Gruyter, 2011.
23. Warnke I. Diskurslinguistik nach Foucault. Berlin; New York: W. de Gruyter, 2007.
24. Busse D., Teubert W. Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Zur Methodenfrage der historischen Semantik // Busse D. et. al. (Hgg.) Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik. Opladen, 1994. Р. 10–28.
25. Busse D. Diskurslinguistik als Kontextualisierung. Methodische Kriterien, sprachwissenschaftliche Überlegungen zur Analyse gesellschaftlichen Wissens // Warnke I. (Hg.) Diskurslinguistik nach Foucault. Theorie und Gegenstände. Berlin; New York, 2007. Р. 81–105.
26. Warnke I., Spitzmüller J. Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik // Warnke I., Spitzmüller J. (Hgg.) Methoden der Diskurslinguistik. de Gruyter: Berlin; New York, 2008. Р. 3–54.
27. Чернявская В.Е. Текст в медиальном пространстве. М.: УРСС, 2016.
28. Dijk T.A. van. Critical discourse analysis // D. Schiffrin, D. Tannen, H. Hamilton (Hgg.). The Handbook of discourse analysis, London, 2010.
29. Fairclough N. Critical discourse analysis. The critical study of language. London; New York, 1995.
30. Fairclough N., Wodak R. Critical discourse analysis // van Dijk T. A. (Hg.). Discourse studies. A multidisciplinary introduction. Bd. 2: Discourse as social interaction. London: Sage, 1997. Р. 258–284.
31. Fairclough N. Language and power. London, 2010.
32. Halliday M.A.K. Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning. London, 1994.
33. Jäger S. Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung. Münster, 2009.
34. Reisigl M., Wodak R. Discourse and discrimination. Rhetorics of racism and anti-Semitism. London; New York, 2001.
35. Wodak R., Reisigl M. The discourse-historical approach (DHA) // Wodak R., Meyer M. (Hgg.). Methods of critical discourse analysis. London; New Delhi, 2009. Р. 87–121.
36. Fairclough N. Critical discourse analysis and the marketization of public discourse // Discourse and Society. 1993. № 4(2). Р. 133–168.
37. Молодыченко Е.Н. Об операционализации категории «ценность» в текстовом и дискурсивном анализе: к вопросу о лингвистической аксиологии // Вестн. Моск. городского пед. ун-та. 2015. № 3. С. 90–97.
38. Плунгян В.А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики // Русский язык в научном освещении. 2008. № 2. С. 7–20.
39. Baker P. Using Corpora in Discourse analysis. London et al.: Continuum, 2006.
40. Bubenhofen N. Diskurse berechnen? Wege zu einer korpuslinguistischer Diskursanalyse // Warnke I., Spitzmüller J. Methoden der Diskurslinguistik. Walter de Gruyter: Berlin; New York, 2008. Р. 407–434.
41. McEnergy T., Xiao R., Tono Y. Corpus-based Language Studies. London et al.: Ruthledge, 2006.
42. Teubert W., Cermakova A. Corpus Linguistics. A short introduction. London et al.: Continuum, 2007.
43. Tognini-Bonelli E. Corpus Linguistics at work. Amsterdam et al.: Benjamins, 2001.

TOWARDS METHODOLOGICAL APPLICATION OF DISCOURSE ANALYSIS IN CORPUS-DRIVEN LINGUISTICS

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 135–148. DOI: 10.17223/19986645/50/9

Valeria E. Chernyavskaya, Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: tcherniavskai@rambler.ru

Keywords: text structure, discourse linguistics, text linguistics, critical discourse analysis, corpus-based language studies

The framework proposed in the paper combines the linguistic way of analysing discourse with a corpus-driven approach. The author presumes that the actual research focus and theoretical framework in language studies differ from the previous models of language analysis and interpretation. The new issues are connected with changed research priorities from analysis of ideal language structures towards corpus-based linguistic studies. The paper outlines that the corpus-based/corpus-driven approach matches with crucial assumptions of discourse studies. Discourse analysis has always relied on text corpora as its empirical basis. However, there are diverse aims and methods of discourse-based approaches in current linguistics. The paper sets out the author's view of key issues of discourse analysis and their application in corpus-based language studies. It includes a condensed theoretical account of critical discourse analysis (CDA) and discourse linguistics dealing with explanation and modelling language-in-use and language-related subjects. The paper comments that CDA refers to discourse as a form of social practice, ideologically shaped and shaping. The objective of the paper is to set out a methodologically different approach, first, to discourse as an intertextual structure and, second, to discourse linguistics as extension of principles of text linguistics.

It is presumed that the speech structure / text is the only objective reality for a linguist. It is treated as a means for knowledge mining, generalising, formatting and augmenting. Text structure is presumed to be a starting point for a discourse processing analysis as developed in discourse linguistics. The discourse is interpreted as a linguistic reflection of collective textual practice. The paper presents methodological potential and research tools of discourse linguistics for validation of linguistic observation results on the trans- / metatextual level.

This paper will follow the question of how new approaches in text linguistics and discourse analysis could contribute to redefinition of the subjects and analytical methods of linguistic facts interpretation. According to the current state of research and theory the corpus-based language analysis will be an explanatory strong theory. Text and discourse linguistics may be a precondition for corpus-based linguistics as a metatheory of language subjects. The corpus-driven discourse analysis proves the framework to be an important addition to corpus linguistics.

References

1. Gross, A. (2006) Is Evidence Based Linguistics the Solution? Is Voodoo Linguistics the Problem? *Lacus Forum.* 32. pp.173–188.
2. Belyaeva, L.N. & Chernyavskaya, V.E. (2016) Evidence-based linguistics: methods in cognitive paradigm. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki.* 3. pp. 77–84. (In Russian). DOI: 10.20916/1812-3228-2016-3-77-84
3. Alpatov, V.M. (2015) Linguistics: what and how? *Voprosy yazykoznaniya.* 1. pp. 7–21. (In Russian).
4. Zolyan, S.T. (2013) “Endless labyrinth of linkages”: semantics of text as a multidimensional structure. *Kritika i semiotika – Criticism and Semiotics.* 1 (18). pp. 18–44. (In Russian).
5. Zolyan, S.T. (2014) *Semantika i struktura poeticheskogo teksta* [Semantics and structure of the poetic text]. Moscow: URSS.
6. Chernyavskaya, V.E. (2009) *Lingvistika teksta. Polikodovost'. Intertekstual'ost'. Interdiskursivnost'* [Linguistics of the text. Polycodicity. Intertextuality. Interdiscursiveness]. Moscow: URSS Librokom.
7. Zalevskaya, A.A. (2001) *Tekst i ego ponimanie* [Text and its understanding]. Tver: Tver State University.
8. Nikitin, M.V. (2003) *Osnovaniya kognitivnoy semantiki* [Foundations of cognitive semantics]. St. Petersburg: RSPU.
9. Goncharova, E.A. & Shishkina, I.P. (2005) *Interpretatsiya teksta* [Interpreting the text]. Moscow: Vysshaya shkola.

10. Turaeva, Z.Ya. (2007) *Lingvistika teksta: struktura i semantika* [Linguistics of text: structure and semantics]. Moscow: URSS.
11. Adamzik, K. (2004) *Textlinguistik* [Text linguistics]. Tübingen: Niemeyer.
12. Antos, G. (1997) Texte als Konstitutionsformen von Wissen [Texts as constitutional forms of knowledge]. In: Antos, G. & Tietz, H. (eds) *Die Zukunft der Textlinguistik. Traditionen. Transformationen. Trends* [The future of text linguistics. Traditions. Transformations. trends]. Tübingen: Niemeyer.
13. Halliday, M.A.K. (2007) *An introduction to functional grammar*. London: Edward Arnold.
14. Heinemann, M. & Heinemann, W. (2002) *Grundlagen der Textlinguistik. Interaktion – Text – Diskurs* [Foundations of text linguistics. Interaction – text – discourse]. Tübingen: Niemeyer.
15. Heinemann, W. & Viehweger, D. (1991) *Textlinguistik. Eine Einführung* [Text linguistics. An introduction]. Tübingen: Niemeyer.
16. Sinclair, J. (2004) *Trust the Text. Language, Corpus and Discourse*. London, N.Y.: Routledge.
17. Warnke, I. (2002) Adieu Text – bienvenu Diskurs? Über Sinn und Zweck einer poststrukturalistischen Entgrenzung des Textbegriffs [Adieu text - bienvenu discourse? About the meaning and purpose of a poststructural delimitation of the concept of the text]. In: Fix, U. (ed.) *Brauchen wir einen neuen Textbegriff? Antworten auf eine Preisfrage* [Do we need a new concept of text? Answers to the question]. Frankfurt; Moscow: Peter Lang.
18. Potebnja, A.A. (2003) *Teoreticheskaya poetika* [Theoretical Poetics]. 2nd ed. Moscow; St. Petersburg: Vysshaya shkola.
19. Hartmann, P. (1964) Text, Texte, Klassen von Texten [Text, texts, classes of texts]. BOGA-WUS. *Zeitschrift für Literatur, Kunst, Philosophie*. 2. pp.15–25.
20. Chernyavskaya, V.E. (2014) Discourse paradigm: phantom objects and syndromes. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki*. 1. pp. 54–61.
21. Chernyavskaya, V.E. (2013) *Lingvistika teksta. Lingvistika diskursa* [Linguistics of the text. Linguistics of discourse]. Moscow: URSS-Librokom.
22. Spitzmüller, J. & Warnke, I. (2011) *Diskurslinguistik. Eine Einführung in Theorien und Methoden der transtextuellen Sprachanalyse* [Discourse linguistics. An introduction to theories and methods of transtextual speech analysis]. Berlin, N.Y.: W. de Gruyter.
23. Warnke, I. (2007) *Diskurslinguistik nach Foucault. Theorie und Gegenstände* [Discourse Linguistics after Foucault. Theory and objects]. Berlin, N.Y.: W. de Gruyter.
24. Busse, D. & Teubert, W. (1994) Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Zur Methodenfrage der historischen Semantik [Is discourse a linguistic object? On the method question of historical semantics]. In: Busse, D. et al. (eds) *Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse der historischen Semantik* [Conceptual history and discourse history. Method questions and research results of historical semantics]. Opladen.
25. Busse, D. (2007) Diskurslinguistik als Kontextualisierung. Methodische Kriterien, sprachwissenschaftliche Überlegungen zur Analyse gesellschaftlichen Wissens [Discourse linguistics as contextualization. Methodological Criteria, Linguistic Considerations for the Analysis of Social Knowledge]. In: Warnke, I. *Diskurslinguistik nach Foucault. Theorie und Gegenstände* [Discourse Linguistics after Foucault. Theory and objects]. Berlin, N.Y.: W. de Gruyter.
26. Warnke, I. & Spitzmüller, J. (2008) Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik [Methods and Methodology of Discourse Linguistics]. In: Warnke, I. & Spitzmüller, J. (eds) *Methoden der Diskurslinguistik* [Methods of Discourse Linguistics]. Berlin, N.Y.: W. de Gruyter.
27. Chernyavskaya, V.E. (2016) *Tekst v medial'nom prostranstve* [Text in the medial space]. Moscow: URSS.
28. Dijk, T.A. van. (2010) Critical discourse analysis. In: Schiffrin, D., Tannen, D. & Hamilton, H. (eds) *The Handbook of discourse analysis*. Wiley.
29. Fairclough, N. (1995) *Critical discourse analysis. The critical study of language*. London; N.Y.: Longman.
30. Fairclough, N. & Wodak, R. (1997) Critical discourse analysis. In: Dijk, T.A. van. (ed.). *Discourse studies. A multidisciplinary introduction*. Vol. 2. London: Sage.
31. Fairclough, N. (2010) *Language and power*. London: Longman.
32. Halliday, M.A.K. (1994) *Language as social semiotic. The social interpretation of language and meaning*. London: Edward Arnold.
33. Jäger, S. (2009) *Kritische Diskursanalyse. Eine Einführung* [Critical discourse analysis. An introduction]. Münster: Unrast.

-
34. Reisigl, M. & Wodak, R. (2001) *Discourse and discrimination. Rhetorics of racism and anti-Semitism*. London; New York: Longman.
35. Wodak, R. & Reisigl, M. (2009) The discourse-historical approach (DHA). In: Wodak, R. & Meyer, M. (eds). *Methods of critical discourse analysis*. London; New Delhi: SAGE Publications.
36. Fairclough, N. (1993) Critical discourse analysis and the marketization of public discourse. *Discourse and Society*. 4(2), pp. 133–168.
37. Molodychenko, E.N. (2015) Ob operatsionalizatsii kategorii “tsennost” v tekstovom i diskursivnom analize: k voprosu o lingvisticheskoy aksiologii [On the operationalization of the “value” category in textual and discursive analysis: to the question of linguistic axiology]. *Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta*. 3. pp. 90–97.
38. Plungyan, V.A. (2008) Korpus kak instrument i kak ideologiya: o nekotorykh urokakh sovremennoy korpusnoy lingvistiki [Corpus as an Instrument and as an Ideology: On Some Lessons of Contemporary Corpus Linguistics]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii*. 2. pp. 7–20.
39. Baker, P. (2006) *Using Corpora in Discourse analysis*. London et al.: Continuum.
40. Bubenhofer, N. (2008) Diskurse berechnen? Wege zu einer korpuslinguistischer Diskursanalyse [Calculate discourses? Ways to corpus linguistic discourse analysis]. In: Warnke, I. & Spitzmüller, J. (eds) *Methoden der Diskurslinguistik* [Methods of discourse linguistics]. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter.
41. McEnery, T., Xiao, R. & Tono, Y. (2006) *Corpus-based Language Studies*. London et al.: Routledge.
42. Teubert, W. & Cermakova, A. (2007) *Corpus Linguistics. A short introduction*. London et al.: Continuum.
43. Tognini-Bonelli, E. (2001) *Corpus Linguistics at work*. Amsterdam et al.: Benjamins.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1-31

DOI: 10.17223/19986645/50/10

И.О. Волков, Э.М. Жилякова

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПОВЕСТИ И.С. ТУРГЕНЕВА «СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР» (ПО МАТЕРИАЛАМ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ)

На материале чернового и белового автографов повести И.С. Тургенева «Степной Король Лир» (1870) в статье устанавливается драматическая природа прозаического произведения. Анализируется движение авторской идеи от первого оформления замысла до момента журнальной публикации повести. Выявляются структурно-содержательные элементы, составляющие основу драматического повествования. Устанавливается связь специфики художественного моделирования повести с творчеством У. Шекспира, Н.В. Гоголя, В.А. Жуковского.

Ключевые слова: И.С. Тургенев, «Степной Король Лир», Шекспир, драматическое, эпическое.

Повести И.С. Тургенева позднего периода творчества отличаются своеобразием жанрового синкретизма – они представляют собой особый тип «взаимодействия эпического, драматического и лирического начал» [1. С. 28], знаменующий новый уровень авторских поисков необходимой художественной формы.

Вопрос о драматизации прозы Тургенева, получивший основную разработку на материале романных произведений [2–6], значимо актуализируется и в рамках жанра повести. В кризисное пореформенное десятилетие у писателя углубляется представление о повести-драме, сформированное ещё в 1850-е гг. [1. С. 73]. Именно в этот период Тургенев приходит к проблеме глубоко драматического наполнения эпического материала – изображению национальной жизни сквозь призму вечной трагедии человеческого существования. Значительным источником в трагическом моделировании оказывается художественный опыт Шекспира (трагедии и хроники), а ярким примером служит повесть 1870-го г. «Степной Король Лир»¹. Драматизация тургеневской повести проявлена, во-первых, на уровнях формальной организации, мотивной структуры, образов героев, пейзажных картин и др.; во-вторых, знаком особой драматической проработки отмечен собственно эпический материал произведения.

¹ В названии повести И.С. Тургенева «Степной Король Лир» слово «Король» пишется с заглавной буквы, так как именно такое написание восстанавливается из материалов чернового и белового автографов повести, хранящихся в Национальной библиотеке Франции (Bibliothèque nationale de France).

Перед написанием повести «Степной Король Лир» Тургенев составил два важных текста, в которых схематически оформилась идея будущего произведения. Во-первых, это «Список действующих лиц», где были перечислены все основные герои и определена их возрастная характеристика. Во-вторых, «Формулярный список лиц нового рассказа», в котором представлено ёмкое описание главных персонажей, впоследствии в почти неизменённом виде вошедшее в текст повести. Тургеневские «списки» совершенно очевидно связаны с драматическим родом литературы. Прежде всего они дают значительную отсылку к предтекстовым элементам комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» – «Действующие лица» и «Характеры и костюмы»¹. В драматическом жанре эта композиционная часть, главным образом, призвана сообщить читателю об основных особенностях действующих лиц и их отношении друг к другу, а также дать рекомендации режиссёру и актёрам при сценическом исполнении произведения. У Тургенева же это оказывается способом собственно авторского оформления замысла. Писатель создаёт своеобразный драматический набросок (остов) для повествования.

В повести означена только одна сюжетная линия, всецело связанная с главным героем. Автор намеренно сосредоточивает внимание именно на развитии судьбы Мартына Харлова, во всей полноте представляя его жизненную драму, хотя второстепенные линии действия не устраниены совсем. Подобно тому, как в трагедии Шекспира «Король Лир» все действующие лица имеют своё лицо, обладают своей индивидуальностью, каждого персонажа повести «Степной Король Лир» автор наделяет собственной историей. Индивидуальная линия героев Тургенева закономерно пересекается или даже включается в общую, «харловскую». Например, уделяется внимание взаимоотношениям отдельных персонажей, в частности Евлампии и Слёткина, акцент на которых писатель значительно усилил в беловом автографе. Но единая линия развития действия, которая из положения относительного покоя движется через катастрофу к трагической развязке, свидетельствует о наличии в повести драматической доминанты. Это подтверждается и тем, как Тургенев на первоначальном этапе творческой работы оформляет основную идею своего произведения.

Немецкий славист Петер Тирген посвятил специальную статью вопросу о синтезе драматического и эпического в ранних романах Тургенева. Изучив на материале писем и критических статей писателя характер его теоретических установок и проанализировав структуру ранних романов, он приходит к выводу, что в основе композиции «Рудина» «лежит драматическое деление на три части» [6. S. 342], а «Дворянское гнездо» организовано «по структурному принципу пятиактной трагедии» [Ibid. S. 344].

¹ Традиция Н.В. Гоголя в повести Тургенева обнаруживается не только в специфике драматической композиции, но и в поэтике речи персонажей. К примеру, оправдание Василия Слёткина после упрёка в недолжном обращении с Мартыном Петровичем напоминает уверения Артемия Филипповича Земляники о принятых мерах в богоугодных заведениях. Это знак особой преемственности гоголевской иронии.

Драматическое начало на уровне формальной структуры можно обнаружить и в повести «Степной Король Лир». Все события развиваются очень быстро, последовательно сменяя друг друга. Динамика повествования также достигается за счёт малого размера глав – в границах небольшого текстового пространства даётся предельно насыщенная картина художественной реальности. Практически каждый отрезок представляет собой законченное целое. В структурном плане повесть разделяется на пять частей – трагических действий, в результате чего выстраивается следующее драматическое деление:

- I акт – главы 1–9;
- II акт – главы 10–15;
- III акт – главы 16–21;
- IV акт – главы 22–28;
- V акт – главы 29–31.

Такое внешнее членение повести основывается на особенностях её драматического построения. *Первые девять глав* выполняют функцию экспозиции (развёрнутой ремарки) – обрисовывают расстановку действующих лиц и указывают на их ключевые характеристики. Автор вводит читателя в психологию главного героя, обозначает основные черты его личности и вносит мотивировку в его решение разделить имение. Для описания других персонажей Тургенев почти в каждом случае уделяет пространство целой главы: Сувенир – V гл., Анна – VII гл., Слёткин и Евлампия – VIII гл., Житков – IX гл.

Последующие шесть глав содержат завязку основного действия – здесь происходит раздел поместья Мартына Харлова. Первая и последняя главы этой части погружены в мортальную семантику (явление смерти, журнал «Покоящийся трудолюбец»).

Следующие шесть глав представляют дальнейшее развитие действия с элементами узнавания. Герой-рассказчик постигает произошедший перелом в судьбе Харлова. В порядке нарастающего драматизма раскрывается положение униженного и оскорблённого героя.

Последующие семь глав содержат кульминацию (катастрофу) и развязку. Высший момент напряжения приходится на «бунт» Харлова – разрушение поместья. Со смертью главного героя прекращает своё развитие коллизия основного действия.

Заключительные три главы составляют эпилог – небольшой рассказ о событиях, которые произошли спустя почти два десятилетия после смерти «степного Лира». Здесь намечается развитие новой драмы, связанной с младшей дочерью Харлова Евлампией.

Практически каждая из драматических частей повести Тургенева отделена от других конкретным временным промежутком, а действие внутри актов занимает определённый отрезок времени:

– в I акте – это общее время протекания событий (описательное время), действие приближено к настоящему моменту, однако есть небольшие экскурсы в прошлое;

– действие II акта разворачивается «в июне месяце» [7. С. 455] и с предыдущей частью связано посредством слова «однажды», события развиваются в течение девяти дней;

– III акт отделён от предшествующего почти тремя месяцами, поскольку его действие происходит в «конце сентября», во временном отношении оно укладывается в четыре дня;

– события IV акта происходят «в половине октября, недели три спустя» [Там же. С. 484] и занимают пять дней;

– V акт рассказывает о встрече героя-рассказчика с Анной и Евлампией пятнадцать и девятнадцать лет спустя соответственно.

Пятиактное устройство повести Тургенева не может не отсылать к подобной же структуре трагедии Шекспира. Безусловно, ни о каком строгом композиционном соответствии двух произведений не может быть и речи. Однако такая организация текстового пространства повести знаменательна. Трагийная форма, использованная Тургеневым в эпическом произведении, служит остродраматическому ходу действия, напряжённому и одновременно динамическому разворачиванию истории «степного Лира».

В содержательном плане элемент трагического оформляется в произведении через устойчивый мотив смерти, проходящий рефреном через всю повесть. Он актуализирует драму жизни главного героя.

Тургенев всегда ясно осознавал, что человек находится «под властью внеисторических, вечных стихий универсальной жизни» [8. С. 99]. Во второй половине своего творчества он проявляет всё больший интерес к сферам таинственного и мистического. Одной из самых загадочных категорий для него была смерть: «Этот страх перед бесконечностью и её земным обликом – смертью – никогда не оставлял Тургенева» [9. С. 32]. С одной стороны, смерть понималась писателем как неотменимая реалия повседневной жизни, а с другой – как проявление непостижимой бытийной силы.

В период работы писателя над «Степным Королём Лиrom» проблематика смерти для него была особенно значима. 22 октября 1869 г. умирает В.П. Боткин, его кончина наводит Тургенева на «философские рассуждения», «невольная грусть закрадывается в душу»¹ [10. Т. 10. С. 68]. Сильно потрясает писателя смерть А.И. Герцена. Тургенев задумывается о смысле человеческой жизни, активности отдельной личности – о чём пишет 22 января 1870 г. П.В. Анненкову: «...что значит так называемая наша деятельность перед этой немою пропастью, которая нас поглощает?» [Там же. С. 128]. За два дня до смерти Герцена – 7 января 1870 г. Тургенев по приглашению Максима Дюкана присутствовал в Париже при подготовке и исполнении казни Жана Батиста Тропмана. Глубоко поражённый увиденным, он посвятил этому «ненужному, бессмысленному варварству» [11. Т. 11. С. 151] отдельную статью.

Кроме того, Тургенев в это время тяжело переживает собственный возрастной период, ощущая себя стариком и не оставляя мысли о смерти: «Перевалившись за 50 лет, человек живёт как в крепости, которую осаждает смерть и непременно возьмёт... Остаётся защищаться – да и без вылазок» [10. Т. 9. С. 154]. В философском письме от 8 ноября 1872 г. к Гюставу Флоберу, пронизанном семантикой увядания и бессилия, он характеризует свои ощущения посредством выражения *taedium vite* – «неприязнь и отвращение ко всему на свете», «грусть пятидесятилетних» [Там же. Т. 12. С. 276–277].

¹ Здесь и далее во всём тексте датировка писем Тургенева даётся по новому стилю.

Индивидуальное состояние драматизма Тургенева усиливают впечатления внешнего мира. Середина 1860-х гг. и начало 1870-х оказались для него временем глубоких общественно-исторических и культурных разочарований и потрясений. Крестьянская реформа 1861 г. не принесла ощущимых результатов и не оправдала возложенных на неё больших надежд. В июле 1870 г. началась франко-прусская война – находящийся в Баден-Бадене Тургенев отказывается покидать страну: «...но я остаюсь здесь – и останусь, даже если б французы пришли: что они могут мне сделать?» [10. Т. 10. С. 216].

Мало сочувственного находил писатель в современной ему российской словесности. 24 июня 1865 г. из Спасского он писал Полине Виардо о «жалком состоянии» русской литературы: «Я пролистал десятка два томов (журнальных), ничего! ничего! Плоская и грязная ругань, изрыгаемая с пеной у рта и как-то по-дурацки, болтовня, пустословие, ни тени какого-нибудь нового таланта, настоящая пустыня!» [Там же. Т. 6. С. 225]. Спустя три года Тургенев будет с разочарованием и одновременно с негодованием говорить о новейших произведениях А.А. Фета («выдохся до последней степени») [Там же. Т. 8. С. 99–100], Н.А. Некрасова («жеваное папье-маше с поливкой из острой водки») [Там же], И.А. Гончарова («всё старо, старомодно, условно») [Там же. Т. 9. С. 127] и т.д.

Однако в этом ощущении всеобщего кризиса Тургеневу всё же удаётся различить следы произошедших перемен – «...это не обвал... еще не обвал, но это сдвиг, всеобщее, хоть подчас и неуловимое изменение нравов, состояний, всех классов общества» [Там же. Т. 6. С. 224]. Очень значимо, что немного позже из всех современных литераторов он с большим уважением отзовётся о Л.Н. Толстом, Ф.М. Решетникове и М.Е. Салтыкове. Главным образом, Тургенев высоко оценивает их способность во всей полноте изобразить правду русской жизни и выразить народный дух.

В повести «Степной Король Лир» Тургенев приходит к осмыслению категории смерти через шекспировский образ. Мортальная проблематика в трагедии Шекспира тесно взаимосвязана с философским вопросом вины и безвинности человека, который ставит сам Лир. На время лишённый чувства действительности, «причудливо убранный цветами» [12. С. 124], король произносит: «Нет в мире виноватых! Нет, я знаю!» [Там же. С. 144]. В безумном состоянии он постигает закон мирозданья: человеческие страдания, как и радости, являются следствием действия универсальной надличностной силы – смерти. Она вносит изначальный трагизм в само существование человека, поэтому перед её лицом любые различия стираются, всё уравнивается, и поиск виноватых оказывается бессмысленным. Испытав на себе жестокость мира, король Лир «не может принять жизнь в том виде, в каком она ему предстала. Но он не отвергает жизни, не ищет небытия» [13. С. 16–17].

Риторическое восклицание Лира Тургенев превращает в антиномию, дополняя его словами «нет и правых». Он впервые говорит об этом в повести «Переписка» (1854): «Да и кто, скажите на милость, кто бывает когда-нибудь в чём-нибудь виноват – один? Или, лучше сказать, все мы виноваты, да винить-то нас всё-таки нельзя. Обстоятельства нас определяют; они наталкивают нас на ту или другую дорогу, и потом они же нас казнят» [11. Т. 5. С. 26]. Здесь писатель акцентирует внимание на философском вопросе о сущности

свободы человека. По мысли Тургенева, «каждый делает свою судьбу, и каждого она делает» [11. С. 26]. Судьба – это стихия, которая «разрушительно или спасительно действует на нас же» [Там же].

Глубокие размышления о судьбе человека Тургенев продолжает в философском очерке «Довольно» (1865). Давая оценку своему времени, писатель говорит, что «если бы вновь народился Шекспир, ему не из чего было бы отказаться от своего Гамлета, от своего Лира» [Там же. Т. 7. С. 227], и он «опять заставил бы Лира повторить своё жестокое: “нет виноватых” – что другими словами значит: “нет и правых”...» [Там же. С. 228].

В письме к Ю.П. Бревской от 30 января 1877 г., где речь зашла о примирении Тургенева с тяжелобольным Некрасовым, писатель вновь использует слова британского короля: «нет виноватых», прибавляя к ним: «да нет и правых» [10. Т. 15, кн. 2. С. 28]. В этом же году Тургенев пишет стихотворение в прозе «Дрозд» (II), лирический герой которого ничтожности своей меланхолии противопоставляет ужас солдатских ранений (русско-турецкая война). В рассуждении о бессмысленности кровопролития снова звучит – «ни правых тут нет, ни виноватых» [11. Т. 10. С. 177]. Наконец, в письме к Л.Я. Стечканиной от 25 января 1879 г. он пишет: «Если бы не существовало герценовского романа – я бы назвал Ваше произведение “Кто виноват?”. К нему ещё лучше бы шло шекспировское (в “Лире”): “Ни правых, ни виноватых”. <...> Дядя-воспитатель виноват в том, что стало из Вареньки; но в его вине – кто виноват? Опять-таки стихия русской жизни» [14. С. 18]. Противоречие, которое выстраивает Тургенев с помощью слов Лира, передаёт, прежде всего, драму положения человека и изначальную драму самой жизни. Парадоксальная в своей основе «стихия русской жизни» бросает человека из стороны в сторону, подвергая постоянным испытаниям и дезориентируя его¹.

Проблема смерти, являясь одной из превалирующих в «Степном Короле Лире», получает расширенное содержание во время авторской работы над черновым и беловым вариантами повести. Впервые мортальная семантика вводится в главе IV, которая отсутствовала в черновом автографе. В беловой тетради Тургенева вклеен дополнительный листок между страницами 6 и 7 (нумерация чернилами Тургенева), на котором дано описание меланхолического состояния героя [16]. Меланхолия Харлова – это следствие его раздумий «о бренности, о том, что всё пойдет прахом, увияет, яко былие; прейдет – и не будет!» [7. С. 447].

Характер рассуждений Мартына Петровича перекликается с определением меланхолии В.А. Жуковского: «...грустное чувство, объемлющее душу при виде изменяемости и неверности благ житейских» [17. С. 383]. Подобную неуверенность в «житейских благах» испытывает и герой Тургенева, он

¹ В некотором смысле философские размышления Тургенева перекликаются со взглядами Л.Н. Толстого, который в конце 1870-х гг. неоднократно высказывает мысль об «отсутствии виноватых». В 1908 г. Толстой начал работать над произведением, которому дал заглавие «Нет в мире виноватых». Об этом замысле Толстой так рассказывал Н.Н. Гусеву: «Мне вот именно, если бог приведет, хотелось бы показать в моей работе, что виноватых нет. Как этот председатель суда, который подписывает приговор, как этот палач, который вешает, как они естественно были приведены к этому положению, так же естественно, как мы теперь тут сидим и пьем чай, в то время, как многие зябнут и мокнут» [15. С. 152].

задумывается о преходящем свойстве всего земного и его бессмысленности перед лицом смерти. Во время повторяющихся приступов меланхолии Харлов пытается разобраться в смысле собственного существования – это борьба между необходимостью смирить себя, свою эгоистическую природу и нежеланием отказаться от прав «гордого владельца».

Принять окончательное решение герой пока не может, но для постоянного напоминания и поиска выхода он окружил себя своеобразными меланхолическими атрибутами. Во-первых, это масонский журнал «Покоящийся трудолюбец» (первоначально вместо него была псалтырь), через который к Мартыну Петровичу приходит мысль о несовершенстве собственной души и в котором он пытается найти «программу улучшения». Во-вторых, «заунывная песенка», которую поёт своему хозяину казачок Максимка. Полный текст этой, по всей видимости, народной песни автор не приводит и лишь передаёт отдельные звуки в специфике максимкинского пения: «И... и... э... и... э... и... Ааа... ска!.. О... у... у... би... и... и... ла!» [16]. Однако в последней череде звуковых сочетаний можно точно прочитать одно слово – «убила». То есть «заунывная песенка», очевидно, несёт в себе мотив убийства, что встраивает её в общий характер размышлений Харлова. В-третьих, это картинка с горящей свечой и дующими на неё со всех сторон ветрами. Такое аллегорическое изображение имело для Харлова символ извечных тягот человеческого существования – жизнь как неизбыточное давление смерти.

Однако до сих пор раздумья Мартына Петровича не несли за собой серьёзных последствий, сам герой не решается что-либо предпринять. С одной стороны, к нему ещё не пришло окончательное понимание неизбежности смерти и он надеется на абсолют собственной природной мощи, а с другой – пока не получает извне какого-либо подтверждения своей тягостной рефлексии. Поэтому меланхолический припадок Харлов обычно прерывает самостоятельно, противопоставляя ему лихую езду – «нам, мол, теперь всё – тряпин-трава!» [7. С. 447]. И рассказчик здесь многозначительно замечает: «Русский был человек!» [Там же. С. 65]. Философским мыслям Мартына Петровича о значении жизни и смерти противостоит глубоко народная черта характера – удалое отрицание и пренебрежение всякой опасностью.

Коренным переломом происходит в судьбе Харлова после «сонного мечтания». Суеверное сознание героя принимает сон о «вороном жеребёнке» за явление самой смерти, непосредственный знак действия «сил свыше». «Вороной жеребёнок» представляет собой мистический символ «фатальной неизбежности, посредством которого событиям сообщается характер значимости и величия» [18. С. 118]. Он обозначает установку на «неизбежность трагическойвязки» [Там же. С. 120] и оказывается своеобразным отголоском мотива солнечного и лунного затмений, о котором говорит шекспировский Глостер: «These late eclipses in the sun and moon portend no good to us» [19. Р. 1058] («Нет, эти последние солнечные затмения не пророчат ничего доброго» [12. С. 64]. Сподвижник Лира видит в этих явлениях признак нарушения природных законов: день смешался с ночью, их самостоятельные границы стёрты. Он связывает хаос природы с расстройством общего миропорядка, в том числе и с разрушением семейных устоев. Затмения, являясь общим сим-

волов бед и несчастий, в трагедии Шекспира усиливают масштаб звучания личной драмы героев.

В черновом варианте X главы Тургенев тщательно работает над сценой неожиданного появления Харлова в доме Натальи Николаевны и последующего объявления принятого им решения. На полях рукописи он дополняет начало этого эпизода вторичным приходом Мартына Петровича к своей «благодетельнице» («На следующее утро...») [20], указывая на его смятенное, беспокойное состояние. Здесь же писатель делает помету – «на стр. 21» и на следующей странице на полях рядом с пометой «на стр. 20» [Ibidem] вставляет небольшой диалог Харлова и матушки рассказчика о смерти («вы о смерти как полагаете?») [Ibidem]. В беловой редакции эта глава пополняется фразами героя: «Готовься, мол, человече!» и «Не за горами смерть – за плечами» [16], а также завершающим замечанием Натальи Николаевны после ухода гостя (вписано между строк): «Ты заметил, он говорил, а сам будто от солнца щурился; знай – это примета дурная. **Нложе Тяжело** на сердце у того человека» [16].

Атмосфера X главы проникнута меланхолическим настроением главного героя, которое постепенно переходит в отчаянный страх. Явление «вороного жеребёнка» становится для Харлова символом печальной неизбежности смерти. Однако масонский журнал Н.И. Новикова вносит в это понимание дополнительную интерпретацию – смерть ещё и как осознание несовершенства собственной души, греховности земного существования. В результате меланхолический настрой героя трансформируется в глубокую скорбь (по определению В.А. Жуковского, скорбь «есть состояние души, томимой внутренней болезнью, из самой души истекающейю») [17. С. 385].

Своё решение разделить имение в XII главе Харлов объясняет перед собравшимися тем, что его «немощи одолевают» и «смертный час, яко тать в ноши приближается» [7. С. 462]. Автор подчёркивает эту мотивировку, дополняя в черновом автографе слова героя (вписано между строк): «так как уже и предостережение мне было» [20]. Приближение смерти как причина внезапного решения значима для самого героя, поэтому он делает её гласной и демонстрирует окружающим своё желание удалиться от всех дел и начать подготовку к «смертному часу».

Герой-рассказчик фиксирует изменение выражения харловского лица после объявленного решения: «Вообще я заметил, что на Харлова, по совершении акта, нашла не то грусть, не то усталость. Лицо его снова побледнело. Это новое, небывалое выражение её грусти на её лице М.П. так мало шло к его пространным и дюжим дебелым чертам, что я истинно нраво проехал изумлен решительно не знал, что подумать» [20]. Многочисленные исправления в черновом автографе свидетельствует о напряжённой работе автора в стремлении с наибольшей точностью передать психологию состояния Мартына Петровича. В беловом варианте появляется последнее добавление (вписано между строк) к размышлениям повествователя: «Уж не меланхolia ли на него находит?» [16].

Делая акцент на меланхолическом состоянии Харлова, Тургенев усиливает мистическое предчувствие им собственной смерти. В главе XV Наталья Николаевна спрашивает у своего соседа, бегают ли ещё муравьи по его руке,

на что Мартын Петрович реагирует так: «...раза два сжал и разжал ладонь левой руки. – Бегают, сударыня, – промолвил он со вздохом и понурился» [20]. Этот ответ в печатном варианте повести получил продолжение: «...как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: «берегись, берегись!» [7. С. 469]. О дополнении харловской фразы Тургенев думал ещё во время работы над беловой рукописью: после слов «промолвил он со вздохом» писатель поставил знак «#», намереваясь, по-видимому, позже вернуться к этому месту. Кроме того, на полях черновика автор вписывает признание героя в том, что «ему страшнее всего умереть без покаяния, от удара» [20]. В этой главе рассказчик также обращает особое внимание на мимику Мартына Петровича: «Выражение грусти снова появилось на его лице, и он снова понурился» [16].

На полях белового автографа Тургенев вписывает целую сцену, во время которой погружённый в тяжёлые раздумья Харлов просит Наталью Николаевну объяснить ему смысл одного текста «о смерти»: «и ~~внезапно~~ вдруг быстрым движением достав из кармана том «Покоящ. трудолюбца, ~~вручил~~ сунул его в руки матушке». – Что такое? – спросила она. – Прочтите вот тут, – торопливо промолвил он, – на стр. о смерти. ~~Не понятно Совсем~~ Сдаётся мне, что очень <нрэб.> хорошо сказано, а понять не могу – Не растолкуете мне, что и как» [Ibidem].

Таким образом, Тургенев второй раз вводит в свою повесть содержание журнала Н.И. Новикова, вновь заостряя внимание на нравственно-философском понимании смерти русскими масонами. Отрывок из журнала писатель в первом беловом автографе ещё не помещает (вероятно, это будет сделано при подготовке повести к публикации), однако он специально оставляет для него на полях место после слов: «На стр., отмеченной Харловым, стояло след.» [Ibidem]. Чуть ниже описывается реакция Натальи Николаевны на «этот пассажик»: «~~вскрикнула~~ воскликнула: «Тыфу!» – и бросила книгу в сторону» [Ibidem].

Совершив раздел имения, Харлов, согласно принятой им масонской «программе» совершенствования души, должен был почувствовать себя легче и продолжать исправлять свою греховную природу. Но – «каким-то образом не ^{показывая} выражавшим(авиши)ением ^{своего лица, что ему действительно стало легче} ~~этого облегчения на своём лице~~» [20] – высказанная Евлампией непокорность (недостаточная благодарность) заронила в нём мучительные сомнения. В результате Мартын Петрович оказывается переполнен внутренними противоречиями: страх смерти, желание спасти свою душу, сомнения в правильности решения и гордыня.

Тщательно Тургенев разрабатывает драматическую ситуацию у пруда, диалог рассказчика с Мартыном Петровичем – глава XXI. Глазами повествователя он передаёт необычайность внешнего вида героя, который чётко оформился уже в первой рукописи: «Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам нанковом кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле» [Ibidem]. Тургенев вносит большие изменения в разговор героев, увеличивает количество реплик, придаёт им особое качество. Так, на полях вписывается вопрос Харлова о здоровье Натальи Николаевны: «Здравствует? – пробормотал он, погодя немножко» и ответ её сына: «Матушка моя здорована» [Ibidem]. Очевидно, что Мартын Петрович спрашивает об этом, со-

вершенно не задумываясь над смыслом собственных слов, – его занимают совсем другие мысли. Поэтому на упрёк мальчика в отказе приехать в дом к «благодетельнице» он отвечает неожиданным вопросом: «А был ты там?» [20].

Сидя с удою на берегу пруда, Харлов поглощён единственной думой о неблагодарности Евлампии и Анны. Делая упор на это разъедающее состояние, писатель вводит в речь главного героя (на полях белового автографа) небольшое и единственное воспоминание о собственном отце: «...отец у меня... а я его уважал – во как! не то, что нынешние... Отхлестал отец меня арапником – и шабаш! Полно баловаться! Потому я его уважал... У!.. Да» [16]. Примечательно, что обрабатывая черновой вариант этой главы, писатель устраниет из реплик Харлова практически все местоимения со значением принадлежности, которые тот использует, описывая новые порядки в усадьбе: «Там, на моей усадьбе?», «у меня там теперь», «Володька у меня на все руки», «они тоже у меня хозяйки» [20]. Это изъятие служит цели показать произошедшую отстранённость отца от дочерей, перелом в сознании Мартына Петровича.

На полях чернового автографа Тургенев делает существенное дополнение к диалогу героев. Сын Натальи Николаевны призывает Харлова «оказать презрение, да... именно презрение... и не тосковать» [Ibidem], при этом неосторожно напоминая ему обо всех бедах и лишениях: «Я знаю, как Ваш зять с вами поступает – конечно, с согласия Ваших дочерей. Я сам видел Вашу лошадь у мужика», «Вы поступили неосторожно, что всё отдали вашим дочерям», «Ваши дочери так неблагодарны» [Ibidem]. Такое напоминание только растревляет рану Мартына Петровича и заставляет его всё более раздражаться. Итогом становится взрыв, ярость героя вырывается наружу, и Харлов грозит юноше смертью: «Уйди, говорят... а то убью!» [Ibidem]. Этую угрозу он повторяет троекратно, а затем прибавляет: «Возьму да брошу тебя в труху^{в/воду}» [Ibidem].

Работая над этим отрывком, Тургенев стремится уточнить особенность внешнего проявления душевной бури героя: «с со скрежетом зубов и глаза его, установленные на пруд, засверкали злобно», «Диким стоном, рёвом вырвался голос из его груди – но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотрел на пруд прямо перед собою» [Ibidem]. Довершается картина контрастным изображением облика Мартына Петровича, объятого яростью и горько плачущего: «“Он с ума сошёл”, – мелькнуло у меня в голове. Эта мысль тем естественней принесла мне в голову, что я в изумлении увидел, я не смотрел взглянул на него, что за чужое и остолбенел откровенно: что М. П. пла(чет)кал!.. Две слезинки за слезинки быстро (е)катились с его ресниц на а щекам а лицо приняло выражение лица совсем свирип(ею)ое» [Ibidem].

«Взрыв» Харлова на берегу пруда – это первая попытка его гнева вырваться наружу, первое проявление огромной мощи оскорблённой гордости, которая стремится восстановить своё абсолютное право. Герой-рассказчик, пытаясь помочь, своим увещеванием только распаляет уязвленное самолюбие Мартына Петровича и наводит его на мысль о кровавой мести – убийстве. Подобным образом уже с целью злой насмешки будет действовать Сувенир – под напором его издевательств Харлов во власти гнева и ненавистибросится разрушать кровь.

В кульминационной сцене – суд и возмездие Харлова – Тургенев вводит важное сравнение психологического состояния героя с самочувствием ожидающего казни Тропмана. Писатель старается точнее оформить эту внезапно и ненадолго возникшую черту сходства: «^{на лице его} Сколько я мог разобрать – ^{виднелась} странная усмешка, светлая, ^{появилась} даже весёлая – ^{и тем самым более особенно} страшная… недобрая усмешка. Я видел потом такую ^{же} точно ^{улыбку} ^{усмешку} на лице одного к смерти приговорённого ^{человека}» [20]. Почти в неизменном виде это описание перешло в беловую редакцию повести. «Улыбка удовольствия», появившаяся на лице Тропмана, вступает в противоречие с его положением. Он жестокий убийца, которого ждёт гильотинирование, однако за полчаса до собственной смертной казни ему удаётся испытать подетски невинное удовольствие.

В случае Харлова противоречив сам вид усмешки – она одновременно и светлая, весёлая, и страшная, недобрая. В этой «странной» насмешливой улыбке герой-рассказчик словно увидел отпечаток смерти. Усмешка Мартына Петровича стала внешним проявлением внутреннего чувства превосходства и достигнутого возмездия: «Что, дочка? – отвечал он и пододвинулся к самому краю стены» [Ibidem]. Глядя сверху вниз на находящуюся в смятении, беспомощную и готовую раскаяться Евлампию, Харлов не может не испытать мимолётного удовольствия – разрушение кровя сделали своё дело, и теперь он снова, хоть и ненадолго, получил назад отцовскую власть. Временное превосходство над всеми ощущил и Тропман – окружённому взыванными и испытывающими сильное неудобство зрителями, ему удаётся держаться спокойно и непосредственно: «ничего не изобличало в нем не скажу страха, но даже волнения или тревоги. Мы все были, без сомнения, и бледней и встревоженней его» [11. Т. 11. С. 143].

Необходимо заметить, что сам эпизод с разрушением кровя ассоциативно напоминает сцену казни: главный герой находится на большом возвышении, а внизу его окружает множество людей, внимательно за ним наблюдающих и ждущих совершенно определённойвязки. Итогом становится смерть. Интересно, что в черновом автографе Тургенев говорит о предрешённости печального исхода разрушительных действий Харлова: «совершилось то, что ^{его} давно следовало ожидать» [20].

Глава XXVIII посвящена изображению последних минут жизни Мартына Петровича и собственно его смерти. Тургенев подробно описывает кончину Харлова, уточняя даже мелкие детали, попавшие в поле зрения повествователя, внося многочисленные исправления в черновую редакцию. Эта сцена монументальна по своему построению и отмечена высоким напряжением в эмоционально-психологическом оформлении. Харлов умирает медленно и мучительно, пытаясь в нескольких мгновениях осознать произошедшее и подвести своеобразный итог. С безжизненным лицом («“Дух отшибло”, – ^{говорили} ^{пробормотали} подошедшие мужики») [Ibidem], наполовину обездвиженный, дважды словно вырываясь из окончательного забытья, герой производит короткие, но ключевые для себя фразы.

Во-первых, Мартын Петрович говорит, что его «сонное мечтание» всё-таки сбылось, и смерть за ним явилась в облике пресловутого «жеребёнка»: «Ну, теперь конец ^{вот он, вороной жеребёнок}» [Ibidem]. Тут же он добавляет: «Те-

перь вла..дайте, детки...» [20], будто предоставляя своим обидчикам полную свободу и избавляя их от бремени собственного существования.

Во-вторых, Харлов «замиравшим голосом» делает попытку окончательного объяснения с Евлампией – прощаясь с дочерью, он произносит: « \sqrt{Hy} , доч...ка... $\sqrt{tебя... я не про...}$ » [Ibidem]. Неясность последних слов отца – не то прощение, не то проклятье – тяжёлой терзающей ношей ложится на душу Евлампии. Вероятно, эта угнетающая неизвестность сыграла определяющую роль в её решении покинуть родовое имение и пуститься в странствие.

Кроме того, особое значение в этой главе отдаётся внешнему виду и поведению Евлампии, пристально наблюдающей за последними мучениями «степного Лира». В своём внутреннем переживании она уподобляется отцу, точно принимая на себя его страдания, разделяя их. Тургенев в этом описании особенно концентрирует внимание на изменении внешнего облика героини, внося значительные дополнения в первую рукопись: «Евлампия $\sqrt{\text{бледная, как сама смерть}}$ стала $\sqrt{\text{прямо}}$ перед отцом, $\sqrt{\text{неподвижно устремив на него свои огромные страшные глаза}}$ » и « $\sqrt{\text{но вдруг}}$ ноги Харлова как-то безобразно повело и живот тоже, $\sqrt{\text{и по лицу, снизу вверх, прошла неровная, екверная судорога}}$ $\sqrt{\text{Феномено-отозвалась}}$ Почти т(ем)ак же $\sqrt{\text{затрепет(ом)ало и затрепетало скривилось}}$ исказилось лицо Евлампии» [Ibidem].

Евлампия находится в состоянии высшего напряжения, всем существом отзываясь на страдания Мартына Петровича. Кончина отца оставляет на ней отпечаток смерти. Эта психологическая связь, проявленная в момент трагедии, не только снова указывает на особую родственность отца и младшей дочери, но и подчёркивает символическую значимость перспективы дальнейшего развития жизненной драмы героини.

В следующей, XXIX главе герой-повествователь пытается уложить в своём сознании всё, что им было увидено и испытано. Он же подводит своеобразный итог случившемуся и даёт ему заключение, основу которого составляет рассуждение о смерти: «Как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная общая (не в одних частностях) перемена, постоянно вызываемая $\sqrt{\text{во всех людях}}$ $\sqrt{\text{тот не}}$ $\sqrt{\text{сердцах неожиданным или ожиданным (всё равно!)}}$ появлением смерти, ее $\sqrt{\text{неизбежная}}$ $\sqrt{\text{неизменная}}$ торжественность, важность и правдивость – не могли не поразить меня» [Ibidem].

Гибель Харлова производит на окружающих точно такой же эффект, как и смерть короля Лира в трагедии Шекспира. «Торжественность, важность и правдивость» – это признание правоты и величия героя, грандиозности его страданий. В случае же Тургенева это также и грозный суд над виновными. Здесь отражена специфика философского отношения автора к категории смерти – восприятие её как абсолютной силы, неизменно являющей себя и «отменяющей все расчёты» [21. С. 106].

Особое место в драматическом оформлении повести занимает изображение состояния непогоды, предваряющее бунт и гибель героя. Не отличаясь большим текстовым объёмом, это описание в то же время представлено развернуто и подробно. Писатель даёт рисунок ненастного октябряского дня, вид которого открывается герою-рассказчику из окна его комнаты. Это своеобразная картина с удаляющейся перспективой (двор и дорога), но дающая возможность заглянуть за рамку своего изображения.

Каждый предмет, на котором останавливается взгляд повествователя, словно в себе самом несёт частицу общего хаоса природы: «^н^у низкое безо всякого просвета небо из неприятного белого цвета переходило в свинцовый ещё более зловещий цвет», ветер «то глухо завывал, то свистал», дождь «лил, лил ^{неумолчно и} не(бее)престанно, внезапно становился ещё ^{крупнее} ^и ^{енъинее} и ^{скрипел?} ^{внѣжа} и ^{бѣ} стучал по стёклам словно цепляясь ^и за них» (писатель пытается подобрать наиболее точный и выразительный глагол), по лужам «^н^урыгали вскаивали и <^н^{рзѣб.}> скользили ^{кружили} волдыри; грязь по дорогам ^{была} ^{залегла} невылазная» [20].

Олицетворённость природного мира обладает особой выразительностью – явления стихии будто мифологизируются автором. Работая над созданием этой картины, писатель сознательно сгущает краски, представляет отрицательную характеристику в явно нарастающем виде. Показательно одно существенное дополнение, внесённое Тургеневым перед самой публикацией повести (вероятно, во второй редакции белового автографа): листья, лежащие в лужах, он называет мёртвыми: «везде стояли засоренные мёртвыми листьями лужи» [7. С. 484]. Эта конкретизация становится вершинным моментом драматического описания – автор именно драматизирует изображение природы, раскрывая бедственнуюность её положения.

Природная драма всецело распространяется на душевное состояние героя-рассказчика, лишь наблюдающего за всем происходящим. Сам он вначале мысленно констатирует отрицательную тональность своего настроения – «уныло посматривал» [20], вызванную ненастьем за окном. А завершая описание, герой заостряет внимание на пронизывающем холоде, который «проникал в комнаты, под платье, в самые кости» [Ibidem]. Для верbalного выражения своего ощущения повествователь выбирает слово «дурно», подчёркивая точность его соответствия: «^у^ж как дурно становилось на душе... ^{даже} ^н^а не грустно – а ^и не ^{именно} дурно» [Ibidem]. Перед самой публикацией Тургенев вносит важное дополнение, которое завершает всё описание и конкретизирует самочувствие рассказчика: «Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок, а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая – и ветер будет вечно пищать и ныть!» [7. С. 485].

Трагическая тональность этого пейзажа явила своеобразным резонатором, вобравшим в себя трагедию Мартына Петровича и воспроизведшим её своими средствами в многократном усилении. Безысходность ощущаемых рассказчиком тоски и тревоги – это не только чувственное воплощение окружающего драматизма, но и предвестье трагической развязки. Интересно, как перекликается пейзажная зарисовка с параллелью, которую выстраивает Тургенев между русской природой и Шекспиром в письме к Л.Н. Толстому от 15 января 1857 г.: «Он – как Природа; иногда ведь какую она имеет мерзкую физиономию (вспомните хоть какой-нибудь наш *степной октябрьский* (курсив мой. – И.В.), слезливый, слизистый день) – но даже и тогда в ней есть необходимость, правда, и <...> целесообразность» [10. Т. 3. С. 181].

II

Другая сторона драматического оформления произведения – это внесение трагического в собственно эпический материал. Тургенев ведёт тщательную работу (от чернового и белового автографов до самого момента журнальной публикации) по эпическому наполнению повести, включает в её содержание элементы, которые уже изначально по своей характеристике отмечены знаком жизненной драмы.

Эпизадия связана, во-первых, с принципами повествовательной структуры и способом речевой организации произведения. «Степной Король Лир» обнаруживает усложнённую нарративную композицию, основанную на введении нескольких субъектов речи. Всего в повести можно выделить пятерых повествователей: прежде всего, это собственно автор, который начинает и заканчивает своими словами услышанную им историю Харлова, и рассказчик, обращающийся к воспоминаниям своего прошлого. Последнему автор отдал право быть свидетелем разворачивающейся драмы «степного Лири», помещая его в центральные моменты кризиса харловского существования и воспроизводя через психологию его ощущений шекспировский накал страсти.

Этот повествователь предстаёт в произведении в трёх возрастных категориях: юный («Всё мое детство, – начал он, – и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки...» [7. С. 441]), восприятию которого отдано почти всё происходящее; – молодой, повстречавшийся больше пятнадцати лет спустя с Анной; зрелый, которому ещё «года четыре после» [Там же. С. 505] предстояло увидеть Евлампию.

Такая множественность повествователей расширяет и временную конфигурацию, разделяя хронологию происходящих событий на три периода: 1840, 1850 и 1870-е гг. К первому – основному – промежутку относится развитие всей трагедии героя, ко второму – две значимые встречи рассказчика с дочерьми Харлова, третий период вбирает в себя предыдущие, оформляя рамочную структуру. Также очень характерны тургеневские обозначения временных интервалов, переходов из одного событийного отрезка в другой. Эти слова и словосочетания в большинстве своём указывают либо на неопределённость срока, один момент из многих – «однажды», «в один зимний вечер», либо на его приблизительность – «дня через три», «недели три спустя», «года четыре спустя». Такая их смысловая наполненность подчёркивает протяжённость времени, обозначает его замедленный ход. Необходимо заметить, что последние выполняют важную связующую функцию, скрепляя между собой главы и выстраивая единую повествовательную линию (к таким словам также относятся: «в назначенный день», «на следующий день», «на другой день»).

Во-вторых, эпическое наполнение повести происходит за счёт введения в её содержание множества национально-исторического и культурного материала. Эти элементы расширяют художественное пространство, углубляют проблематику образов и вносят дополнительные аспекты в интерпретацию всего произведения.

Если обратиться к историческому плану, то главными здесь оказываются контекст русского Средневековья и героический пласт Отечественной войны

1812 г. Обращаясь к эпохе средневековой Руси, Тургенев вводит в текст масштабную личность царя Ивана Грозного [22].

Героика 1812 г. входит в повесть через образы главного персонажа и его лошади. Харлов является непосредственным участником Отечественной войны – «служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке» [7. С. 446]. О войне с Наполеоном у Мартына Петровича сложилось своё собственное представление, которое противоречит устоявшемуся ореолу доблестного ратоборства. По его словам, «никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародёришки с голодухи набежали», и «он много этой швали по лесам колачивал» [Там же. С. 446].

Это взгляд обыденного, провинциального сознания, однако важно, что герой твёрдо считает себя частью той силы, которая защищала Отечество от врага. Он гордится своим участием в «поколачивании французов» и большое значение придаёт предметам, которые напоминают об этом героическом прошлом, – ополченский казакин, сабля и медаль. Показательно, что во время торжественного раздела имения Мартын Петрович окружает себя этими знаками воинского подвига. Кроме того, воином, защищающим поруганные честь и достоинство, ощущает себя Харлов во время разрушения крыши нового флигеля.

Другим «героем» 1812 г. является лошадь Мартына Петровича – « чахлая, тридцатилетняя кобыла, со шрамом от раны на плече» [7. С. 444]. Лошадь принимала участие в Бородинском сражении, где и получила ранение. Рассказчик подчёркивает необычность её внешнего вида и поведения: «...постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцой, вприпрыжку; ела она чернобыльник и полынь по межам» [Там же]. Её физическая ущербность, безусловно, отсылает к Росинанту, неуклюжему и изнурённому коню Дон Кихота. Ярко комическое описание лошади придаёт ироническое звучание фигуре Харлова: «...я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть» [Там же].

Большое значение имеют сравнительные характеристики, которые использует Тургенев в процессе разработки образа Мартына Харлова. Автор сопоставляет или намечает перспективу для сопоставления провинциального помещика с тремя значительными личностями мировой истории – Навуходоносором, Кромвелем и Наполеоном. Каждый из них представляет собой грандиозный человеческий характер, отличительной чертой которого были непомерная гордыня и жажда власти.

В третьей главе чернового автографа повести Тургенев на полях делает помету: «Кромвель». Это указание он чернильной линией относит к месту, где идёт описание моральных качеств героя: «^{человек} он был честный, ^{ни в ком} не заискивал» [20]. Дальнейшего распространения это сравнение здесь не получает, а во второй редакции повести имя английского протектора уже не упоминается. Несостоявшаяся параллель с Оливером Кромвелем могла бы дать интересный материал для интерпретации личности Мартына Петровича. С одной стороны, вождь Английской революции мог бы усилить героический ореол его образа, подчеркнуть силу и мощь характера. С другой стороны, че-

рез такое соположение получила бы дополнительное звучание «царственная» природа главного героя – Кромвель как деспот, изменивший своим свободолюбивым принципам и возжаждавший абсолютной власти. Эти две противоположные характеристики обозначают противоречивую природу личности.

Сопоставление Харлова с Наполеоном Бонапартом также не получило продолжения, хотя Тургенев явно обозначил план для их общей характеристики. В девятой главе чернового варианта, представляя торжественный и важный вид Харлова в момент перед разделом имения, рассказчик вводит фигуру французского императора словами «сам Наполеон не мог бы выразить» [20]. Но далее это сравнение обрывается, Тургенев вычёркивает его. Вероятно, автор хотел придать дополнительный акцент величественному облику Харлова, его «уверенности в себе, в своей неограниченной и несомненной власти» [7. С. 460]. Однако представление Харлова в этом упоминании собственным всевластием через сравнение с Наполеоном приобретало явный иронический оттенок. Возможно, Тургенев устраивает имя полководца, желая придать большую серьёзность образу провинциального помещика и исключить излишнюю прямолинейность и однозначность его трактовки.

Ещё одна важная параллель, которую использует Тургенев, связана с личностью Навуходоносора, легендарного царя Вавилона. Это имя появляется уже во время кропотливой работы автора над первой редакцией повести. В двадцатой главе, описывающей сцену признания Харловым своей вины, обличения собственной страсти гордыни («гордость погубила меня») [20], Тургенев делает на полях надпись: «не хуже и царя Навуходоносора» [*Ibidem*]. Что особенно важно, эта фраза вложена в уста именно самого героя. Мартын Петрович, осмысливая полноту вины и справедливость наказания, ощущает себя подобным вавилонскому царю. Так же, как и Навуходоносор, Харлов жестоко поплатился за высокомерие. Кроме того, такая аналогия подкрепляется мотивом превращения возгордившегося человека в дикое животное, которое вынуждено одиноко скитаться. В шекспировскую образность здесь включается аллюзия на пророческий сон Навуходоносора, который был истолкован Даниилом: «...тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола, росою небесною ты будешь орошаем» (гл. 4., ст. 22).

Устранивая сопоставление с Кромвелем и Наполеоном, Тургенев, с одной стороны, увеличивает серьёзность изображения главного героя, поскольку в первоначальном замысле большое место занимала сатирическая окраска его облика. С другой стороны, писатель избавляется от характеристик, определяющих категоричность и резкость прочтения образа Мартына Харлова. Фигура гордого помещика существенно усложняется, соответственно, автор пытается избежать односторонности трактовки. Кроме того, личности английского и французского тиранов к тому времени уже успели вобрать в себя дополнительные культурные смыслы, которые могли не соответствовать художественному замыслу Тургенева. Введение же имени Навуходоносора, наоборот, послужило акцентированию рефлексивной природы Харлова и его «клировской» сущности.

Значительную проработку в повести получает культурный план. Его актуализация происходит, во-первых, за счёт введения жанров русского фольк-

лора; во-вторых, благодаря включению масонского материала. Элементы устного народного творчества проходят своеобразной пунктирной линией от начала до конца произведения. Прежде всего, в фольклорной символике исполнен образ Мартына Харлова. Его колоссальная фигура и необычайная физическая мощь делают прямую отсылку к герою русских былин. Богатырём Харлов оказывается именно в крестьянском сознании. Он даже становится персонажем местных народных легенд: «рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень» [7. С. 442].

Другой значимой деталью является суеверная природа героя, его предрасположенность к народным приметам. Главным образом это проявилось на примере «сонного мечтания» Харлова. «Вороного жеребёнка», увиденного им во сне, он принимает за предзнаменование близящейся кончины¹. Тургенев в повести «явно играет словами „конек“ и „жеребёнок“» [23. С. 247], отсылая, во-первых, к мортальному символу чёрной лошади, и, во-вторых, к народному поверью «о “коньке” или “князьке” как о “вещей” примете скорой смерти...» [Там же].

Важный слой фольклорного текста включается в повесть через образ Евлампии. Дважды глазами героя-рассказчика даётся изображение младшей дочери Харлова в момент пения. Первоначально это происходит лишь в форме простого упоминания, рассказчик ограничивается описанием голоса героини – «ровный, сильный, несколько резкий, прямо крестьянский» [Там же. С. 454]. Затем, в момент встречи Евлампии и Слёткина в Еськовской роще, повествователь слышит и воспроизводит «известные стихи старинной песни» [Там же. С. 479]. В черновом и первом беловом автографах этот эпизод отсутствует, но в последнем Тургенев на полях делает помету: «<-> Сцену приб.», также вставляя знак «<->» в текст главы перед словами «Я выбрался из рощи...» [16].

Песня, которую исполняет Евлампия, действительно принадлежит к образцам устного народного творчества. В её полном варианте речь идёт о заблудившейся в лесу девушке, которая аукает и зовёт на помощь своего возлюбленного. Тот же отвечает, что не может вывести её из леса, так как на страже стоят тестя, тёща и молодая жена. Далее юноша призывает грозовую тучу погубить тестя с тёщей, а жену он убьёт сам – именно эти последние стихи доносятся до слуха рассказчика. Тургенев, вероятно, позаимствовал этот текст из песни, записанной русским этнографом и фольклористом П.В. Шейном. В 1869 г. он впервые опубликовал свою запись в сборнике «Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при

¹ Последствие «сонного мечтания» Харлова имело реальную основу в жизни самого автора. Тургенев писал П.В. Анненкову 5 июня 1869 г.: «...пять дней тому назад я, лёжа в постели, читал книжку («Войну и мир» Толстого, которую я получил сполна), почувствовал вдруг нечто вроде сильного сотрясения... и левая рука моя осталась недвижимой, как дерево. Я испугался, стал оттирать ее правою, и, хотя минут через пять чувство в ней возвратилось и я ею действую теперь как следует, – однако сердце у меня сильно заныло, болело всю ночь и болит до сих пор» [10. Т. 9. С. 224]. Об этом писатель также сообщает и И.П. Борисову.

Московском университете», а через год в отдельном объёмном издании «Русские народные песни»¹.

Поёт в повести и сам Харлов. Разбирая крышу флигеля, он приговаривает: «Ещё разик, ещё раз! ух!» [7. С. 499]. Повторяемые им слова принадлежат к знаменитой песне «Эй, ухнем!». Раскачивая стропила, герой приравнивает свой труд к тяжёлой доле бурлаков. Бурлацкое пение Мартына Петровича автор обозначил уже в черновом автографе, постепенно увеличивая (надписывая между строк) кратность повтора слов «Ещё разик, ещё раз! ух!» до четырёх.

Наконец, значимым оказывается фольклорный мотив, в котором исполнено обращение Евлампии к отцу. Тургенев вписывает её первоначально со всем небольшую реплику на полях чернового автографа: «Полно, отец, говорила Евлампия не поминай прошлого. Ну, поверь же мне. Ты всегда мне верил. Ну, сойди, пойди ко мне в светелку: я обсушу тебя да согрею; будешь жить у меня на всём готовом. Ну, были виноваты; ^{зазнались} ну, прости» [20]. На этапе беловой рукописи автор дополняет её фразой: «на мою постель мягкую» [Там же]. Заключительным добавлением, произведённым перед самой публикацией, становится: «...раны твои перевяжу, виши, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того» [7. С. 497]. Форма и содержание лирического обращения Евлампии позволяют говорить о том, что оно сознательно стилизовано под жанр причитания. Дочь уговаривает отца прекратить разорение и сойти с крыши, возможно, предчувствуя грозящую ему опасность.

Включение Тургеневым в повесть материалов масонского журнала Н.И. Новикова «Покоящийся трудолюбец» акцентирует проблематику соотношения жизни и смерти. Через статьи этого издания Харлов приобщается к идеям русских масонов последней трети XVIII в. Герой пытается найти ответы на мучающие его вопросы нравственно-философского характера [24].

В-третьих, эпизация повести осуществляется за счёт моделирования автором объёмных образов героев и тщательного оформления пейзажных картин. Обращаясь к особенностям создания действующих лиц повести, прежде всего необходимо остановиться на трёх значимых фигурах (матушка рассказчика, стряпчий, священник) и двух коллективных образах (харловские крестьяне и дворовые).

Наталья Николаевна Б., матушка рассказчика, представляет собой тип простой русской помещицы. Её образ вносит в повесть элементы обыкновенной провинциальной (степной) жизни: размеренной, рассудительной, проводимой в хозяйственных хлопотах и заботах. Интересно, что это единственный человек в повести, к которому Харлов относится как к равному себе. Мартын Петрович чувствует в Наталье Николаевне родственную силу – она тоже властная и гордая, привыкшая повелевать и распоряжаться (показательна сцена её объяснения со Слёткиным), с ясным осознанием собственного

¹ Известны два письма Тургенева к П.В. Шейну – от 6 июля 1880 г. и 8 сентября 1881 г., в них писатель рассказывает о своих хлопотах по назначению фольклористу пенсионного обеспечения. Из этих писем ясно, что Тургеневу была хорошо известна деятельность Шейна по собиранию и публикации народных песен.

достоинства, не терпит противоречий своему слову. Однако её гордая природа не доведена до такого абсолюта, как у Харлова.

Будучи по своей натуре предприимчивой и деловитой, Наталья Николаевна столь же практическим образом пыталась устроить семейную жизнь своего «преданного великана»: сначала «выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме», затем «поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа – и уже имела другого на примете для второй» [7. С. 444]. Она же выступает по отношению к нему и в роли спасительницы – готова предоставить кров и защиту в своём доме. Именно своей «благодетельнице» «степной Лир» поверяет мучительные размышления о смерти, планы по разделу имения, рассказывает о захвативших его сомнениях и, наконец, приходит за спасением: «Спасите вы меня теперь!» [Там же. С. 489].

Матушка рассказчика не лишена природной чувствительности: она интуитивно понимает, что Харлова что-то терзает и гнетёт. Однако в силу обыденности своего сознания Наталья Николаевна не способна во всей полноте постигнуть смысл внутренних перипетий героя. Показательно, как она реагирует на отрывок из журнала Новикова, предложенный Харловым для истолкования: «...прочла этот пассажик раза два, восхлинула: тьфу! – и бросила книгу в сторону» [Там же. С. 471]. Приземлённость её мышления не допускает возможности проникновения даже в поверхностный смысл высокой программы совершенствования человеческой личности, составленной русскими масонами.

В типологию степных героев встраивается и священник, которого Харлов включил в процесс раздела имения. Над изображением этой фигуры Тургенев работает очень внимательно от чернового автографа до самого момента публикации повести. Писатель создаёт образ человека старого, бедного и измождённого. Весь внешний вид священника говорит о тяготах каждодневного существования. Тургенев старательно подбирает слова для наиболее точной характеристики его наружности: «^{старый}_{её} ^{жёлтыми}_{жёсткими} бурьми волосами с ^{обветренным}_{жилками} ^{красным}_{и унылое выражение глаз} и большие ^{жилками}_{и нэб-шата}» [20]. Облик этого персонажа подчёркнуто драматичен. Автор использует определения с явно выраженным экспрессивным наполнением, которые подчёркивают его бедность и истощённость. Даже небольшая комическая сценка за «пищевенным» столом, когда Слёткин намекнул на необычайность его аппетита («предчувствия скорый конец трапезы, беспрестанно посыпал в рот кусок за куском») [7. С. 468], оборачивается драмой положения «маленьского человека» – «застарелый голод слышался в этом ответе» [Там же].

Священник также становится поверенным Харлова в деле толкования «сонного мечтания». Он перед всеми собравшимися подтверждает опасения Мартына Петровича по поводу приближающейся смерти. Ему же «степной Лир» поручает провести «молебен с водосвятием», чтобы закрепить силу своего решения. В ходе развития «лировской» истории этот герой символично появится ещё дважды. Прежде всего, в сцене разорения крыши флигеля. Наблюдая за мечущимся по настилке чердака помещиком, священник, «схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно

поднимал» его, будто показывая «рассвирепевшему разрушителю» [20]. Своими жестами он словно призывает Харлова одуматься и вернуться к прежде принятому решению – раскаяться и примириться. Но автор не случайно говорит о молчаливой безнадёжности его действий, поскольку вариант смирения для героя теперь оказывается невозможен.

Последнее присутствие священника связано с моментом гибели главного героя. В черновом автографе Тургенев рисует яркий эпизод, когда «старик подбежал, подобрал рясу и положил крест Харлову на кровавые губы» [*Ibidem*]. Это замечание автор вписывает на полях, поскольку в первоначальном варианте появление священника было обозначено только через Квицинского («*еильным* ^{резким} движением руки подозвал попа») [*Ibidem*]. Однако в ходе окончательной доработки эпизод с приложением креста был вычеркнут и заменён на «старик приблизился, неловко выступая в своей тесной рясе» [16]. Смысл этого изъятия всецело сопряжён со «степной» трактовкой проблематики образа шекспировского Лира. Приложение креста к губам умирающего отсылает к православной традиции исповеди и покаяния перед смертью – отпущение земных грехов и обещание прощения. Исключая символический жест священника в момент кончины Харлова, Тургенев, таким образом, не допускает религиозного освобождения героя от терзающих его противо-речий.

Знаком особой эпико-драматической проработки в повести Тургенева отмечены образы крестьян и дворовых. Изображение внешнего вида харловских крестьян выполнено в трагикомических тонах – беспощадная бедность существования соседствует с решительным стремлением соответствовать величественному облику своего барина. «Облечённые в *прорваные* худые армяки ^{и прорванные тулузы}, но весьма туго подпоясаные» [20], они покорно являются на торжественную процедуру передачи владения. Крестьяне пребывают в качестве немых свидетелей, безропотно и внимательно наблюдающих за исполнением «высочайшей» воли. До конца даже не понимая, что происходит, и искренне недоумевая («Барин живехонек – вот он стоит, да ещё какой барин: Мартын Петрович! И вдруг он ими владеть не будет... Чудеса!») [7. С. 465], они выражают лишь полную покорность.

Словно в противовес крестьянам автор вводит в это действие группу дворовых, которые выказывают «большее оживление, чем крестьяне» [16]. В черновом автографе эту группу сначала составляли «две совсем старые древние старухи» и «один уже совсем ветхий, от древности даже заиндевевший ^{полуслепой} человек» [20]. Затем Тургенев заменяет «старух» на «здоровенных девок» «в коротких ситцевых замасленных платьях» [*Ibidem*]. Здесь же он дополняет эту картину комическим сравнением их икр с изображением ног персонажей фрески Микеланджело Буонарроти «Страшный суд». Однако комический эффект сравнения не отменяет его серьёзную смысловую нагруженность. Второе пришествие Христа и Апокалипсис, ставшие главной темой для росписи, включаются в комплекс философских размышлений главного героя о сущности человеческой смерти и рефлексии по поводу несовершенства собственной эгоистической природы.

Тема «Страшного суда» значимо отзовётся в кульмиационной сцене возмездия Харлова и в момент его гибели. Не случайно именно крепостные и

дворовые люди Мартына Петровича выражают «бесповоротное отчуждение, осуждение» харловского семейства. Они же произносят приговор: «Обидели!». Здесь очень колоритной оказывается фигура крестьянина, который впервые произносит слова порицания: «Обидели старика, — про(не)верил один ^еовеem уже древний ^{старый} седой головастый крестьянин, опираясь как древний некий судья, обеими руками ^и бородою на палку, — на вашей душе грех!.. Обидели!» [20].

Многозначительна в повести и фигура стряпчего. Прежде всего Тургенев ввёл эту фигуру для того, чтобы сделать наиболее достоверным процесс раздела имения. Писатель стремился соблюсти максимальную точность в художественном изображении важной для Харлова процедуры дарения. В черновом автографе Тургенев называет этого героя Сазонтом Товиевичем, а его должность обозначает как «непременный член». В белом варианте он лишает его имени и уточняет название должности — оставляет место, чтобы позже вписать: «стряпчий». Об этом свидетельствуют явный промежуток между словами, а также размер букв и цвет чернил, отличных от всего остального текста. Кроме того, здесь же на полях, напротив описания стряпчего, сделана вставка: «Временное отделение Земского суда состоит как известно из исправника, стряпчего и станового; но станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил; впрочем, он у нас в уезде носил прозвище: “несуществующий”, как бывают “непомнящие”» [16].

По всей видимости, Тургенев в поиске необходимых сведений обратился за помощью к собственному управляющему — Н.А. Кишинскому. В Парижских рукописях, в тетради с беловым автографом повести, хранится выписка «Правила из узаконений» (на пяти листах), включающая пункты: «Дарение», «Выдел и приданое», «Духовное завещание». Эта выписка, сделанная чётким и ровным почерком, без помарок и исправлений, явно не принадлежит руке Тургенева. Вероятно, её составил именно Кишинский и отправил писателю в ответ на его просьбу¹.

Однако фигура стряпчего в процессе доработки не остаётся лишь простым элементом формального соответствия своим функциям в юридической процедуре. Тургенев делает этого персонажа эмоционально сопричастным «великим делам» Мартына Харлова. Во-первых, автор указывает на «большое внимание и сочувствие», которые испытывал стряпчий во время совершения раздела имения: «всей душой ^{принимавший} участ(вовл)ение в распоряжении М-а П-а и не спускал с него взора ^{своих крупных, необычайно удивительно} серьёзных глаз», «так усердно молился, ~~и~~ так сочувственно взирал при этом на ^{вздыхал вслед за} М-а П-а и ^и так истово шептал ^и жевал губами ~~что-то~~ ^{что-то} и возвод(ил) я

¹ Тургенев писал Кишинскому: «Я начал повесть, в которой главное действующее лицо, старик-помещик, задумал при жизни своей передать свое родовое имение двум своим дочерям. (Дело происходит в 40-м году). Мне нужно знать подробности, как это делается или делалось, кому, в какое место подавалась просьба, как составлялся акт, как он приводился в исполнение, кто при этом должен был присутствовать в качестве свидетелей, какие полицейские или административные лица (исправник, дворянский предводитель? и т. д.). Всё это потрудитесь написать мне самым обстоятельным, деловым образом. Даже, если это Вас не затруднит, приложите образчики просьбы, акта (дарственной записи) и т. д.» [10. Т. 9. С. 166].

взоры горе» [20]. Во-вторых, писатель вводит в беловую рукопись двукратное указание (через речь Сувенира) на принадлежность стряпчего к масонам. Так укрепляется связь между ним и Мартыном Петровичем. Возможно, этот герой, прослышиав о харловском чтении журнала Новикова, догадывается и о его мучительных размышлениях, понимает серьёзность причин, побудивших помесника к разделу имения. В-третьих, Тургенев наделяет стряпчего обличительным словом: «на пиру» он, соглашаясь с Сувениром, выражает опасения за будущее Харлова, будто бы предостерегает от надвигающегося несчастья.

Особой многозначительностью в повести обладает зарисовка природы в состоянии тишины и спокойствия. Выполненный в лирической тональности, этот пейзаж помещён в череду узнаваний повествователем сути произошедших с Харловым изменений. Изображение представляет собой небольшой фрагмент, состоящий всего из нескольких предложений, но эта малость текстового объёма разворачивается в насыщенную картину ясного осеннего дня в роще.

Прежде всего герой обращает внимание на исключительную тишину, царящую вокруг, которая делает явным и особенно выразительным любой незначительный шорох: «можно было за сто шагов слышать, как заяц ^{белка} пепропрыгивал-а по сверху по-нрэб- сухой лежавшей на земле ^в спящей ^{сухой} листве, как надал оторвавшийся сухой сучок сперва слабо цепля(ясь) ^{раскачивался} за другие сучки и падал наконец в мягкую траву» [Ibidem].

Тургенев старательно работает над описанием воздуха, особенного ощущения от своеобразного в него погружения. Словно подчёркивая эфирное свойство окружающего пространства, он дважды прибегает к сравнению с парным молоком и дважды же вычёркивает его: «ни тёплый, ни свежий как парное молоко» и «обливался ^{парным молоком вокруг}» [Ibidem]. Автор стремится передать необычайные свежесть и лёгкость природного состояния («пахучий и неизданно лёгкий уж такой ^{неизданно} легкий ^{и словно}» [Ibidem]), которые безраздельно передаются герою-рассказчику, захватывают всё его физическое существо («и кругом головы и глаз ^{кинельский} ^{вливался в труху} и гру рук и всего тела щек и гла» [Ibidem]). Позже, писатель дополняет чувствительную невесомость природного пространства ещё одним элементом: «...тонкая, как шелковинка, с белым клубочком посередине, длинная паутина плавно налетала и, прильнув к стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху» [7. С. 475].

Живописный рисунок Тургенева несёт на себе явный отпечаток «эрмой и вещественной в своей сюжетно-описательной основе» [25. С. 148] поэзии В.А. Жуковского периода 1815–1824 гг. Движение героя-рассказчика по роще, сопряжённое с созерцательно-описательным действием, не может не отсылать к «элегии панорамного типа» [Там же] «Славянка» (1815). Родственность двух изображений заключается, во-первых, в характере живописания, особенностях создания объёмной по своему содержанию картины природы. Внимательный взгляд лирического героя повести Тургенева, отмечающий мельчайшие проявления природного мира и живо передающий их динамику, восходит к «вещественной пластике» [Там же. С. 153] элегического рисунка Жуковского. Например, внимательно прорисованное автором падение сучка в мягкую траву со всей очевидностью напоминает строки: «Лишь, сорван ве-

терка минутным дуновеньем, / На сумраке листок трепещущий блестит, / Смущая тишину паденьем...» [26. С. 21].

Во-вторых, значимым оказывается сходство чувственного восприятия существующего субъекта. Элегическая тональность пейзажа оформляет специфику душевых переживаний его непосредственного наблюдателя. «Атмосфера таинственных предчувствий» [25. С. 153], охватывающая лирического героя «Славянки», у Тургенева проявлена через яркую уточняющую деталь, внесённую в период работы над беловым автографом. Это дополнение связано с характеристикой падения сучка: «падал навсегда: $\sqrt{\text{он уж не шлохнется}}$, пока $\sqrt{\text{не}}$ истлеет» [16].

Образ навсегда упавшей сухой ветки и размыщение о её дальнейшей участи исполнены ощущением неизбывной грусти. Наблюдение малой смерти в природном мире ассоциативно наводит на осознание факта неминуемого ухода и в сфере человеческого существования (ср. у Жуковского: «Всё здесь свидетель нам, сколь блага наших дней, / Сколь все величия мгновенны») [26. С. 21]. Но смерть в природе лишена трагического звучания – это лишь часть жизненного цикла, за которым последует новое рождение. Показательно, как завершается пейзажная зарисовка у Тургенева – она заключается «элегическим» замечанием о мягком солнечном свете, подобном лунному: «Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне»¹ [16].

Романтическая традиция Жуковского, эстетика его элегической поэзии, во многом помогала Тургеневу оформить лиро-эпический план природного изображения. Для писателя это был пример этико-философского осмыслиения важных проблем человеческого существования. Элемент драматического предчувствия далее развернётся в контрастном описании бурной стихии (см. выше), которое прямо включается в парадигму шекспировской образности.

Таким образом, формально-содержательная структура повести «Степной Король Лир», во-первых, позволяет говорить о сложном характере её жанровой природы. С одной стороны, Тургенев уподобляет повествовательную форму драматической композиции (пятиактное деление, напряжённо-динамическое развитие действия), а в содержательном плане делает значимый акцент на трагической основе человеческого существования (проблема смерти, противопоставленность человека миру, вечная, но равнодушная природа). С другой стороны, писатель ведёт непрестанную работу по эпическому наполнению произведения: организует сложную нарративную структуру, расширяет пространственно-временную рамку произведения, создаёт полноценные образы героев и оформляет объёмные картины природы. Однако важной и во многом определяющей особенностью эпического материала повести является его неизменно драматическое начало – каждый элемент эпической структуры отмечен знаком жизненной драмы. Тщательность работы писателя над фигурами священника и стряпчего предугадывает открытия, которые позже будут сделаны А.П. Чеховым, – маленький человек как типологическая основа русской жизни.

¹ «Носителем идей романтической селенологии в России стал прежде всего В.А. Жуковский» [27. С. 55].

Символы и условные обозначения

При работе с черновым и беловым автографами повести «Степной Король Лир» для маркирования и точной передачи изменений и правок, которые произвёл И.С. Тургенев, были использованы следующие условные обозначения:

✓резким – знак вставки: автор вписывает новый текст между строк или на полях;

сильным – знак зачёркивания: одной линией или сплошной штриховкой автор вычёркивает слово, целый фрагмент;

трепет(ом)ало – знак исправления части слова: внутри лексемы поверх уже написанных букв автор вписывает новые – в скобки помещён первонаучальный вариант;

еи́нным – знак восстановления: пунктиром подчёркиванием автор восстанавливает употребление слова, прежде зачёркнутого.

<нрзб.> – не удалось разобрать.

Литература

1. Новикова Е.Г. Жанровая динамика малой прозы И.С. Тургенева 1860-х годов: дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1983. 215 с.
2. Баевский В.С. «Рудин» И.С. Тургенева: К вопросу о жанре // Вопр. лит. 1952. № 2. С. 134–138.
3. Курляндская Г.Б. О сценах драматического действия в романах И.С. Тургенева // Исследования о русских писателях: Учен. зап. Орлов. гос. пед. ин-та. 1964. Т. 23, вып. 4. С. 132–231.
4. Осмоловский О.Н. О сценах драматического действия в романах Тургенева и Достоевского («Отцы и дети» и «Преступление и наказание») // И.С. Тургенев и русская литература: Науч. тр. Курск. гос. пед. ин-та. 1982. Т. 217. С. 150–167.
5. Герасименко Л.А. Жанровое своеобразие романов И.С. Тургенева 50-х годов («Рудин», «Дворянское гнездо»): дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1971. 284 с.
6. Thiergen P. Roman und Drama. Theorie und Praxis am Beispiel von Turgenevs frühen Romanen // Studien zu Literatur und Aufklärung in Osteuropa. Gießen, 1978. S. 337–356.
7. Тургенев И.С. Степной Король Лир // Вестн. Европы. 1870. № 10. С. 441–507.
8. Бялы Г.А. Русский реализм. От Тургенева к Чехову. Л.: Сов. писатель, 1990. 640 с.
9. Гершензон М.О. Мечта и мысль И.С. Тургенева. М., 1919. 170 с.
10. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 18 т. М.: Наука, 1982.
11. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Сочинения: в 12 т. М.: Наука, 1978–1986.
12. «Король Лир»: Трагедия в пяти действиях Шекспира / пер. А. Дружинина. СПб., 1857. 176 с.
13. Шестов Л.И. Шекспир и его критик Брандес // Собр. соч.: в 6 т. СПб., 1911. Т. 1. 285 с.
14. Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 28 т. Письма: в 13 т. М.: Наука, 1967. Т. 12, кн. 2. 647 с.
15. Гусев Н.Н. Два года с Толстым. М.: Худож. лит., 1973. 461 с.
16. Tourguéniev I. Le Roi Lear de la steppe. F. 63–97. Mazon. 37. M. 15 (a) : manuscrits parisiens // Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. 1801–1900. Slave 76. Manuscrits parisiens III.
17. Жуковский В.А. О меланхолии в жизни и поэзии // Полн. собр. соч. и писем: в 20 т. М., 2012. Т. 12. 543 с.
18. Минков М. Проблема трагического в творчестве Шекспира и его современников // Вильям Шекспир: к четырёхсотлетию со дня рождения: Исследования и материалы. М., 1964. 484 с.
19. Shakespeare W. King Lear // Shakespeare W. The complete works / ed. by W. Clark, W. Wright. New York: Grosset & Dunlap Publishers, S.a. P. 1058.

20. *Tourguéniev I. L'Infortunée. Le Roi Lear de la steppe. L'Exécution de Tropmann.* Mazon. 26. M. 12: manuscrits parisiens // Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits. 1801–1900. Slave 85. Manuscrits parisiens XII.
21. Лотман Ю.М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // Избр. ст.: в 3 т. Таллин, 1993. Т. 3. С. 91–107.
22. Волков И.О. «Образ Ивана Грозного в творчестве И.С. Тургенева 1870-х гг.: повесть «Степной Король Лир» // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 419. С. 23–32.
23. Алексеев М.П. К «Сну Святослава» в «Слове о полку Игореве» // Слово о полку Игореве: сб. исследований и ст. / под ред. В.П. Адриановой-Перетц. М.; Л., 1950. С. 226–248.
24. Волков И.О. Идеи русского масонства в творчестве И.С. Тургенева 1870-х гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 415. С. 5–11.
25. Янушкевич А.С. В мире Жуковского. М.: Наука, 2006. 524 с.
26. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. М.: Языки славянских культур, 2000. Т. 2. 839 с.
27. Янушкевич А.С. Мотив луны и его русская традиция в литературе XIX века // Роль традиции в литературной жизни эпохи: Сюжеты и мотивы. Новосибирск, 1995. С. 53–62.

THE DRAMATIC NATURE OF THE STORY “A LEAR OF THE STEPPES” BY I. TURGENEV (ACCORDING TO THE MANUSCRIPT HERITAGE)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 149–175. DOI: 10.17223/19986645/50/10

Ivan O. Volkov, Emma M. Zhilyakova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: wolkoviv@gmail.com / emmaluk@yandex.ru

Keywords: I. Turgenev, “A Lear of the Steppes”, Shakespeare, dramatic, epic.

The article examines the features of the genre of the late story “A Lear of the Steppes” written by I. Turgenev on the material of its draft and fair autographs.

The story is divided into five parts which are tragic actions. The tragic form I. Turgenev used serves for the dramatic, tense action and simultaneously for the dynamic development of the story. This text construction is notional. Certainly, the five-act structure of Turgenev’s story refers to the similar structure of Shakespeare’s tragedy *King Lear*.

In terms of the content, the tragic element takes shape through the constant death motive going through the whole story. The motive actualises the life drama of the main character. On the one hand, the writer understood death as an irrevocable reality of everyday life. On the other hand, death was regarded as the manifestation of the incomprehensible power of the being. In “A Lear of the Steppes” Turgenev comes to the understanding of the death category through the Shakespeare image. The mortal problems in Shakespeare’s tragedy are closely interrelated with Lear’s philosophical question of guilt and innocence of man.

In the design of the dramatic story, the main place is given to the description of bad weather which betokens the character’s revolt and death. The tragic landscape tonality is an original resonator that absorbs the tragedy of Martyn Petrovich and multiplies it with its own means.

The other side of the genre specificity of the work is the introduction of the tragic into the epic material. Turgenev conducts a thorough work on the epic content of the story, includes elements that are already marked with the sign of a life drama. Firstly, the creation of epic stories is connected with the principles of the narrative structure and with the method of the speech structure in the story. Secondly, it is based on the introduction of a lot of national-historical and cultural material. These elements extend the artistic space, deepen problems of images and bring additional aspects in the interpretation of the entire work. Thirdly, the epic content of the story is expressed owing to the author’s modelling of dimensional images of characters and to the thorough setting of landscapes. A particular significance of the story belongs to the description of nature in its pacific and gentle state. A pictorial image carries an evident imprint of the poetry of V. Zhukovsky, “visible and material in its plot and descriptive basis”.

References

1. Novikova, E.G. (1983) *Zhanrovaya dinamika maloy prozy I.S. Turgeneva 1860-kh godov* [Genre dynamics of I.S. Turgenev’s small prose of the 1860s]. Philology Cand. Diss. Tomsk.

2. Baevskiy, V.S. (1952) "Rudin" I.S. Turgeneva: K voprosu o zhanre [Rudin by I.S. Turgenev: On the question of genre]. *Voprosy literatury*. 2. pp. 134–138.
3. Kurlyandskaya, G.B. (1964) O stsenakh dramaticeskogo deystviya v romanakh I.S. Turgeneva [About the scenes of dramatic action in the novels of I.S. Turgenev]. *Issledovaniya o russkikh pisatelyakh: Uch. zap. Orlovskogo gos. ped. in-ta*. 23:IV. pp. 132–231.
4. Osmolovskiy, O.N. (1982) O stsenakh dramaticeskogo deystviya v romanakh Turgeneva i Dostoevskogo ("Ottsy i deti" i "Prestuplenie i nakazanie") [About scenes of dramatic action in the novels of Turgenev and Dostoevsky (Fathers and Sons and Crime and Punishment)]. *I.S. Turgenev i russkaya literatura: Nauch. trudy Kurskogo gos. ped. in-ta*. 217. pp. 150–167.
5. Gerasimenko, L.A. (1971) *Zhanrovoe svoeobrazie romanov I*. pp. Turgeneva 50-kh godov ("Rudin", "Dvoryanskoe gnezdo") [Genre peculiarity of the novels of I.S. Turgenev of the 1850s (Rudin, Noble Nest)]. Philology Cand. Diss. Tomsk.
6. Thiergen, P. (1978) Roman und Drama. Theorie und Praxis am Beispiel von Turgenevs frühen Romanen [Novel and drama. Theory and practice using the example of Turgenev's early novels]. In: *Studien zu Literatur und Aufklärung in Osteuropa* [Studies on Literature and Enlightenment in Eastern Europe]. Gießen.
7. Turgenev, I.S. (1870) Stepnoy Korol' Lir [A Lear of the Steppes]. *Vestnik Evropy*. 10. pp. 441–507.
8. Byalyy, G.A. (1990) *Russkiy realizm. Ot Turgeneva k Chekhovu* [Russian realism. From Turgenev to Chekhov]. Leningrad: Sovetskij pisatel'.
9. Gershenson, M.O. (1919) *Mechta i mysl' I.S. Turgeneva* [Dream and thought of I.S. Turgenev]. Moscow: T-vo knigoizdatel'stvo pisateley v Moskve.
10. Turgenev, I.S. (1982-cont.) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 30-i tt. Pis'ma v 18 tt.* [Complete works and letters: in 30 vols. Letters in 18 vols]. Moscow: Nauka.
11. Turgenev, I.S. (1978–1986) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem v 30 tt. Sochineniya v 12 tt.* [Complete works and letters in 30 vols. Works in 12 vols]. Moscow: Nauka.
12. Shakespeare, W. (1857) "Korol' Lir". *Tragediya v pyati deystviyah Shekspira* [King Lear. Tragedy in five acts by Shakespeare]. Translated from English by A. Druzhinin. St. Petersburg: [s.n.].
13. Shestov, L.I. (1911) *Sobranie sochineniy v 6 tt.* [Collected Works in 6 vols]. Vol. 1. St. Petersburg: Shipovnik.
14. Turgenev, I.S. (1967) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 28-i tt. Pis'ma v 13 tt.* [Complete works and letters: in 28 vols. Letters in 13 vols]. Vol. 12. Book 2. Moscow: Nauka.
15. Gusev, N.N. (1973) *Dva goda s Tolstym* [Two years with Tolstoy]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
16. National Library of France. Department of Manuscripts. 1801–1900. Slavic 76. Paris Manuscripts III. Fund 63–97. Mazon. 37. M. 15 (a): Paris Manuscripts. Tourguéniev, I. (n.d.) *Le Roi Lear de la steppe* [A Lear of the Steppes]. (In French).
17. Zhukovskiy, V.A. (2012) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V dvadtsati tomakh* [Complete works and letters: In twenty volumes]. Vol. 12. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
18. Minkov, M. (1964) Problema tragiceskogo v tvorchestve Shekspira i ego sovremennikov [The Problem of the Tragic in the Work of Shakespeare and His Contemporaries]. In: Samarin, R.M. et al. (eds) *Vil'yam Shekspir: k chetyrekhsoletiyu so dnya rozhdeniya. Issledovaniya i materialy* [William Shakespeare: On the 400th Anniversary. Research and materials]. Moscow: Nauka.
19. Shakespeare, W. (1911) King Lear. In: Clark, W. & Wright, W. (eds) *The complete works*. New York: Grosset & Dunlap Publishers.
20. National Library of France. Department of Manuscripts. 1801–1900. Slavic 85. Paris Manuscripts XII. Mazon. 26. M. 12: Paris Manuscripts. Tourguéniev, I. *L'Infortunée. Le Roi Lear de la steppe. L'Exécution de Tropmann* [The Unfortunate. A Lear of the Steppes. The execution of Tropmann]. (In French).
21. Lotman, Yu.M. (1993) *Izbrannye stat'i v trekh tomakh* [Selected articles in three volumes]. Vol. 3. Tallinn: Aleksandra. pp. 91–107.
22. Volkov, I.O. (2017) The image of Ivan the Terrible in I.S. Turgenev's works of the 1870s: the story "A Lear of the Steppes". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 419. pp. 23–31. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/419/3
23. Alekseev, M.P. (1950) K "Snu Svyatoslava" v "Slove o polku Igoreve" [To "The Sleep of Svyatoslav" in the Lay of the Host of Igor]. In: Adrianova-Peretts, V.P. (ed.) *Slovo o polku Igoreve: sbornik issledovanij i statej* [The Lay of the Host of Igor: a collection of research and articles]. Moscow; Leningrad: USSR AS.

24. Volkov, I.O. (2017) The ideas of the Russian masonry in I. Turgenev's works of the 1870s. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal.* 415. pp. 5–11. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/415/1
25. Yanushkevich, A.S. (2006) *V mire Zhukovskogo* [In the world of Zhukovsky]. Moscow: Nauka.
26. Zhukovskiy, V.A. (2000) *Polnoe sobranie sochineniy i pisem: V dvadtsati tomakh* [Complete works and letters: In twenty volumes]. Vol. 2. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
27. Yanushkevich, A.S. (1995) Motiv luny i ego russkaya traditsiya v literature XIX veka [The motif of the moon and its Russian tradition in the literature of the 19th century]. In: Romodanovskaya, E.K. & Shatin, Yu.V. (eds) *Rol' traditsii v literaturnoy zhizni epokhi. Syuzhety i motivy* [The role of tradition in the literary life of the era. Plots and motives]. Novosibirsk: Institute of Philology of the SB RAS.

УДК 821.161.1–1
DOI: 10.17223/19986645/50/11

В.Н. Горениццева, А.Н. Губайдуллина

**НОВАЯ МОДЕЛЬ «ЗНАЧИМОГО ВЗРОСЛОГО»
ВО ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (ПО МАТЕРИАЛАМ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПРОЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ)¹**

В статье рассматривается внутрисемейная модель «значимого взрослого»: художественные образы родителей, дедушек и бабушек в прозе для подростков. Выявляются условия со-бытия взрослого героя и ребёнка. Обнаруживается отсутствие «идеального взрослого» в современном тексте, уникальная автономия героя-протагониста, что отражает принципиально новую модель детско-родительских отношений в современной детской литературе.

Ключевые слова: значимый взрослый, значимый другой, детская литература, литература для подростков, современная проза, образ отца, образ матери, внутрисемейные отношения.

Тема взаимодействия двух миров – взрослого и детского – представляется одной из ведущих, особенно когда речь идет о детской литературе, которая наряду с развлекательной и эстетической реализует и воспитательную функцию. Как пишет Ю. Семидзу, тексты детской литературы отличаются от текстов общей литературы, поскольку авторы, пишущие для детей, знают об ответственности за создание произведений, которые потенциально влияют на детей, и пишут с намерением предложить детям-читателям литературные произведения, из которых те могут получить реальный опыт [1. С. 23]. Детская литература транслирует наиболее востребованные в обществе социальные модели и базовые ценности, в связи с чем, в особенности в контексте того, что Н. Постман называет «исчезающим детством» [2. С. 192], актуальным представляется исследование современных интерпретаций образа значимого взрослого, в которых детская литература, с одной стороны, отражает реальность, а с другой – конструирует ее. Обращение к образу значимого взрослого в данной статье позволит дополнить представление о художественной концепции детства в русской литературе, универсальные черты которой проявляются как в текстах для детей, так и в текстах для взрослых.

На протяжении всей истории человечества реальное содержание понятий «ребенок» и «взрослый» и их образы в произведениях литературы много-кратно трансформировались. Так, в русской детской литературе на протяжении почти всего прошлого столетия взрослый оставался персоной корректирующей, непогрешимой и имеющей право на резюмирующую позицию. Ме-

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) в рамках научного проекта № 17-03-00528 «Семейное чтение как помогающая практика в условиях социально-культурных трансформаций».

жду взрослыми и детьми существовал негласный социальный контракт, согласно которому взрослые являлись для детей воплощением мудрости и обладали презумпцией неоспоримости авторитета [3. С. 330]. Идея взрослости как завершенности изначально обеспечивала родителю, учителю, любому старшему человеку доминантную позицию. Безусловно, советская детская литература допускала и негативные образы взрослых, но они воспринимались, скорее, как отклонение от нормы, а ребёнок мог рассчитывать на поддержку общества [4. Т. 1. С. 60]. Однако изменение модели общества в постсоветской действительности привело к переосмысливанию детскo-родительских отношений. Роль семьи в детской литературе конца XX – начала XXI в., как в русской, так и в западной, уже не столь однозначна. Так, З. Шавит, разделяя современную литературу для детей на «каноническую» и «неканоническую», отмечает, что в текстах последнего типа родителям практически не уделяется внимания [5. С. 24]. Наравне с моделью семьи в целом подвергаются переосмысливанию и устойчивые роли каждого из её членов. Образы матери или отца часто опровергают традиционные представления о родителях, которые должны воспитывать ребёнка с самого рождения, заботясь о его материальном и духовном благополучии [6. С. 201]. В литературе обнаруживаются совершенно другие модели взаимодействия детей и взрослых: поскольку детские персонажи стремятся вписаться в действительность, какой бы несовершенной она ни была, изменяется и статус взрослого – он изображается таким, каким ребенок может увидеть его в реальной жизни, «оживает», обретает плоть и наделяется характеристиками, зачастую далекими от традиционного представления о надёжном и положительном защитнике. По наблюдению Дж.Р. Таунсенд, одной из самых заметных характеристик детских романов последних десятилетий является наличие родителей, которые «быстро катятся по наклонной», становясь основной проблемой в жизни ребенка-протагониста [3. С. 332].

Большинство зарубежных исследований, рассматривающих те или иные аспекты художественного воплощения мира детей и взрослых в детской литературе, имеют междисциплинарный характер и выполнены на стыке литературоведения с психологией, социологией, философией, педагогикой, культурологией [1–3, 17]. В отечественном литературоведении обращение к образу детства, а следовательно, и к роли взрослых в жизни новых поколений, осуществлялось как в трудах по детской литературе (И.Н. Арзамасцева [7]; М.А. Литовская [8]; Е.К. Тиновицкая [9]), так и на материале классических произведений для взрослых (Н.А. Дворяшина [10], Н.Б. Иванова [11], Л.Н. Савина [12] и др.). Однако предметом специального рассмотрения образ значимого взрослого в детской литературе до сих пор не становился.

Нам представляется, что современная проза для подростков проявляет принципиально новый тип детскo-родительских отношений, не коррелирующий с устойчивыми, наработанными литературой известными моделями, к которым можно отнести, например, традиции европейского «романа воспитания»; модели «счастливого детства» и «украденного детства», характерные для русской литературы XIX в. [13. С. 8], или образа «проблемного детства» в прозе XX в. [14. С. 57]. Данное исследование имеет междисциплинарный характер и выполнено на стыке литературоведения и комплекса социогуманитарных наук.

нитарных наук (психологии, социологии, педагогики). Доминирующими методами исследования являются компаративистика и социологический подход. Работа ставит своей целью комплексное описание художественного воплощения актуальных моделей значимого взрослого в его внутрисемейных отношениях, конструируемого в отечественной детской прозе, и предполагает поиск ответа на ряд вопросов, а именно: что включается в содержание образа «значимого взрослого» в современной российской детской литературе; могут ли родители или близкие родственники (взрослые члены семьи) быть значимыми для героя-подростка; при каких условиях родители, дедушки, старшие братья и сестры становятся значимыми для ребенка.

Ключевым в настоящем исследовании является понятие «значимого взрослого», которое рассматривается как частный случай понятия «значимый другой» (Significant Other), введенного американским социологом Г.С. Салливаном в рамках интерперсональной теории. Под «значимым другим» Г. Салливан понимает человека, мнение которого ценно для индивида с точки зрения влияния на поведение последнего, развитие его личности и выбор ценностных ориентаций [15. С. 165].

Среди концептуальных для данного исследования следует выделить исследования российских психологов А.В. Петровского, В.И. Слободчикова и А.В. Шувалова. А.В. Петровский предлагает трехфакторную модель репрезентации личности «значимого другого», включающую в себя такие компоненты, как референтность (признание за другим индивидом права принимать значимые решения), аттракция (сильные чувства, возникающие в отношении другого человека) и власть (здесь, статус, место в иерархии), комбинирование которых порождает разные типы «значимого другого» [16. С. 8]. В основе классификации В.И. Слободчикова и А.В. Шувалова лежат две существенные характеристики конкретного взрослого человека, которые наиболее полно отражают его статус в жизненном мире ребенка: показатели кровного родства («родной – чужой») и духовной близости («близкий – чуждый») [17. С. 97]. Поскольку мера кровного родства с самого начала задана и неизменна, подлинные отношения и подлинная близость ребенка и взрослого определяются по духовной линии. Кровные родители являются родными, но при этом могут быть и чуждыми ему, в то время как чужие по крови взрослые могут стать для ребенка подлинно близкими.

Мы будем рассматривать взаимодействие компонентов трёхфакторной модели А.В. Петровского как актуальных составляющих художественного воплощения современной модели значимого взрослого во внутрисемейных отношениях и попытаемся ответить на вопрос о преобладающем векторе взаимодействия ребенка со значимым взрослым в диапазоне от полной сопричастности мыслям, чувствам, знаниям, ценностям другого до обособления, а иногда даже и абсолютного неприятия взрослого как ролевой модели. Для изучения отобраны современные российские книги для детей, вошедшие в шорт-листы литературного конкурса «Книгуру», одного из наиболее авторитетных ежегодных российских конкурсов детской книги, который проводится с целью поиска и поощрения авторов произведений, отражающих актуальные реалии современной жизни и дающих представление о многообразии жизненных сценариев [18]. На первом этапе конкурса произведения оценива-

ет профессиональное экспертное жюри, состоящее из критиков, детских писателей, филологов, библиотекарей. На втором этапе специально созданное детское жюри выбирает победителя из 15 позиций шорт-листа. Присутствие в жюри одновременно взрослой и детской точки зрения является важным в силу ряда причин.

Во-первых, это связано с очевидной двойной адресацией большинства конкурсных произведений. По мнению П. Ханта, двойная адресация – это самая характерная черта детской художественной литературы современности: теоретически и практически невозможно создать книгу, адресованную только детям, потому что в последние десятилетия двадцатого века были разрушены границы между детской и взрослой аудиторией [19. С. 14]. Детскую аудиторию нельзя рассматривать как отдельную, изолированную от взрослой. Для детских книг характерны две точки зрения: ребенка и взрослого, в связи с чем в каждой книге для детей существует латентный, «скрытый» текст для более зрелых читателей (вторичная адресация), который может передавать сообщения или идеи, недоступные или не в полной мере доступные читателю первичному, ребенку. Таким образом, очевидно, что детский писатель предусматривает в книге не только историю для детей, но и послание для взрослых, показывая различные паттерны взрослого поведения.

Во-вторых, важным представляется само участие детей в отборе и оценивании детских произведений. Не секрет, что во многих случаях именно взрослый выбирает литературу для детского чтения: родители покупают книги детям по своему усмотрению; издательства продвигают ту или иную литературу в зависимости от своих коммерческих интересов; взрослые классифицируют книги по возрастной принадлежности и т.д. Ребенок встречается не с той книгой, которую, возможно, предпочёл бы прочитать, а с той, которая ему доступна благодаря взрослым. Включение (хотя бы частичное) детей в жюри литературного конкурса показывает, насколько наши, «взрослые» представления о детях и детстве совпадают или не совпадают с тем, как дети видят себя и нас. Всего было проанализировано около 35 текстов 2014–2016 гг., предназначенных для детей от 10 до 15 лет.

Анализ вышеозначенных произведений демонстрирует, что традиционная модель родителя как значимого взрослого в современной литературе для детей и подростков претерпевает ряд трансформаций. Во-первых, в отличие от канонических ролевых моделей «матери» и «отца», в современной литературе для детей можно наблюдать, что отец и мать реализуют образ универсального родителя: их семейные роли практически лишены традиционных гендерных полномочий. Так, образ отца больше не ограничен функциями кормильца и дисциплинаратора семьи. Его роль сближается с материнской в эмпатии к ребенку и умении обеспечивать бытовой и бытийный комфорт. Например, отец в повести «Крупная кость, или Моя борьба» Е. Соковениной готовит дочери и обсуждает с ней диету¹ [20]. Папа из рассказа Т. Рик «Чур, Володька – мой жених» вместе с мамой шьет дочери пальто [21]. Более того,

¹ Поскольку большая часть анализируемых произведений написана авторами недавно и ещё не появилась в печатном варианте, ссылки даются на электронные версии этих произведений на конкурсном сайте «Книгуру»

традиционный статус власти отца заметно редуцирован; патриархального доминирования главы семьи нет, а образ авторитетного отца практически не встречается в анализируемой литературе. Чаще отец предстает ведомым, не-жели ведущим, как, к примеру, в повести Е. Владимировой «Я тебя никогда не прощу», где дети видят в отце нелепого, безвольного человека, во всем подчиняющегося матери: «Мама у нас принципиальный противник карманых денег, а папа – принципиальный сторонник мамы» [22]. Подобное отсутствие жизненной позиции порождает пренебрежительно-снисходительное отношение к отцу со стороны собственных детей, проявляющееся на уровне текста в иронично-пренебрежительных именованиях «любимый родитель» или «папашка». Трусливый отец, несомненно сочувствуя детям и переживая за них, настолько привык к подчинению, что не может защитить не только детей, но и себя:

Я взглянул на отца. Тот не успел отвести взгляд, забегал глазами, закашлялся.

– Гена, но он ведь всё осознал! Нельзя ли без этого?

– Нельзя. Каждый должен отвечать за свои поступки. Это и тебе не худо бы запомнить, Пётр!

– Гена, стой!

Голос отца прозвучал непривычно твёрдо. Я замер. Скажи ему, ну скажи! Скажи им всем! Отец сморгнул.

– Он ещё ребёнок, Гена. Не забудь [22].

Образ матери в подростковой литературе является более устойчивым, в отличие от образа отца, который можно назвать «мерцающим» или «исчезающим» (текстов, в которых представлена полная семья, количественно меньше, чем историй с матерью-одиночкой). По сюжету мать чаще, чем отец, становится главным «влиятелем» в жизни ребенка. Однако и образ матери противоречив. Мать, в образе которой значительно преобладает статус власти, предстает равнодушной, злой, истеричной и жесткой, бесконечно далекой от традиционного образа «значимого взрослого», в результате чего функцию значимого взрослого во внутрисемейных отношениях берет на себя ребенок-протагонист. Так, в повести Е. Владимировой подростки Тимофей и Нюта фактически выполняют все родительские функции по отношению к младшим братьям: занимаются их воспитанием, готовят и убирают, покупают еду, отводят в детский сад и рассказывают сказки на ночь. Четырнадцатилетняя отличница Нюта «зарабатывает как может» переводом и копирайтингом и тратит заработанное на еду для семьи, которую сама же и готовит. Задача поставить на ноги младших братьев – единственное, что удерживает в семье Тимофея: «Я бы уже сейчас свалил, ну и что, что школа. <...> Словом, я бы ушёл и не оглянулся, если бы не Стёпка с Пашкой. Пусть хотя бы чуток подрастут» [22]. Мать в современной подростковой литературе нередко предстает носителем двойной морали: доверие пропагандируется на словах, а ситуативно мама не готова принять доверившегося ей ребёнка, как, например, в повести «Открытые окна» И. Понорницкой, где героиня не верит в то, что мама способна ее понять: «Хотя мама сколько раз нам говорила: в семье каж-

дый может поделиться своими переживаниями или своей радостью... Но только попробуйте сказать: “Мама, у меня за контрольную трояк. Знаешь, я так переживаю!” Увидите, что будет”» [23].

Другая тенденция в презентации материнского образа в современной подростковой литературе заключается в его «омоложении», вследствие чего нарушается иерархия семейных ролей. Мать не только не способна предъявлять требования, она нуждается в организации собственной жизни извне. Типичный образ инфантильной матери представлен в повести А. Ляховича «Черти лысые»:

В комнату заглянула мама, сонная вся, мятая, как салфетка. Это не потому, что ей плохо или еще что, просто она всегда такая, как проснется и не накрасится.

– Ты мой лифчик не видел?

– Видел. Погоди...

Я черкнул Милане – «отойду, надо мамой заняться», – и говорю:

– На холодильнике был, так я его взял сюда, чтобы не потерялся совсем. На [24].

Вместе с разрушением семьи утрачивается большая часть родительского авторитета. Мать, да и отец, нуждаются в заботе более, чем сын или дочь. Происходит инверсия социальных ролей: теперь ребёнок по отношению к матери (чаще, чем к отцу) выполняет роль значимого взрослого. На текстовом уровне это закрепляется, например, уменьшительно-ласкательным суффиксом в обращении, используемом традиционно не в отношении родителей, а в отношении детей: «Ирочка Слунс, мама Рино, она же журналистка» (Ая эН. «Абсолютно необитаемые») [25]. В другом тексте мама получает от ребёнка домашнее прозвище «мой мам», маркирующее сокращение возрастной дистанции (Л. Романовская «Удалить эту запись?») [26]. Парадоксальным образом такая инфантилизация не мешает духовной близости, а, наоборот, усиливает её. Отношения с мамой строятся на взаимном сочувствии, на взаимной иронии, т.е. как отношения в целом равных личностей. Сокращение дистанции нередко становится залогом успешного взаимодействия tandemia «родитель – ребенок»: «Географичке я вдруг наврала, что мама моя сестра. <...> Так интересно врала, что сама жалела, что мама мне не сестра» («Удалить эту запись?») [26]. Переключение мамы с поведенческой модели «мама = подружка» и «мама = сестра» на традиционную модель «мама = мама» встречает недоуменный и даже отрицательный отклик у дочери; смена модели воспринимается как отклонение от нормы: это очередной «загон», «компьютерный вирус», который поселился в маме, в результате чего она становится похожей на «машинку на сбрендившем радиоуправлении» или анекдотический персонаж, готовый «отморозить какую-нибудь чухню» [26].

Итак, выявляются два устойчивых типа отношений «родитель – ребенок». В первом случае родитель, удерживающий компонент власти (по А. Петровскому), утрачивает аттрактивность и приобретает отрицательный имидж в глазах ребёнка: сын или дочь изменяются из-за конфронтации со взрослым, стараются как можно меньше походить на него. В другом варианте родитель

остаётся близким и привлекательным (аттракция), но теряет свою, более статусную, позицию в семейной иерархии, т.е. лишается компонентов « власти » и « авторитетности ». В семье сохраняются отношения дружбы, но родитель не может настаивать на выполнении своих требований.

В условиях несамостоятельности или отсутствия родителей конституирующую роль могут брать на себя « старшие родители »: дедушки и бабушки . Однако, как показывает анализ, и они не могут обеспечить статус власти . Характерно, что роль « значимого взрослого » они могут обрести, главным образом, в том случае, когда совмещают жизненный опыт с юношеским нонконформизмом и азартом, т.е. опять же омолаживаются, сближаются с детьми . В повести С. Лавровой « Год свирепого цыплёнка » сопоставляются два образа бабушек . Одна, по прозвищу « Маркиза » (данному внуком), – эмансипированная дама, курящая, увлечённая палеонтологией, принимающая подростков такими, какие они есть . Именно благодаря принятию другого ей удаётся увлечь палеонтологией юного бандита, повлиять на его исправление :

– Э-э-э... нормальные бабки в сумках кошельки носят, – упрекнул Маркизу вор, откусывая плюшку . – С пенсией .

– Дитя моё, а кто сказал, что я нормальная ? – нежно укорила его Маркиза . – Кошёлёк – фу, какая банальность . <...> Старухи все скучные, реагируют предсказуемо, орут похоже . Тоска зелёная, – пожала плечами Маркиза . – Да-вайтэ-ка лучше к нам в экспедицию . Как степь просохнет, поедем в Оренбургский край, там что-то интересное нашли, чуть ли не динозавров [27].

Вторая бабушка, Ира, изображена более традиционно: она много готовит, трудится на даче и стремится перевоспитать внука, развить в нём мужские качества: « Баба Ира Ванечку, конечно, любила . Но она всё время хотела его как-то улучшить: сделать толстым, румяным, громкоголосым, общительным . Она сокрушалась, что внук пошёл в стройного немногословного отца и не похож на её сыновей – маминых братьев » [27]. Внук относится к этой бабушке снисходительно, избегает её влияния .

Чем дальше старшее поколение от консервативного образа « бабушки » и « дедушки », тем больше шансов, что отношения будут приняты внуками . Если дед или бабушка не причастны к юности, то значимыми они могут стать в том случае, если их образы связываются с каким-то особым для героя временем: давно забытым, « секретным » прошлым, которое не помнит никто, кроме старииков (М. Тобоева « Тайна лесной поляны » [28]), мнимым, сказочным временем, которым управляет старый волшебник (Д. Казаков « Московская метель » [29]). Так или иначе, пожилые « значимые взрослые » становятся таковыми лишь тогда, когда они существуют в авантюрной реальности, противоположной скучному, обыденному социуму . В их жизнь проникают такие компоненты детского существования, как авантюризм (дедушки и бабушки попадают в подростковые приключения); увлечение игрой, в том числе и компьютерной; принадлежность к секретному сообществу, тайна . Общей метафорой чудесной старости может служить образ деда из повести Л. Романовской « Самая младшая ». Дед слеп, но « видит » свою внучку Полину лучше других родственников . Он взаимодействует с реальностью особыми способами .

бами: не читает книги, а слушает их; умеет мысленно возвращаться в собственное детство; верит в магическую силу обычной вещи. Не случайно для Полины он становится не просто «значимым взрослым», но вымышленным, вечно молодым другом: «Полина берет дедушку за локоть и начинает объяснять. Она так рассказывает, что сразу и к дедушке Толе обращается и к Толику, вперемешку. Ей даже кажется, что они отвечают вдвоем:

— И понимаешь, дедуль... Толик, мне перед тобой неудобно, что я тебя придумала, а в тебя уже не верю, но притворяюсь, что верю. Вот. И я не знаю, куда Толик денется, когда я вырасту. Деда, ты не знаешь, куда герои уходят, когда они не нужны? Я не хочу, чтобы ты ненужным был. Мне тебя жалко [30].

Таким образом, в современной российской литературе для детей наблюдается процесс постепенного разрушения выраженного дидактизма и отказа от авторитарного образа взрослого, происходит его усложнение и обогащение. Во-первых, характерной чертой произведений современной российской детской литературы является отсутствие образа идеального взрослого, который смог бы стать для ребенка посредником при переходе во взрослый, более совершенный мир. Мама и папа уже не являются безоговорочным авторитетом, появляющимся в последний момент для окончательного разрешения детской проблемы. В большинстве рассказов и повестей ребенок-протагонист самодостаточен и автономен – родители ему не нужны, ребенок сам справляется со всеми проблемами и трудностями гораздо лучше них, а нередко и вытаскивает взрослых из ситуаций, из которых те не могут найти выход самостоятельно.

Во-вторых, не наблюдается и четко выраженного разделения на «хороших» и «плохих» взрослых внутри семьи – современная детская проза сохраняет и усиливает эмоциональную связь, которая в качестве основных предполагает отношения любви (пусть даже к самым «непутевым» родителям), привязанности, взаимного восхищения, уважения, совместного действия, события, т.е. речь идет уже не о противопоставлении взрослого и детского миров, но об их взаимодействии и способах сосуществования.

В-третьих, моделируя образ значимого взрослого, авторы предлагают варианты ранних «горизонтальных» (нарушающих поколенческую иерархию) связей между взрослым и ребенком. Взрослый не может заставить ребёнка послушаться; позитивный родительский опыт также не имеет значения. В современной художественной интерпретации родители и дети обладают интеллектуальным и этическим паритетом, что препятствует конфликту «отцов» и «детей»: никто больше не может заставить или настоять на правильности своей позиции. Анализ родительских образов в выбранных повестях и рассказах позволяет прийти к выводу, что власть как компонент влияния практически редуцирована (власть сохраняется только в образах антивлиятелей, которые заставляют ребёнка измениться, испытывая ненависть к взрослому, от которого он зависит); референтность теряет статус самостоятельности и напрямую зависит от способности взрослого приблизиться к ребёнку. При этом взрослый, транслирующий традиционную модель поведе-

ния, почти не имеет шансов стать для ребенка значимым: его поведение теряет для младшего эталонность, присущую референтам, если взрослый безупречен. Если родитель сближается с ребёнком в идее становления (он обладает недостатками, он выглядит юным, он живёт в игровой реальности), его референтность усиливается. Парадоксально, но именно поколенческий сдвиг, инфантилизацию родителя современная российская детская проза представляет ключом к успешной коммуникации.

Литература

1. *Semizu Yu.* Adulthood in children's literature: toward the awareness of adults' presence in children's literature. PhD thesis. University of Nottingham, 2013.
2. *Postman N.* The Disappearance of Childhood. N.Y.: Knopf Doubleday Publishing Group, 1994. 192 p.
3. *Townsend J. R.* The Turbulent Years // Egoff, S., Stubbs, G., Ashley R. and Sutton, W. (eds) Only Connect: Reading on Children's Literature. New York and Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 328–336.
4. *Балина М.* Литературная репрезентация детства в советской и пост-советской России // Детские чтения. 2012. Т. 1, № 1. С. 43–66.
5. *Shavit Z.* Poetics of Children's Literature. Athens & London: The University of Georgia Press, 1986. 193 p.
6. *Gubaidullina A.N., Gorenintseva V.N.* Mother As Donor, Hero or Villain: New Sides of The Mother's Image in Sergey Sedov's "Fairy Tales About Mums" // Children's Literature in Education. 2016. Vol. 48. Issue 3. P. 201–213. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10583-016-9273-7>
7. *Арзамасцева И.Н., Николаева С.А.* Детская литература: учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / науч. ред. И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. 7-е изд. М.: Академия, 2011. С. 470.
8. *Литовская М.А.* «Время всегда хорошее»: социальная психология для современного подростка // Барковская Н.В., Литовская М.А. Детская литература сегодня: сб. науч. ст. / Урал. гос. пед. ун-т; Урал. гос. ун-т им. А.М. Горького. Екатеринбург, 2010. 154 с.
9. *Тиновицкая Е.К.* Терапия вместо «морали». Об одной новейшей тенденции в отечественной детской литературе // Вопр. лит. 2007. № 4. С. 157–176.
10. *Дворяншина Н.А.* Феномен детства в творчестве русских символистов: дис. ... д-ра филол. наук. Сургут, 2009. 510 с.
11. *Иванова Н.Б.* Проза Юрия Трифонова. М.: Сов. писатель, 1984. 296 с.
12. *Савина Л.Н.* Проблематика и поэтика автобиографических повестей о детстве второй половины XIX в. (Л.Н. Толстой «Детство», С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Тёмы»). М.: Перемена, 2002. 282 с.
13. *Шестакова Е.Ю.* Детство в системе русских литературных представлений о человеческой жизни XVIII–XIX столетий: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Архангельск, 2007. 24 с.
14. *Ромашова М.В.* Репрезентация советского детства в мемуарной литературе рубежа XX–XXI вв. // Вестн. Перм. гос. ун-та. История. Пермь, 2005. С. 56–65.
15. *Салливан Г.С.* Интерперсональная теория в психиатрии / пер. с англ. СПб.: Ювента, 1999. 347 с.
16. *Петровский А.В.* Трёхфакторная модель значимого другого // Вопр. психологии. 1991. № 1. С. 7–17.
17. *Слободчиков В.И., Шувалов А.В.* Антропологический подход к решению проблемы психологического здоровья детей [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hr-portal.ru/article/antropologicheskiy-podhod-k-resheniyu-problemy-psihologicheskogo-zdorovyya-detey> (дата обращения: 18.08.2017).
18. *Книгуру.* Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/> (дата обращения: 15.08.2017).
19. *Hunt P.* Children's Literature. Oxford: Blackwell, 2001. 480 p.
20. *Соковенина Е.* Крупная кость, или Моя борьба // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL:

<http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/krupnaya-kost-ili-moya-borba> (дата обращения: 17.08.2017).

21. Рик Т. Чур, Володька – мой жених! // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/chur-volodka-moy-zhenih> (дата обращения: 17.08.2017).

22. Владимирова Е. Я тебя никогда не прощу // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/ya-tebya-nikogda-ne-proshhu> (дата обращения: 18.08.2017).

23. Понорицкая И. Открытые окна. // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/otkrytije-okna> (дата обращения: 18.08.2017).

24. Ляхович А. Черти лысые // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/cherti-lysyie> (дата обращения: 15.08.2017).

25. Ая эН. Абсолютно необитаемые // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/absolutno-neobitaemye> (дата обращения: 18.08.2017).

26. Романовская Л. Удалить эту запись? // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/udalit-etu-zapis> (дата обращения: 15.08.2017).

27. Лаврова С. Год свирепого цыпленка // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/god-svirepogo-tsyiplenka> (дата обращения: 18.08.2017).

28. Тобоева М. Тайна лесной поляны // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/tayna-lesnoy-polyanyi> (дата обращения: 18.08.2017).

29. Казаков Д. Московская метель // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel> (дата обращения: 16.08.2017).

30. Романовская Л. Самая младшая // Книгуру. Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и юношества [Электронный ресурс]. URL: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-shestogo-sezona-2/samaya-mladshaya> (дата обращения: 18.08.2017).

A NEW MODEL OF A “SIGNIFICANT ADULT” IN THE INTRA-FAMILY RELATIONSHIPS (BASED ON MODERN RUSSIAN PROSE FOR CHILDREN AND YOUNG ADULTS)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 176–187. DOI: 10.17223/19986645/50/11

Valentina N. Gorenintseva, Anastasiya N. Gubaidullina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: anatol_valya@mail.ru / gubgub@ngs.ru

Keywords: significant adult, significant other, literature for young adults, contemporary prose, image of father, image of mother, intra-family relationships.

This paper focuses on the interpretation of the image of a “significant adult” in modern Russian prose for children and young adults aimed at expanding the artistic concept of childhood in Russian literature, the universal features of which are manifested in texts for both children and adults. The research is based on modern prose texts short-listed in 2014–2016 for the “Kniguru” Literary Award, one of the most reputable Russian contests held to encourage children’s writers who describe modern life and in their works look for positive solutions to psychological, moral, and social issues. This interdisciplinary research employs the comparative and sociological analysis, drawing on A.V. Petrovsky’s concept of a three-factor model of a “significant other” that includes referentiality (recognition of the significant other’s right to make responsible decisions), attractions (emotional attitudes toward a sig-

nificant other, strong feelings of sympathy or antipathy for another) and power. The authors argue that the models of adult-child relationships traditional for children's literature (like European "novel of formation", "happy childhood", "stolen childhood") with authoritative adults being on the periphery of the narrative and appearing at a critical moment as "deus ex machine" are no longer relevant. Children and adults change their places within the family and social hierarchy, so adults become dependent on children. With dependent parents, grandparent can take on a constitutive role in the narrative, but only when they combine life experience with youth nonconformism and enthusiasm, thus becoming "infantilised" as well. The less conservative the older generation is, the more likely they become significant for their children. The analysis of the adult-child relationship patterns featured by modern Russian children's fiction demonstrates the loss of a priori recognition of the parent's authority. The power as a component of influence is practically reduced. However, losing one of the three factors of Petrovsky's significant other model – power – the adult enhances the other two: attraction and referentiality (ability to be the role model). Referentiality, in its turn, ceases to be independent to directly depend on the adult's ability to become closer to the child. Thus, modern young adult fiction reveals the absence of an "ideal adult" and the unique autonomy of the child protagonist, which reflects a fundamentally new model of child-parent relationship in modern literature for children and young adults.

References

1. Semizu, Yu. (2013) *Adulthood in children's literature: toward the awareness of adults' presence in children's literature*. PhD thesis. University of Nottingham.
2. Postman, N. (1994) *The Disappearance of Childhood*. N.Y.: Knopf Doubleday Publishing Group.
3. Townsend, J.R. (1996) The Turbulent Years. In: Egoff, S., Stubbs, G., Ashley R. & Sutton, W. (eds) *Only Connect: Reading on Children's Literature*. New York and Oxford: Oxford University Press.
4. Balina, M. (2012) Literaturnaya reprezentatsiya detstva v sovetskoy i post-sovetskoy Rossii [Literary Representation of Childhood in Soviet and Post-Soviet Russia]. *Detskie chteniya*. 1:1. pp. 43–66.
5. Shavit, Z. (1986) *Poetics of Children's Literature*. Athens & London: The University of Georgia Press.
6. Gubaidullina, A.N. & Gorenintseva, V.N. (2016) Mother As Donor, Hero or Villain: New Sides of The Mother's Image in Sergey Sedov's "Fairy Tales About Mums". *Children's Literature in Education*. 48:3. pp 201–213. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10583-016-9273-7>
7. Arzamastseva, I.N. & Nikolaeva, S.A. (eds) (2011) *Detskaya literature* [Children's Literature]. 7th ed. Moscow: Akademiya.
8. Litovskaya, M.A. (2010) "Vremya vsegda khoroshee": sotsial'naya psichologiya dlya sovremennoogo podrostka ["Time Is Always Good": Social Psychology for a Modern Adolescent]. In: Barkovskaya, N.V. & Litovskaya, M.A. *Detskaya literatura segodnya* [Children's literature today]. Ekaterinburg: UrSPU.
9. Tinovitskaya, E.K. (2007) Terapiya vmesto "moralii". Ob odnoy noveyshey tendentsii v otechestvennoy detskoy literature [Therapy instead of "morality." About one newest tendency in the domestic children's literature]. *Voprosy literatury*. 4. pp. 157–176.
10. Dvoryashina, N.A. (2009) *Fenomen detstva v tvorchestve russkikh simvolistov* [The phenomenon of childhood in the works of Russian Symbolists]. Philology Dr. Diss. Surgut.
11. Ivanova, N.B. (1984) *Proza Yurya Trifonova* [Prose by Yuri Trifonov]. Moscow: Sovetskiy pisatel'.
12. Savina, L.N. (2002) *Problematika i poetika avtobiograficheskikh povestey o detstve vtoroy poloviny XIX v. (L.N. Tolstoy "Detstvo", S.T. Aksakov "Detskie gody Bagrova-ynuka", N.G. Garin-Mikhailovsky "Detstvo Temy")* [Problems and poetics of autobiographical novels about childhood of the second half of the 19th century. (LN Tolstoy's "Childhood", S.T. Aksakov's "The Childhood of Bagrov the Grandson", N.G. Garin-Mikhailovsky's "The Childhood of Tyoma")]. Moscow: Peremena.
13. Shestakova, E.Yu. (2007) *Detstvo v sisteme russkikh literaturnykh predstavleniy o chelovecheskoy zhizni XVIII–XIX stoletyi* [Childhood in the system of Russian literary concepts of human life of the 18th–19th centuries]. Abstract of Philology Cand. Diss. Arkhangelsk.
14. Romashova, M.V. (2005) Repräsentatsiya sovetskogo detstva v memuarnoy literature rubezha XX–XXI vv. [Representation of the Soviet childhood in the memoir literature of the turn of the 21st century]. *Vestnik Permskogo universiteta. Istorya – Perm University Herald. History*. 5. pp. 56–65.

15. Sullivan, H.S. (1999) *Interpersonal'naya teoriya v psichiatrii* [The Interpersonal Theory of Psychiatry]. Translated from English by O. Isakova. St. Petersburg. Yuventa.
16. Petrovskiy, A.V. (1991) Trekhfaktornaya model' znachimogo drugogo [Three-factor model of a significant other]. *Voprosy psichologii*. 1. pp. 7–17.
17. Slobodchikov, V.I. & Shuvalov, A.V. (n.d.) *Antropologicheskiy podkhod k resheniyu problemy psichologicheskogo zdorov'ya detey* [An anthropological approach to the solution of the problem of psychological health of children]. [Online] Available from: <http://www.hr-portal.ru/article/antropologicheskiy-podkhod-k-resheniyu-problemy-psichologicheskogo-zdorovyya-detey>. (Accessed: 18.08.2017)
18. Kniguru.info. (c. 2017) *Kniguru. Vserossiyskiy konkurs na luchshee literaturnoe proizvedenie dlya detey i yunoshestva. Ofitsial'nyy sayt* [Kniguru. All-Russia competition for the best literary work for children and youth. Official website]. [Elektronnyy resurs]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/>. (Accessed: 15.08.2017).
19. Hunt, P. (2001) *Children's Literature*. Oxford: Blackwell.
20. Sokovenina, E. (n.d.) *Krupnaya kost', ili Moya bor'ba* [A large bone, or My struggle]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/krupnaya-kost-ili-moya-borba>. (Accessed: 17.08.2017).
21. Rik, T. (n.d.) *Chur, Volod'ka – moy zhenikh!* [Bagsy me, Volodka is my fiance!]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/chur-volodka-moy-zhenih>. (Accessed: 17.08.2017).
22. Vladimirova, E. (n.d.) *Ya tebya nikogda ne proshchu* [I'll never forgive you]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/ya-tebya-nikogda-ne-proshhu>. (Accessed: 18.08.2017).
23. Ponornitskaya, I. (n.d.) *Otkrytie okna* [Open windows]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/otkrytie-okna>. (Accessed: 18.08.2017).
24. Lyakhovich, A. (n.d.) *Cherti lysye* [Bald devils]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/cherti-lyisyie>. (Accessed: 15.08.2017).
25. Aya, eN. (n.d.) *Absolyutno neobitaemye* [Absolutely uninhabited]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/absolyutno-neobitaemye>. (Accessed: 18.08.2017).
26. Romanovskaya, L. (n.d.) *Udalit' etu zapis'*? [Should I delete this note?]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/udalit-etu-zapis>. (Accessed: 15.08.2017).
27. Lavrova, S. (n.d.) *God svirepogo tsyplenka* [Year of the fierce chicken]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/god-svirepogo-tsyplenka>. (Accessed: 18.08.2017).
28. Toboeva, M. (n.d.) *Tayna lesnoy polyany* [The Mystery of the Forest Field]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-sedmogo-sezona/tayna-lesnoy-polyanyi>. (Accessed: 18.08.2017).
29. Kazakov, D. (n.d.) *Moskovskaya metel'* [Moscow Blizzard]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-pyatogo-sezona/moskovskaya-metel>. (Accessed: 16.08.2017).
30. Romanovskaya, L. (n.d.) *Samaya mladshaya* [The youngest]. [Online] Available from: <http://kniguru.info/korotkiy-spisok-shestogo-sezona-2/samaya-mladshaya>. (Accessed: 18.08.2017).

УДК 821/29

DOI: 10.17223/19986645/50/12

П.А. Ковалев, Т.В. Струкова

**«ДВЕ ЗАГАДКИ» ФРИДРИХА ШИЛЛЕРА В ПЕРЕВОДЕ
В.А. ЖУКОВСКОГО**

В статье впервые анализируются переводы загадок Ф. Шиллера, выполненные В.А. Жуковским в педагогических целях и оказавшие большое влияние на развитие жанра русской стихотворной загадки. Особенности структуры и формы этих произведений отражают поэтическую стратегию автора и вписываются в эволюцию русской лирики первой половины XIX в.

Ключевые слова: стихотворная загадка, Ф. Шиллер, В.А. Жуковский, поэтический перевод, энigmatische жанр, метр, ритм.

Стихотворная загадка – специфический во всех отношениях жанр, особым способом отражающий когнитивную и языковую картину мира. Накладываясь на семантическую глубину поэтического слова и тесноту стихового ряда, энigmatische формульность активнее воздействует на читателя, порождая особенный тип поэтического дискурса, возможности которого использовались еще со времен Античности.

Жанр стихотворной загадки берет свое начало в глубокой древности: в Греции загадки сочиняли Клеобул Линдский и его дочь Евмета, в поздней латинской поэзии – Симфосий, в Средние века – Альдхельм, Алкуин, Татвин, Эвсебий, Бонифаций, Рейнмар фон Цветер, Тангейзер и др. Особенный интерес к жанру загадки существовал в европейской литературе в эпоху классицизма и сентиментализма. Отдал дань ему и великий романтик Фридрих Шиллер.

В последний период своего творчества немецкий поэт живо интересовался театральным искусством и за шесть лет совместного с Гете руководства Веймарским театром осуществил на его сцене несколько постановок, в частности постановку трагикомической сказки Гоцци «Принцесса Турандот», переработанной им в спектакль «Turandot, Prinzessin von China». Именно для этой пьесы, в которой «судьба героя зависит от решения им трех загадок», Шиллер написал 13 оригинальных стихотворных произведений¹. Их направленность и структура определялись особенностями функционирования в составе драматического текста: все они, как и у Гоцци², описывали конкретные понятия и сопровождались стихотворными отгадками, из которых сохранилось только семь. Изданые в цикле «Parabeln und Rätseln» («Приитчи и загадки»), эти поэтические заготовки привлекли к себе внимание В.А. Жуковского

¹ Всего для 5 веймарских постановок было написано 15 загадок, одна из которых была переведена Шиллером из Гоцци и еще одна сочинена Гете [1. С. 453].

² За исключением третьей загадки Гоцци, посвященной «льву Адрии» – символу святого Марка, покровителя Венеции.

в период его активной работы над переводами немецких поэтов в 1828–1833 гг. [2].

В третьем выпуске сборника «Муравейник», который Дамиано Ребеккини называет примером «образовательной технологии» [3. С. 22], под названием «Две загадки» Жуковским были опубликованы переводы загадок Шиллера о радуге, о месяце и звездах, которые, как отмечалось в Венгеровском собрании сочинений Шиллера, «до наших дней включаются в собрание стихотворений Жуковского как оригинальные произведения» [1. С. 453].

В своих переводах «для учебной комнаты» Жуковский следовал немецким прототипам и тщательно, хотя и не всегда точно, воспроизводил метафизическую картину мироздания, представленную в шиллеровских загадках. Так, радуга у него уподоблена мосту, в интерпретации русского переводчика обладающего дополнительными по сравнению с оригиналом характеристиками. Это существенно расширяет и усложняет энigmatическую структуру за счет повышения эмфатического потенциала слов, что, без сомнения, обусловлено учебной направленностью переводных материалов¹. Ср.:

Von Perlen baut sich eine Brücke Hoch über einen grauen See;	Не человечими руками Жемчужный разноцветный мост
Sie baut sich auf im Augenblicke, Und schwindelnd steigt sie in die Höh. [4. C. 234] ² .	Из вод построен над водами. Чудесный вид! Огромный рост! [5. С. 270].
Schiller	Жуковский

Уже с первых строк Жуковским нарушается эквилинеарность перевода: описание моста из жемчуга³ переносится им из первой строки во вторую, при этом вместо натуралистически достоверного изображения серого после бури моря им используется сложно построенный когнитивный образный эквивалент – «из вод <...> над водами», который вкупе с определением «разноцветный» обозначает образование цветового эффекта за счет преломления света в частичках воды. Переводчик жертвует временной характеристикой процесса строительства («строится в одно мгновенье») и с помощью парадоксального упоминания «не человечьих» рук акцентирует внимание на сакральном происхождении загаданного образа. Подчеркивая непричастность людей к созданию небесного моста, Жуковский тем самым усиливает библейский контекст своего перевода: в древности жемчуг часто именовался

¹ См.: «Оригинальные произведения Жуковского, которые, как правило, открывали каждый номер журнала <...> создавались с отчетливо учебными целями. <...> Если, с одной стороны, перевод составлял важный элемент в процессе ассилиации концептов, идей и художественных форм, связанных с различными народами и культурами Запада, то с другой – он способствовал формированию художественного стиля самих учеников. <...> наличие в начале каждого номера простых, ясных и гармоничных текстов самого Жуковского давало переводчикам очевидный образец для подражания» [3. С. 26–27].

² [Из жемчуга строится мост / Высоко над серым морем, / Он строится в одно мгновенье / И поднимается в высоту]. Здесь далее подстрочный перевод Я.Э. Марынай.

³ В древнегерманской мифологии радуга изображалась в виде небесного моста, соединяющего землю и небо [6. С. 288].

слезами ангелов, плачущих о людских грехах, «в священном Писании царствие Христово уподобляется драгоценной жемчужине, которую покупает купец, продавши все что имел (Мат. 13:46). Славное состояние святых на небесах также изображается под видом 12 ворот, составленных каждые из одной драгоценной жемчужины (Отк. 21:21)» [7. С. 3].

Изменена Жуковским и синтаксическая структура оригинала: вместо логически стройного и ритмически выдержанного развертывания метафорического описания через систему сложных предложений, равновесно заполняющих объем всех трех строф шиллеровского текста, перед читателем русского перевода оказывается ритмически разнородная последовательность строк 4-стопного ямба¹, подчеркиваемая анжамбранами, возникающими из глубоких инверсий уже в первом четверостишии², и метрически отчетливой строкой, содержащей две равновесные номинативные конструкции: «Чудесный вид! Огромный рост!» Употребление восклицательных предложений, делящих стиховой ряд на две равные части, по контрасту с окружающим эту строку пиррихийским контекстом, придает особую динамическую и эмоционально-экспрессивную окраску всему описанию, но при этом значительно видоизменяет ритмико-синтаксический облик всего текста:

Раскинув паруса шумящи,	1.31.1 ³	III модель
Не раз корабль под ним проплыл;	1.111.0	I модель
Но на хребет его блестящий	3.11.1	II модель
Еще никто не восходил!	1.13.0	IV модель
Идешь к нему – он прочь стремится	1.111.1	I модель
И в то же время недвижим;	1.13.0	IV модель
С своим потоком он рождается	1.111.1	I модель
И вместе исчезает с ним [5. С. 270].	1.31.0	III модель

Трансформация лексико-семантического строя оригинала во второй строфе перевода Жуковского носит еще более сложный характер: вместо ведущего в этой части образа «дуги», используемого Шиллером для вторичной номинации и обозначающего форму, высоту и недоступность загаданного объекта, в русском переводе оказывается словообраз «хребет», употребляю-

¹ Всем четырем строчкам первой строфы соответствуют разные модели 4-стопного ямба – VI, III, VI и I (по классификации Г. Шенгели), что придает стиху уникальную гибкость и текучесть. Ритмическая вариативность остается довольно высокой и в двух остальных строфах перевода.

² В примечаниях к этой загадке ошибочно утверждается, что «Жуковский перевел загадки Шиллера в астрофической форме» [5. С. 656], хотя на самом деле строфическая структура оригинала и система рифмования (AbAb) в переводе сохранены, но графически завуалированы и определяются как форма скрытой строфики.

³ Цифра до первой точки – анакреза, цифры внутри ряда – количество слогов в междуктовых интервалах, цифра после второй точки – количество слогов после последнего ударения в строке (клаузула).

щийся в народной энigmатической традиции в просторечном значении для описания орудий крестьянского труда¹. Образуя с поэтизованным контекстом когнитивный и стилистический диссонанс (хребет моста? хребет радуги?), этот образ знаменует собой довольно сложный процесс семантической трансформации: из разряда поэтизмов, используемых в поэтической практике Жуковского для описания верхней части облаков – «Восточных облаков хребты воспламенились...» («Вечер», 1806) или гребня горной цепи – «Герой» (1800), «Путешественник» (1809), это слово постепенно переходит в сферу конкретных обозначений – спины животного («Песнь араба над могилою коня», 1810) или позвоночника птицы («Царскосельский лебедь», 1851).

Посредством такого словоупотребления радуга-мост уподобляется Жуковским некоему морскому чудовищу наподобие мифологической Кето (Кит), в жертву которой была отдана Андромеда и которая была превращена Персеем в камень с помощью головы Медузы Горгоны. В пользу такой трактовки говорит и обозначение уникальности описываемого объекта, на хребет которого «никто не восходил», и упоминание в последнем четверостишии других свойств ассоциативно возникающего образа фантастического существа, которое убегает, оставаясь неподвижным, рождается и исчезает с потоком воды².

Происходящее в результате такой детализации энigmатического описания расширение системы метафорических эквивалентов должно было вызывать в сознании учеников Жуковского, наравне с ним участвовавших в составлении «Муравейника», дополнительные образные ассоциации, усложняющие поиск отгадки. К основной метафоре кодирующей части прибавляются вспомогательные, расшифровка которых «становится доступна лишь после того, как реципиент узнает отгадку, тогда все образы, присутствующие в тексте загадки, встают на свои места и складываются в единую картину» [8. С. 121]. Таким образом, метафорический ход перевода Жуковского, организующий его структуру и содержание, реализуется последовательным введением двух энigmаторов – называемого (мост) и подразумеваемого по ассоциации (чудовище)³, а также расширенным описанием их свойств, служащих для характеристики имплицитного образа радуги, которому в конечном счете эти свойства приписываются. Результаты такой амплификации существенно усложняют мотивационную семантическую модель загадки.

Перцептивные признаки и свойства энigmаторов (цвето-световые эпитеты – «жемчужный», «разноцветный», «блестящий», эмоционально-насыщенные определения – «огромный», «чудесный»), обычно являющиеся дополнительным ключом к нахождению отгадки, также играют немаловажную роль в семантическом расширении энigmатического пространства пере-

¹ См. фольклорные загадки: «О ста ногах, о семи хребтах» (борона), «Прилетела птичка на Юрьев взвоз, / на Егорьев день: тулово рябино, / хребёт соболиный» (сога).

² В № 5 «Муравейника» была помещена представляющая собой вольное переложение стихотворения Ф. Шиллера «Der Kampf mit dem Drachen. Romanze» («Борьба с драконом. Романс») повесть В.А. Жуковского «Сражение с змеем», в которой неоднократно упоминается «крепкий хребет» чудовища.

³ В переводах этой загадки А. Мейслером [9. С. 285] и К. Льдовым [1. С. 139] такой специфики не наблюдается.

вода Жуковского. Количество и распределение этих мотиваторов по тексту имеет некоторые отличительные особенности: в первой строфе их нагнетание граничит с семантической избыточностью и даже смысловым диссонансом (мост строится и из воды, и из жемчуга, он разноцветный и жемчужный одновременно), в последней строфе вместо них на первый план выходят описания функций («идешь», «стремится», «родится», «исчезает»). У Шиллера на этой же позиции оказывается обращение к реципиенту, связывавшее загадку через систему вопросов с драматическим контекстом: «Так, скажи, где находится мост / И кем он искусно создан?» В загадке Жуковского адресат речи отсутствует, что существенно меняет коммуникативную направленность текста: pragматическая функция жанра от игры и незатейливого времяпрепровождения перенацеливается на планомерный поиск переводных эквивалентов и развитие языковых навыков [10. С. 130]. Красочная картина, создаваемая русским поэтом на основе иноязычного материала, заставляющая не все вспомнить знаменитую формулу о переводе-сопернике, не просто номинирует загадываемый объект, но характеризует его с самых различных, иногда – неожиданных, сторон¹, вписывая энigmatический пейзаж в широкий поэтический контекст².

Эти же особенности присущи и переводу Жуковским загадки Фридриха Шиллера о звездах и луне, в которой более определено представлена космогоническая картина мироздания. Для энigmatического описания зашифрованных объектов немецкий поэт использует прием развернутой метафоры: небо у него уподоблено пастбищу, звезды – овцам, месяц – пастуху. Помимо когнитивных признаков Шиллер обозначает их перцептивные свойства («большое пастбище», «серебристо-белые овцы», «серебряный рожок», «золотые ворота»), с помощью которых в текст загадки вводятся мифологические образы и ассоциации: «храбрый Овен» Крий из мифа о золотом руне и «верный пес» Мэра (Майра) из мифа о Дионисе и виноделе Икарии (прообраз звездного Волопаса), ставшие созвездиями и включенные в птолемеевский звездный каталог «Альмагест». Шиллер несколько трансформировал содержание этих преданий и создал на их основе собственную мифопоэтическую картину звездного неба, сходную с пастушеской идиллией:

Auf einer großen Weide gehen
Viel tausend Schafe silberweiß;
Wie mir sie heute wandeln sehen,
Sah sie der allerältste Greis.

На одном большом пастбище ходят
Тысячи серебристо-белых овец,
Как я вижу их сегодня,
Они видели древнейших старцев.

¹ Не случайно, что в публикации «Двух загадок» отсутствуют отгадки.

² См.: «Радуга» Г.Р. Державина (1806) и В.Г. Бенедиктова (1835), «Послание И.М. Муравьеву-Апостолу» К.Н. Батюшкова (1815), «Успокоение» Ф.И. Тютчева (1829) и др.

Sie altern nie und trinken Leben
 Aus einem unerschöpften Born,
 Ein Hirt ist ihnen zugegeben
 Mit schön gebognem Silberhorn.

Er treibt sie aus zu goldnen Thoren,
 Er überzählt sie jede Nacht,
 Und hat der Lämmer keins verloren,
 Sooth er auch den Weg vollbracht.

Ein treuer Hund hilft sie ihm leiten,
 Ein muntrer Widder geht voran.
 Die Herde, kannst du sie mir deuten?
 Und auch den Hirten zeig mir an.
 [4. C. 235]

Они никогда не стареют и пьют жизнь
 Из неиссякаемого источника.
 Их созывает пастух
 С красивым серебряным рогом.

Он ведет их к золотым воротам,
 Он пересчитывает их каждую ночь
 И не теряет ягнят
 Всякий раз, как совершает свой путь.

Верный пес помогает ему их вести,
 Веселый Овен идет впереди.
 Ты можешь указать мне эти стада
 И также указать мне пастуха!

В своем переводе Жуковский активно использует шиллеровские когнитивные метафоры, называя небо «пажитью», звезды – «сереброрунными стадами», упоминая таинственного пастуха и его «рожок серебряный», «латую дверь» вместо золотых ворот, живую воду, дающую бессмертие¹. При этом он дополнительно вводит в интерпретационное поле загадки названия зодиакальных созвездий Льва и Девы, которые отсутствуют у Шиллера. И это существенно усложняет мифологический контекст, в то же время усиливая познавательную функцию: кроме того, что созвездие Девы является катастерилизмом верной дочери Икария, Эригоны, а созвездие Льва уводит читателя к мифу о первом немецком подвиге Геракла [6. С. 277], в основном все поименованные в переводе созвездия находятся рядом и последовательность их названия указывает на постоянный порядок прохождения солнца в их секторах. Отсюда и уточнение шиллеровской формулы о неизменности наблюдаемого явления: «И юноши их там находят, / Где находили старики».

Ритмико-сintаксический профиль текста этого перевода отчасти напоминает своей вариативностью загадку о радуге: на 20 строк 4-стопного ямба приходится семь ритмических моделей, из которых VI и VII с двумя пиррихиами маркируют начало стихотворения. Аналогов такого необычного стихотворного зачина в лирике В.А. Жуковского обнаружить не удалось².

¹ В комментариях к этому тексту справедливо указывается, что «при сохранении основных образных мотивов загадки <...> поэт перекомпоновал их и увеличил количество стихов до 20 (у Шиллера – 16) за счет распространения и детализации образов» [5. С. 656].

² Согласно неписаному правилу анлаут стихотворного текста должен задавать метрически чистый ритмический импульс, тогда как VII модель 4-стопного ямба является примером так называемого «обратимого стиха» и может интерпретироваться вне контекста и как строка 3-стопного амфибрахия с пропуском метрического ударения на II стопе.

На пажити необозримой,	1.5.1	VII модель
Не убавляясь никогда,	3.3.0	VI модель
Скитаются неисчислимо	1.5.1	VII модель
Сереброрунные стада.	3.3.0	VI модель
В рожок серебряный играет	1.13.1	IV модель
Пастух, приставленный к стадам:	1.13.0	IV модель
Он их в златую дверь впускает	1.111.1	I модель
И счет ведет им по ночам.	1.13.0	IV модель
И, недочета им не зная,	3.11.1	II модель
Пасет он их давно, давно,	1.111.0	I модель
Стада поит вода живая,	1.111.1	I модель
И умирать им не дано.	3.3.0	VI модель
Они одной дорогой бродят	1.111.1	I модель
Под стражей пасторской руки,	1.13.0	IV модель
И юноши их там находят,	1.31.1	III модель
Где находили старики.	3.3.0	VI модель
У них есть вождь – Овен прекрасный,	1.111.1	I модель
Их сторожит огромный Пес,	3.11.0	II модель
Есть Лев меж ними неопасный	1.13.1	IV модель
И Дева – чудо из чудес [5. С. 270].	1.13.0	IV модель

Смена ритмических моделей носит упорядоченный характер корреспондирующих на образно-тематическом и рифменном уровне элементов: VI модель 4-стопного ямба тяготеет к четным позициям в четверостишиях, вариативность нечетных строк, напротив, довольно велика. При этом ритмический профиль всех пяти строф перевода Жуковского предельно индивидуален и, конечно же, не имеет ничего сходного с немецким оригиналом.

Так же как и в переводе загадки о радуге, Жуковский снимает композиционный прием прямого обращения к читателю, заменяя его зриткой картины символической идиллии: образные оппозиции (Пастух – Дева, Пес – Лев) как бы дополняют друг друга, давая возможность юному читателю домыслить потенциально заключенные в них сюжеты. Из загадки, как замкнутой pragmatischen структуры, под пером русского поэта вырастает полное жизни и внутренней энергетики произведение, по праву считающееся шедевром русской лирики.

Литература

1. Собрание сочинений Шиллера в переводе русских писателей: в 4 т. / под ред. С.А. Венгерова. Т. 1. СПб., 1901. 476 с.
2. Лебедева О.Б. Жанровая система переводов В.А. Жуковского из Шиллера // Проблемы метода и жанра: сб. ст. Вып. 14. Томск, 1988. С. 71–82.
3. Ребеккини Дамиано. Перевод как инструмент образования в педагогической деятельности В.А. Жуковского (о сборнике «Муравейник 1831 года») // Русская литература. 2016. № 3. С. 20–27.

4. Schiller F. Parabeln und Rätseln // Schillers Sämtliche Werke in zehn Bänden. B.3. Leipzig, 1885. S. 234–239.
5. Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем: в 20 т. Т. 2: Стихотворения 1815–1852 годов. М.: Яз. рус. культуры, 2000. 839 с.
6. Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. Т. 1. М.: Сов. энцикл., 1991. 671 с.
7. Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия: в 4 вып. М., 1892. Вып. 2. 189 с.
8. Ооловникова М.В. Особенности функционирования метафоры в немецкоязычной загадке // Вестн. Иванов. гос. ун-та. Гуманит. науки. 2012. № 1. С. 86–93.
9. Шиллер в переводе русских писателей: в 9 т. / под ред. Н.В. Гербеля. Лейпциг, 1863. 410 с.
10. Семененко Н.Н. Проблема описания функционально-категориального статуса загадок как паремического жанра // Изв. Рос. гос. ун-та им. А.И. Герцена. Обществ. и гуманит. науки. 2010. №126. С. 129–136.

“TWO RIDDLES” OF FRIEDRICH SCHILLER IN V.A. ZHUKOVSKY’S TRANSLATION

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 188–196. DOI: 10.17223/19986645/50/12

Petr A. Kovalev, Orel State University named after I.S. Turgenev (Orel, Russian Federation).

E-mail: kavalller@mail.ru

Tatyana V. Strukova, Orel State Institute of Culture (Orel, Russian Federation).

E-mail: tatynassss@mail.ru

Keywords: poetic riddle, F. Schiller, V.A. Zhukovsky, poetic translation, enigmatic genre, meter, rhythm.

The poetic riddle is a specific genre which reflects the cognitive and linguistic picture of the world. In poetry, the enigmatic structure strongly influences the reader at all levels of the text. Friedrich Schiller, the great German romantic, showed special interest to the genre of the riddle. For the play “Turandot, Prinzessin von China”, in which “the fate of the hero depends on solving three riddles”, Schiller wrote 13 original verse riddles, two of which were translated by V.A. Zhukovsky for his pupils and were published under the title “Two Riddles” in the *Muraveynik* collection, Issue 3.

The aim of this article consists in studying V.A. Zhukovsky’s translation and pedagogy strategies on the example of riddles about the rainbow, about the month and the stars, a complex analysis of which is carried out for the first time. The comparative analysis of the original and translated texts was done at the level of the content considering the particular features of the riddle as a genre in which, according to genre canons, implicit and explicit plans of expression must cooperate. The semantic analysis was supplemented with the prosodic expertise during which the structural analysis of meter and rhythm of the original and translated texts was carried out. All these facts allow saying about the objectivity of the obtained data.

It is set that Zhukovsky carefully, though not always accurately, reproduced the metaphysical picture of the universe represented in Schiller’s riddles. The rainbow in it, as well as in the original, is likened to a bridge from pearls, the sky to a pasture, stars to sheep, month to a shepherd. But he supplemented all these enigmatic images with new features, significantly expanded the system of metaphors, which was due to the educational focus of his translations. Zhukovsky not only transformed the lexical-semantic structure of the prototype through numerous mythological associations, but also violated the equivalence of the translation, changed the rhythmic-syntactic and compositional structure of the German riddles, introduced a complex system of enigmators, which complicated the search for answer. All these transformations were made to ensure that his pupils and readers learned to appreciate the metaphorical depth of the Russian poetic word, the characteristics of the Russian mentality and the beauty of the surrounding world became better known.

The rhythmic handwriting of Zhukovsky’s riddles is extremely individual. He uses all models of iambic tetrameter to enhance the expressiveness of translation and thematic transitions.

The imagery structure of the two riddles convinces us that the Russian poet significantly changed the idea of the genre of the poetic riddle. Without a doubt, we can say that V.A. Zhukovsky introduced the enigmatic landscape into the broadest context of Russian lyrics in the first half of the 19th century.

References

1. Vengerov, S.A. (ed.) (1901) *Sobranie sochineniy Shillera v perevode russkikh pisateley: V 4 t.* [Collection of works by Schiller in the translation of Russian writers: In 4 volumes]. Vol. 1. St. Petersburg: Izd. Akts. Obshch. Brokgauz-Efron.
2. Lebedeva, O.B. (1988) *Zhanrovaya sistema perevodov V.A. Zhukovskogo iz Shillera* [Genre translation system: Zhukovsky from Schiller]. In: Kanunova, F.Z. (ed.) *Problemy metoda i zhanra* [Problems of Method and Genre]. Is. 14. Tomsk: Tomsk State University.
3. Rebecchini, D. (2016) *Perevod kak instrument obrazovaniya v pedagogicheskoy deyatel'nosti V.A. Zhukovskogo (o sbornike "Muraveynik 1831 goda")* [Translation as a tool of education in pedagogical activity Zhukovsky (on the collection "Muraveynik, 1831")]. *Russkaya literatura*. 3. pp. 20–27.
4. Schiller, F. (1885) *Sämtliche Werke in zehn Bänden* [Complete works: in 6 vols]. Vol. 3. Leipzig: Verlag von Grimme & Trömel. pp. 234–239.
5. Zhukovskiy, V.A. (2000) *Poln. sobr. soch. i pisem: V 20 t.* [Complete works and letters: in 20 vols]. Vol. 2. Moscow: Yaz. rus. kul'tury.
6. Tokarev, S.A. (1991) *Mify narodov mira. Entsiklopediya: V 2 t.* [Myths of the peoples of the world. Encyclopedia: In 2 vols]. Vol. 1. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
7. Nikifor, arch. (1892) *Ilyustrirovannaya polnaya populyarnaya bibleyskaya entsiklopediya: V 4 vyp.* [Illustrated full popular biblical encyclopedia: In 4 issues]. Is. II. Moscow: Tip. A.I. Snegirevoy.
8. Opolovnikova, M.V. (2012) Peculiarity of metaphor use in German riddles. *Vestnik Ivanovskogo gosudarstvennogo un-ta. Gumanitarnye nauki*. 1. pp. 86–93. (In Russian).
9. Gerbel', N.V. (ed.) (1863) *Shiller v perevode russkikh pisateley: V 9 t.* [Schiller in the translation of Russian writers: In 9 vols]. Vol. 1. Leipzig: F.A. Brockhau.
10. Semenenko, N.N. (2010) Problema opisaniya funktsional'no-kategorial'nogo statusa zagadok kak paremicheskogo zhanra [The problem of describing the functional categorial status of riddles as a paremic genre]. *Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.I. Gertsena. Obshchestvennye i gumanitarnye nauki – Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science*. 126. pp. 129–136.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/50/13

С.Б. Королева

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПОЛИТИКЕ «ХОГАРТ ПРЕСС» (1920–1930-е гг.)

В статье рассматривается история публикации переводов с русского в издательстве «Хогарт Пресс» как особый сюжет в издательской политике четы Вульф, отражающий эстетические и духовные поиски британских модернистов. Выявлены причины и этапы обращения к переводам книг русских авторов; описан культурно-исторический контекст этих публикаций; определено воздействие работы над переводами на издательскую политику «Хогарт Пресс» и на творчество Вирджинии Вульф; установлены причины отказа издательства от переводов с русского.

Ключевые слова: издательство, перевод, русская литература, британский модернизм, Вирджиния Вульф.

1

«Хогарт пресс» – издательство, знаковое для эпохи британского модернизма. История основания, преобразований, развития этого совместного «предприятия» Леонарда и Вирджинии Вульф исследована в двух основательных монографиях: «Леонард и Вирджиния Вульф как издатели: «Хогарт Пресс», 1917–1941» (1992) [1]¹ и «Леонард и Вирджиния Вульф, «Хогарт Пресс» и сети модернизма» (2010) [3]². Описаны отдельные моменты обращения издательства к переводам с русского в период 1920–1930-х гг. [4–7]. При этом, однако, малоосвещенными остаются вопросы *перевода и издания «русских текстов»* в «Хогарт Пресс» как *целостной истории прочитывания русской (и английской) литературы британскими интеллектуалами в 20–30-х гг. XX в.; ее связи с творчеством Вирджинии Вулф, с ее эстетическими и философскими поисками и через них – с поисками британских модернистов.*

В связи с этими вопросами обращают на себя внимание следующие факты:

– «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» М. Горького – первый «русский текст», изданный «Хогарт Пресс», – был первым текстом-«аутсайдером» в ряду преимущественно художественных текстов современ-

¹ Глава «Переводы с русского» (Russian Translations) в монографии содержит описание истории появления переводов с русского в ограниченный период – с 1920 по 1923 г., с основным акцентом на личности переводчиков и популярности изданий у английского читателя. Более ранняя книга Дж. Вулмера «Список изданий “Хогарт пресс”» не является, в строгом смысле, исследовательской монографией [2].

² Книга содержит одну главу, посвященную русским изданиям «Хогарт Пресс», а именно изданию «Жития протопопа Аввакума».

ных английских писателей строго своего для Вульфов круга – произведений К. Мэнсфилд, Э.М. Форстера, Х. Миррлиз, Клайва Белла, самих Вульфов;

– все русские книги «Хогарт Пресс» были первыми в Англии изданиями соответствующих текстов и были переведены с русского специально для издательства;

– в переводе многих из них участвовали Леонард или Вирджиния Вульф;

– большая часть «русских текстов» в издательстве «Хогарт Пресс» приходится на период с 1920 по 1923 г.;

– с 1922 г. «русские тексты» (биографического и художественного характера) издаются в «Хогарт Пресс» наряду с западноевропейскими текстами психоаналитического характера. С 1924 г. задачи Международной библиотеки психоанализа, издававшую которую приняло на себя обязательство «Хогарт Пресс», как бы вытесняют «русские тексты»;

– к 1933 г. книги социально-политического содержания, издаваемые «Хогарт Пресс», количественно превосходят все прочие, при этом русскими писателями, художественные произведения которых «Хогарт Пресс» издает в 1930-е гг., оказываются И.А. Бунин и Ю. Олеша.

Опираясь на эти факты, попытаемся очертить историю публикации издательством «Хогарт Пресс» переводов с русского в период 1920–1930-х гг. как особый сюжет издательской политики четы Вульф, отражающий эстетические и духовные поиски британских модернистов, в первую очередь Вирджинии Вульф.

2

Первым «русским текстом» «Хогарт Пресс» был перевод «Воспоминаний о Льве Николаевиче Толстом» Максима Горького; он появился в 1920 г. До времени его появления «Хогарт Пресс» был небольшой частной типографией, одновременно похожей и не похожей на другие английские частные типографии. Схожесть выражалась в малых тиражах изданий, их частом распространении «по подписке», а также во внимании, уделяемом внешнему виду книг [8. Р. 2–5].

О несходствах свидетельствуют автобиографические записи Леонарда Вульфа. Задумывая при покупке ручного печатного станка в 1917 г. «физическое занятие» для того, чтобы отвлечь Вирджинию от напряженного литературного труда, чета Вульф быстро обрела некоторые издательские ориентиры. В отличие от других частных типографий, издатели «Хогарт Пресс» решили печатать такие книги, в которых «нематериальное внутреннее содержание» превалировало бы над внешней формой и в которых искусство, литература не скрывались бы под покровом «слашавой утонченности» [9. Р. 233; 10. Р. 80]¹. Первоначально это означало, что «Хогарт Пресс» не будет «красиво» печатать известные книги, которые традиционно пользовались спросом, но будет издавать новую английскую литературу. Так за период 1917–1920 гг. «Хогарт Пресс» выпустил книги Леонарда и Вирджинии Вульф, К. Мэнсфилд, Т.С. Элиота, Э.М. Форстера. За этим решением, конечно, стоя-

¹ Здесь и далее перевод мой. – С.К.

ло убеждение В. Вульф в том, что в 1910 г. «человек изменился» ('human character changed') [11. P. 320], что необходимо поставить в центре современного искусства этого нового, всегда разного и сложного человека и что необходимо отказаться от «материализма» в современном искусстве в пользу «духа» ('spirit'), «души» ('soul'), «сознания» ('consciousness'), «психологии» ('psychology') [12]¹.

То, что в 1920 г. «Хогарт Пресс» выпускает «Воспоминания о Л.Н. Толстом» М. Горького, да еще тиражом в 1000 экземпляров, в этом контексте кажется неожиданным. Играй случая этот факт, действительно, объясняется, но только отчасти: а именно в том стечении обстоятельств, которое побудило С.С. Котелянского, их приятеля – еврея-бухгалтера и мигранта из России, наделенного недюжинными переводческими способностями и любовью к литературе, – взяться в 1919 г. за перевод только что вышедших в Москве «Воспоминаний» Горького и предложить совместную работу над ним и последующее его издание Леонарду Вульфу [9. P. 247]². Предложенный так неожиданно переводческо-издательский проект оказался востребованным, конечно, благодаря «встречному течению», ясно проявившемуся как в творческой жизни четы Вульф, так и в духовных поисках британского модернизма, в целом. В этом смысле издание первого, а затем и последующих «русских текстов» в «Хогарт Пресс» было неслучайным.

К 1920 г. Вирджинией Вульф, интенсивно ищущей эстетическую и философскую опору в произведениях «великих русских», в первую очередь Толстого, Достоевского, Чехова, уже опубликовано три работы о творчестве Достоевского (*More Dostoevsky* (1917); *A Minor Dostoevsky* (1917); *Dostoevsky in Cranford* (1919), эссе о Чехове и рецензия на его рассказы в переводе К. Гарнетт (*Tchekhov's Questions* (1918) и *The Russian Background* (1919), рецензия на «Казаков» Л.Н. Толстого (1917). В ее эссе 1918 г. «Перечитывая Мередит» (*On Re-reading Meredith*) и 1919 г. «Современные романы» (*Modern Novels*) и «Современная литература» (*Modern Fiction*, опубликовано позже, в 1925 г.) уже намечены мысли о русской литературе, о том, что в ней следует искать современному английскому читателю, о том, чему можно и нужно учиться у русских художников слова современному английскому писателю. Это мысли, которые чуть позже, в 1925 г., будут блестящие озвучены в обобщающем эссе «Русская точка зрения» (*The Russian Point of View*).

¹ Следует, конечно, иметь в виду, что «духовными» ('spiritual') для Вульф являлись, кроме книг русских писателей, книги, в частности, Джеймса Джойса и что под словом «душа» в ее эссе подразумеваются в первую очередь мельчайшие движения человеческих чувств, мыслей, желаний.

² В книге дается подробный рассказ об этом эпизоде: «The publication of Maxim Gorky's *Reminiscences of Leo Nikolayevitch Tolstoi* in 1920 was also another mile stone on the road of the press towards ordinal, commercial publishing <...> In 1919 he came to us with a copy of *Reminiscences*, just published in Moscow, which Gorky had sent to him, giving him the English rights. Kot suggested that he and I Should translate it and the Hogarth Press publish it. We agreed to do this and thus began a collaboration between Kot and Virginia and me in translating Russian books». Интересно и продолжение, касающееся неожиданной популярности издания (на с. 248): «Gorky's book was a great success. We <...> had to reprint it almost immediately, and in the first year we sold about 1, 700 copies» [9. P. 247].

В эссе «Перечитывая Мередит» В. Вульф сравнивает творчество английского классика с великими русскими романами и подчеркивает то важное, что находит только в последних: русские писатели «принимают безобразие» человеческих эмоций, желаний, переживаний ('accept ugliness'), и «непрерывно внимая им, проникают все глубже и глубже в человеческую душу» ('penetrate further and further into the human soul') [13. Р. 234].

В эссе следующего года проникновение в человеческую душу декларируется Вульф не только подлинным открытием русской литературы, но и важнейшей задачей современного романа. «Душа» при этом трактуется с модернистской позиции (в том числе под влиянием идей А. Бергсона и З. Фрейда) – как «темная область психологии» ('dark region of psychology'). Именно в точке этой психологии – психологии бессознательного – в эссе «Современные романы» обозначен фокус интереса современного писателя. В подтверждение своего утверждения Вульф размышляет над чеховским рассказом «Гусев» и, обобщая, говорит о «глубине» «понимания души и сердца» ('profundity' of 'understanding of the soul and heart') русскими писателями [12]¹. Более того, она идет дальше и предлагает современным английским писателям соединить внимание к мельчайшим движениям человеческого сознания и бессознательного с традиционными для «древней» британской «цивилизации» ('ancient civilization') духовными опорами – с любованием красотой, восторгом борьбы, радостью физической и интеллектуальной деятельности ('delight in humour and comedy, in the beauty of earth, in the activities of the intellect, and in the splendour of the body'). По этому «рецепту» написан ее первый модернистский роман «Комната Джейкоба» (*Jacob's Room*). Славивший «остановленные в слове моменты бытия» со «вспышками ощущений» [15. С. 30], он был задуман в 1920 г. и издан двумя годами позднее.

Таким образом, издание перевода «Воспоминаний» М. Горького в «Хогарт Пресс» предстает закономерным в контексте глубокого профессионального интереса В. Вульф к творчеству Чехова, Достоевского, Толстого. Этот интерес своеобразно преломил общее увлечение английских (и европейских) интеллектуалов в 1910–1920-х гг. русской классической литературой. Особенность этого увлечения была связана с тем, что писатели-модернисты прочитывали «великих русских» заново; что «мода на все русское», начавшись в Англии еще в 1890-х гг., получила новое направление как в свете общей атмосферы «слома эпохи» и поисков адекватного отражения ощущений «нового века»² в искусстве, так и в свете нового понимания психологии человека (ясно проявившегося в трудах А. Бергсона и З. Фрейда, некоторые из кото-

¹ Ср.: в рецензии *More Dostoevsky* В. Вульф выделяет в качестве важнейших особенностей романов Достоевского способность отразить «стремительно меняющиеся сложнейшие состояния психики» ('those most swift and complicated states of mind'), то «темное и многолюдное подземелье сознания, где желания и другие импульсы движутся вслепую» ('the dim and populous underworld of mind's consciousness where desires and impulses are moving blindly') [14. Р. 85].

² Ср.: слова Вульф о «чудовищных, смешанных, неконтролируемых эмоциях» ('monstrous, hybrid, unmanageable emotions') как примете времени в эссе 1927 г. «Узкий путь искусства» (*The Narrow Bridge of Art*) [16. Р. 219].

рых к 1910-м гг. были хорошо известны британским интеллектуалам) [6. С. 3–6].

Обращают на себя внимание, в частности, публицистические выступления писателей из ближайшего окружения Вульфов: как и в критических работах Вирджинии Вульф, в эссе Литтона Стречи и Э.М. Форстера обнаруживается потребность человека «нового искусства» опереться на дальнее и «новое» слово «великих русских» о человеке и мире. Так, в эссе Литтона Стречи 1912 г. говорится о «том... громадном и мощном вдохновении, которое мы найдем в поэтах Ренессансной Англии, с их импульсивным и могучим воображением», о том, что это вдохновение «дышит и горит в романах современных русских писателей» (о Толстом и Достоевском) [17. Р. 176]. «Ни один английский писатель не <...> дал такой полной картины человеческой жизни, с ее бытовой и героической стороны [как Толстой]. Ни один английский писатель не исследовал человеческую душу так глубоко, как Достоевский», – полемически заостренно утверждает в знаменитом эссе 1927 г. Э.М. Форстер [18. Р. 5]. И продолжает, связывая творчество Толстого с его russkостью: «После того, как почитаешь «Войну и мир» хотя бы немногого, [в твоей голове] начинают звучать великолепные аккорды <...> Они возникают из необыятных просторов России, по которым как бы разбросаны эпизоды и персонажи [романа]» [18. Р. 35]. Цитируя целые страницы «Братьев Карамазовых», Форстер прямо называет Достоевского «пророком» и, указывая, что его «характеры и ситуации всегда обозначают нечто большее, чем заключено в них самих, что «в них присутствует вечность» и видение Бога, снова связывает это с russkостью [18. Р. 120–121].

3

Перевод «Воспоминаний» М. Горького не только своеобразно воплотил постижение русской литературы английскими модернистами. С него начался новый виток развития взаимоотношений Леонарда и Вирджинии Вульф с русской литературой. Совместная работа С.С. Котелянского и Л. Вульфа над переводом книги М. Горького предполагала непосредственный перевод Котелянским текста с русского на английский и последующую редактуру Л. Вульфом «сырого» английского перевода. Чета Вульф, однако, подошла к вопросу творчески и принялась изучать русский язык¹.

То, что в период 1921–1922 гг. Вирджиния Вульф брала регулярные уроки русского языка у С.С. Котелянского, имело важные последствия для ее творчества. Во-первых, Вульф овладела русским в достаточной степени, чтобы читать по-русски и вникать в трудности перевода с русского. Во-вторых, ситуация перевода как *интерпретации*, как понимания и со-творчества привела Вульф к осознанию непроходимой границы между разными культурными мирами, что, по всей видимости, сыграло важную роль в формировании

¹ В «Автобиографии» Л. Вульфа об этом рассказывается следующее: «Kot did the first draft <...> and we then turned his extremely queer version into English. In order to make this easier and more accurate, we started to learn Russian and at one moment I had learnt enough to be able to stumble through a newspaper or even Aksakov» [9. Р. 247].

представления о конечной непознаваемости не только «иного», но и «своего», личности как таковой ('We do not know our own souls – let alone the souls of others' – известная ее сентенция из эссе 1926 г. [19. Р. 17]).

Свидетельство этому находим в знаменитом эссе В. Вульф «Русская точка зрения» (*The Russian Point of View*, 1925). Оно открывается словами о неполноте и возможной неправильности представлений англичан о русской литературе: «Мы часто сомневаемся в том, что французы или американцы <...> могут действительно понять английскую литературу; мы должны испытывать еще более серьезные сомнения относительно того, что англичане, несмотря на весь их энтузиазм, могут понять русскую литературу» [20. Р. 220]. Это предположение подтверждается рассуждением о непереводимости первоначального сплава слово-стиль-смысл, об отчужденности английского читателя от произведений русских классиков другим языком и условностями перевода, которые, как обнаруживается в тексте, автор прочувствовал на своем опыте: «Наша оценка их качеств была сформирована критиками, которые <...> вынуждены полагаться <...> на работу переводчиков <...> (но) Когда вы заменяете все русские слова в предложении на английские <...> не остается ничего, кроме упрощенной и огрубленной версии смысла» [20. Р. 220]. В контексте этого высказывания образ русской герини в романе «Орландо», ее загадочность, несводимость к представлениям героя ни о нормах женского, ни о нормах аристократического поведения, необъяснимость ее слов, жестов, манер представлениями англичан о России предстает продолжением творческого осмысления Вирджинией Вульф глубинного ощущения неравенства своего (и английского) представления о русской литературе – самой русской литературе, неравенства оригинала – переводу, в конечном итоге неравенства личности – впечатлениям от нее.

4

С перевода «Воспоминаний» М. Горького началась и новая жизнь «Хогарт Пресс»: издательство вступило в очень личный и одновременно публичный диалог с современной европейской культурой. С этого момента в «Хогарт Пресс» стали издаваться наряду со «своими» «иные» тексты, имеющие прямое отношение к важнейшим явлениям культуры современной Европы, важнейшим, конечно, не только с точки зрения Вульфов. Так, в 1930-х гг. «Хогарт Пресс» «открыл» для английского читателя поэзию и прозу Р.М. Рильке. При этом, расширяя свои издательские взгляды, Вульфы сохранили принцип новизны: все издания «Хогарт Пресс» впервые представляли текст на английском языке английской публике.

Большая часть «русских текстов» «Хогарт Пресс» приходится на период 1920–1923 гг. – время, когда окончательно определялись, оформлялись эстетические и философские опоры творчества Вирджинии Вульф. За этот период было издано 8 русских книг, что составило приблизительно третью часть от общего количества изданий – 27. Ряд русских книг, вышедших в «Хогарт пресс» в этот период, составили, помимо «Воспоминаний о Толстом» М. Горького, в 1921 году его же «Воспоминания об А.П. Чехове» (под одной обложкой с «Записными книжками» А.П. Чехова); в 1922 г. –

«Автобиография» С.А. Толстой, «Исповедь Ставрогина» – исключенный из английских изданий фрагмент романа Ф.М. Достоевского «Бесы», изданный вместе с планом «Жития Великого грешника» из «Дневника писателя» (совместная работа С.С. Котелянского и В. Вульф), «Тьма» Л. Андреева и сборник рассказов И. Бунина под общим названием «Господин из Сан-Франциско»; в 1923 г. – «Беседы с Л.Н. Толстым» А.Б. Гольденвейзера и «Любовные письма Л.Н. Толстого» (также совместная работа С.С. Котелянского и В. Вульф).

Как видим, публикации, касавшиеся творчества «великих русских», имели биографический и автобиографический характер. Это объясняется как тем, что произведения Толстого, Достоевского и Чехова уже были изданы на тот момент в прекрасных переводах К. Гарнетт и С.С. Котелянского (совместно с Дж.М. Марри), так и профессиональным интересом четы Вульф к жанрам биографии и автобиографии¹. Издание Л. Андреева представляло неизвестную английскому читателю повесть русского автора, три книги которого были переведены и изданы в Англии ранее (в 1910 вышел сборник *Silence and Other Stories*, в 1915 г. – *The Little Angel and Other Stories* и *The Life of Man*). Издание же рассказов И.А. Бунина впервые вводило произведения русского автора в круг чтения английских интеллектуалов (если не считать хвалебной рецензии Дж.М. Марри на французский перевод его рассказа «Господин из Сан-Франциско», опубликованной чуть ранее в том же 1922 г. в *The Times Literary Supplement*).

Как и в случае с «Воспоминаниями» М. Горького о Толстом и Чехове, предложение о совместной работе над переводом книги И.А. Бунина исходило от С.С. Котелянского, причем к работе над переводом «Господина из Сан-Франциско» был привлечен Д.Г. Лоуренс. В случае же с Л. Андреевым известно только, что опубликовать свой перевод предложил чете Вульф (совместно с Карлом Уолтером) переводчик с русского Л.А. Магнус [5. Р. 73–77]. «Случай» (предложение Котелянского и Магнуса – Уолтера) и «встречное течение» (согласие и многосложный интерес четы Вульф) снова совпали, но теперь издательский взгляд «Хогарт Пресс» передвинулся с творчества «великих русских» на переводы таких книг, которые расширяли представление английских интеллектуалов, в первую очередь самих супружеских Вульф, о русской литературе – в лице Андреева и Бунина современной и отчасти модернистской².

Несмотря на эти публикации, имена Л. Андреева и И.А. Бунина не появляются ни в одном эссе Вирджинии Вульф. Более того, если в эссе В. Вульф 1920-х гг. непрестанно упоминаются имена трех «великих русских» как имена писателей, давших высочайшие образцы современного искусства,

¹ См., например, автобиографии Л. Вульфа и биографию «Роджер Фрай» В. Вульф.

² Ср., в частности, слова английского литературного критика начала XX в. Дж.М. Марри о специфическом «глубоком интересе, который вызывают» рассказы Бунина и который роднит его с другими произведениями «современной литературы» [21] и характеристики «модернистское» и «металитературное» письмо в современной работе о творчестве И.А. Бунина [22. С. 84].

то к 1930-м гг. в списке имен, безусловно, вершинных для нее писателей остается (из русских) только Л.Н. Толстой¹.

Можно утверждать, что к концу 1920-х – 1930-м гг. – ко времени определения эстетических и духовных опор и расцвета творчества самой Вирджинии Вульф – ее интерес к «великим русским» закономерно начинает терять прежнюю интенсивность. Остается интерес к русской литературе в целом, который проявится позже в новых, уже очень эпизодических «расширениях» представлений о ней через издания переводов «Жития протопопа Аввакума» (предложен и осуществлен лингвистом, переводчицей, хорошей знакомой Вульфов Дж. Харрисон, издан «Хогарт Пресс» в 1924 г. с подробным предисловием Д.П. Святополк-Мирского), романа И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева» (предложен самим автором, осуществлен Глебом Струве и переводчиком Х. Майлзом, издан «Хогарт Пресс» в 1933 г.) и нового сборника рассказов И.А. Бунина под общим заголовком «Грамматика любви» (предложен американским издательством, осуществлен Дж. Курносом, издан «Хогарт Пресс» в 1935 г.). Кстати, интерес именно к Бунину был подкреплен вручением ему Нобелевской премии в 1933 г.

В то же время были и другие факторы, влиявшие на постепенное вытеснение «русских текстов» из издательской политики «Хогарт Пресс». Это и разрыв отношений с С.С. Котелянским, и обязательства по изданию так называемой Международной библиотеки психоанализа, и перенос внимания на живые процессы в современной европейской литературе, и сложность ситуации с литературой русской эмиграции и нарождающейся советской литературой, и естественная интенсификация интереса к политическим вопросам в свете последствий русской революции² в 1920-е гг. и установления фашистских режимов в Германии, Испании, Италии в 1930-е.

Самым важным фактором, видимо, можно считать политический³. Политические вопросы, вопросы колониализма и империализма, социально-политического неравенства разных слоев английского общества, перспектив построения социалистического общества в Британии в разное время поднимались в научно-публицистических работах Леонарда Вульфа (правда, публиковавшихся не в «Хогарт Пресс»). Русская революция стала для него «гигантским событием», вызвавшим чувство «освобождения и восторга», ведь «царский режим» для него, как и для многих других англичан его времени, означал «жестокую, безнравственную и некомпетентную» власть [9. Р. 207, 209]. По его инициативе был создан «Клуб 1917» (1917 Club), в заседаниях которого участвовали самые разные британские интеллектуалы, объединенные сочувствием социалистическим идеям и русской революции, – среди них Олдос Хаксли, Герберт Уэллс, Э.М. Форстер, Литтон Стрэчи,

¹ Имеются в виду упоминания о Толстом в эссе 1929 г. «Своя комната» (*A Room of One's Own*), а также критика романов Достоевского и восхищение романом Толстого «Война и мир» в эссе того же 1929 г. «Этапы литературы» (*Phases of Fiction*).

² Очень важного события для Леонарда Вульфа, выступившего одним из инициаторов создания «Клуба 1917», заседания которого часто посещала и Вирджиния Вульф.

³ В своей автобиографии Л. Вульф отмечает, что конец 1920-х – 1940-е гг. – это период, когда «в наши жизни и в жизнь каждого человека вторглась политика – и стала доминировать» [10. Р. 27].

Вирджиния Вульф. В «Дневниках» самой В. Вульф русская революция не упоминается. В них можно найти только запись от 10 октября 1917 г. о «Клубе 1917»: «Прямо сейчас Л.[Леонард] вызывает к жизни «Клуб 17» [21. Р. 57].

В 1925 г. интерес Леонарда и Вирджинии Вульф к политическим и экономическим процессам в России (несомненно, отражавший общее внимание англичан к ситуации в СССР в период 1920–1930-х гг.) проявился в издании «Хогарт Пресс» публицистической книги их друга, члена блумсберийского кружка и влиятельного экономиста Дж.М. Кейнса «Короткий обзор ситуации в России» (*A Short View of Russia*), написанной по следам его короткого путешествия в Ленинград и Москву с женой Лидией Лопуховой.

В 1930 г. «Хогарт Пресс» запустил новый издательский проект – публикацию «своевременных памфлетов» (*Day to Day Pamphlets*), коротко и емко освещавших социально-политические проблемы внутри Британии и за рубежом. Среди них первым номером шла брошюра «Россия сегодня и завтра» (*Russia Today and Tomorrow*) марксиста и защитника русской революции Мориса Добба, четвертым – «Что мы увидели в России» (*What We Saw in Russia*) лейбористов Анерина Бевана и Джона Стрэчи, седьмым – «Русские заметки» (*Russian Notes*) журналиста, социалиста Чарльза Ллойда Мостина (список может быть продолжен)¹.

В этом ряду выход в свет перевода публицистической книги Л.Н. Толстого «О социализме» в «Хогарт Пресс» в 1936 г. – продолжение интереса, скорее, к политической проблематике, чем к русской литературе. То же отчасти можно сказать и о публикации последнего «русского текста» в издательстве Леонарда и Вирджинии Вульф. Им стал роман Ю. Олеши «Зависть», переведенный (с большим количеством неточностей) молодым и неизвестным на тот момент писателем, переводчиком Р. Пейном и, по всей видимости, предложенный им «Хогарт Пресс». Экспериментаторский по форме и неоднозначный по содержанию, роман, несомненно, мог привлечь чету Вульф как образец нового искусства. Не менее важным, однако, является и контекст коммунистической России, интерес к которой, как мы видели, моделирует издательскую деятельность «Хогарт Пресс» в 1930-е гг.²

По мере приближения Второй мировой войны политика вторгается и в публицистику Вирджинии Вульф. Так появляются эссе «Художник и политика» (*The Artist and Politics*, 1936) и «Падающая башня» (*The Leaning Tower*, 1940), в которых политические вопросы необходимо определяются как важнейшие темы современного искусства: «...поэт вводит коммунизм и фашизм в свою лирику; романист <...> обращается к социальному окружению и политическим мнениям» [22. Р. 230], потому что меняется «вся

¹ В автобиографии Л. Вульфа отмечается, что «отличная, хотя и чересчур радужная» книга Добба о России, наравне с памфлетом Муссолини «Политические и социальные доктрины фашизма», была бестселлером, и справедливо указывает на то, что это являлось признаком эпохи (1930-х гг.) [10. Р. 161].

² О самой Вирджинии Вульф в «Автобиографии» ее супруга говорится следующее: «Она была <...> совсем не тем человеком, который мог игнорировать те политические угрозы, с ощущением которых мы все жили» [10. Р. 27].

цивилизация, все общество» и «невозможно <...> не интересоваться политикой», когда «везде революция» и даже дома «слышен голос Гитлера» [23. Р. 170, 172, 164].

Таким образом, история «русских текстов» в издательской политике «Хогарт Пресс» представляет отдельный исследовательский сюжет, связанный многими нитями как с творчеством Вирджинии Вульф и британских модернистов в целом, так и с политическими, социальными, духовными моментами бытия переломного, драматического периода европейской истории 10–30-х гг. XX в.

Литература

1. *Willis J.H.* Leonard and Virginia Woolf as Publishers: the Hogarth Press, 1917–1941. Virginia: University Press of Virginia, 1992. 451 p.
2. *Woolmer J.H.* A Checklist of the Hogarth Press 1917–1946. Revere: Woolmer/Brotherson, 1986. 250 p.
3. *Leonard and Virginia Woolf*, the Hogarth Press and the Networks of Modernism / ed. by H. Southworth. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 722 p.
4. *Translations from the Russian by Virginia Woolf and S.S. Koteliansky* / ed. by S.M. Clarke. Fairhaven: Virginia Woolf Society of Great Britain, 2006. 319 p.
5. *Davies R., Rogachevki A.* Grouping in the Dark: Leonid Andreev and the Hogarth Press // Toronto Slavic Quarterly. Spring 2011. № 3. P. 66–90.
6. *Davison C.* Translation as Collaboration: Virginia Woolf, Katherine Mansfield and S.S. Koteliansky. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. 256 p.
7. *Рогачевский А. И.А. Бунин и «Хогарт пресс»* // И.А. Бунин. Новые материалы. Вып. 1. М., 2004. С. 333–353.
8. *Southworth H.* Introduction // Leonard and Virginia Woolf, the Hogarth Press and the Networks of Modernism. P. 1–28. P. 2–5.
9. *Woolf L.* Beginning Again. An Autobiography of the Years 1911–1918. L.: Hogarth Press, 1965. 260 p. P. 233.
10. *Woolf L.* Downhill All the Way: An Autobiography of the years 1919–1939. L.: Hogarth Press, 1967. 259 p. P. 80.
11. *Woolf V. Mr Bennet and Mrs Brown* // Woolf V. Collected Essays: in 2 vols. L.: Hogarth Press, 1966. Vol. 1. P. 319–337. P. 320.
12. *Woolf V. Modern Novels* (опубликовано в *Times Literary Supplement* 10 апреля 1919 г.). Электронный доступ: <http://xroads.virginia.edu/~class/workshop97/gribbin/modern.html>
13. *Woolf V. On Rereading Meredith* // Woolf V. Essays: in 2 vols. L., 1966. Vol. 1. P. 233–237.
14. *Woolf V. More Dostoevsky* // Woolf V. Essays: in 4 vols. Oxford: Clarendon Press, 1986–1994. Vol. 2. P. 82–86.
15. *Гениева Е.* Вирджиния Вулф. Комната Джейкоба // Иностр. лит. 1991. № 9. С. 29–31.
16. *Woolf V. The Narrow Bridge of Art* // Woolf V. Collected Essays: in 2 vols. Vol. 2. P. 218–229.
17. *Strachey L. Dostoyevsky* // Strachey L. Spectatorial Essays. L., 1964. P. 174–179.
18. *Forster E.M. Aspects of the Novel*. L.: Penguin Classics, 2000. 204 p.
19. *Woolf V. On Being Ill* // Woolf V. The Common Reader. Second Series. L.: Hogarth Press, 1974. 270 p. P. 16–24.
20. *Woolf V. The Russian Point of View* // Woolf V. Common Reader. L.: Hogarth Press, 1948. 305 p. P. 219–231.
21. *Murry J.M. The Stories of Ivan Bunin's* // Times Literary Supplement. 1922. April, 20. P. 256.
22. *Анисимов К.В.* Пасхальные мотивы в рассказе И.А. Бунина «Легкое дыхание» // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2016. № 6 (44). С. 83–94.
23. *Woolf V. The Diary*: in 4 vols. L.: Hogarth Press, 1977. Vol. 1 (1915–1919).
24. *Woolf V. The Artist and Politics* // Woolf V. Collected Essays: in 2 vols. Vol. 2. P. 230–232.
25. *Woolf V. The Leaning Tower* // Woolf V. Collected Essays: in 2 vols. Vol. 2. P. 162–181.

RUSSIAN LITERATURE IN THE PUBLISHING POLICY OF THE HOGARTH PRESS (1920S–1930S)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 197–208. DOI: 10.17223/19986645/50/13

Svetlana B. Koroleva, Linguistic University of Nizhny Novgorod (Nizhny Novgorod, Russian Federation). E-mail: an.korolev@mfisoft.ru

Keywords: publishers, translation, Russian literature, British modernism, Virginia Woolf.

The article focuses on the history of publication of translations from Russian by Leonard and Virginia Woolf as publishers. The history of these publications is looked upon as a particular plot in the Woolfs' publishing policy – a plot which corresponds to the major aesthetic and ideological demands of British modernists, as well as to the atmosphere of the epoch.

Publishing translations from Russian in 1920–1936 by the Hogarth Press is shown to be consistent with Virginia Woolf's profound interest in works by the 'great Russians' (Chekhov, Dostoevsky, Tolstoy), and with British intellectuals' general enthusiasm in the 1910s–1920s for the Russian writers. The fact that this enthusiasm was based on a particular interpretation of Russian novels, stories and plays, in which British modernists found both adequate means of expressing new feelings of their 'new age' and a modernist understanding of human psychology, is of utmost importance here. The publication of translations from Russian by the Hogarth Press deepened British readers' notion of Russian classical literature, expanded their horizon concerning Russian literature's past and present, and at the same time opened new prospects for the publishers. Beginning from its first Russian edition – a translation of M. Gorky's *Reminiscences of L.N. Tolstoy* – the Hogarth Press started publishing (alongside the texts of the Woolfs' circle) such texts of 'other' authors that concerned different significant phenomena of contemporary European culture. Thus, broadening their publishing outlook and changing their publishing politics, the Woolfs kept to the principle of novelty: all new publications of the Hogarth Press introduced British readers to a text in English for the first time. Finally, publishing the translation of M. Gorky's *Reminiscences* engendered a new phase of Virginia Woolf's relations with Russian literature. In the period between 1921 and 1922 she began reading in Russian, and learnt how many difficulties there are in the process of translation (from Russian into English). That, in its turn, brought her to the concept of impassable boundaries between different national cultures, the concept that played an important role in forming her idea of a person's incomprehensibility.

The article determines the causes and periods of publishing translations from Russian by the Hogarth Press; the historical and cultural context of these publications; the peculiarity of the selection of the texts; the influence of the Woolfs' involvement in text translation on both the publishing policy of the Hogarth Press and Virginia Woolf's creative writing. The article traces different motives of disappearance of books by Russian authors from the list of the Hogarth Press publications in the late 1930s.

References

1. Willis, J.H. (1992) *Leonard and Virginia Woolf as Publishers: the Hogarth Press, 1917–1941*. Virginia: University Press of Virginia.
2. Woolmer, J.H. (1986) *A Checklist of the Hogarth Press 1917 – 1946*. Revere: Woolmer/Brotherson.
3. Southworth, H. (ed.) (2010) *Leonard and Virginia Woolf, the Hogarth Press and the Networks of Modernism*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
4. Clarke, S.M. (ed.) (2006). *Translations from the Russian by Virginia Woolf and S.S. Fairhaven*. Virginia Woolf Society of Great Britain.
5. Davies, R. & Rogachevki, A. (2011) Grouping in the Dark: Leonid Andreev and the Hogarth Press. *Toronto Slavic Quarterly*. 3. pp. 66–90.
6. Davison, C. (2014) *Translation as Collaboration: Virginia Woolf, Katherine Mansfield and S.S. Koteliansky*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
7. Rogachevskiy, A. (2004) I.A. Bunin i "Khogart press" [I.A. Bunin and the Hogarth Press]. In: Korostelev, O. & Davis, R. (eds) *I.A. Bunin. Novye materialy* [I.A. Bunin. New materials]. Is. 1. Moscow: Russkiy put'.
8. Southworth, H. (2010) Introduction. In: Southworth, H. (ed.) *Leonard and Virginia Woolf, the Hogarth Press and the Networks of Modernism*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

9. Woolf, L. (1965) *Beginning Again. An Autobiography of the Years 1911–1918*. London: Hogarth Press.
10. Woolf, L. (1967) *Downhill All the Way. An Autobiography of the years 1919–1939*. London: Hogarth Press.
11. Woolf, V. (1966) *Collected Essays: in 2 vols.* Vol. 1. London: Hogarth Press. pp. 319–337.
12. Woolf, V. (1919) Modern Novels. *Times Literary Supplement*. 10 April. [Online] Available from: <http://xroads.virginia.edu/~class/workshop97/gribbin/modern.html>.
13. Woolf, V. (1966) *Essays: in 2 vols.* Vol. 1. London: Hogarth Press. pp. 233–237.
14. Woolf, V. (1986–1994) *Essays: in 4 vols.* Vol. 2. Oxford: Clarendon Press. pp. 82–86.
15. Genieva, E. (1991) Virdzhiniya Vulf. Komnata Dzheykoba [Virginia Woolf. Jacob's Room]. *Inostrannaya literatura*. 9. pp. 29–31.
16. Woolf, V. (1966) *Collected Essays: in 2 vols.* Vol. 2. London: Hogarth Press. pp. 218–229.
17. Strachey, L. (1964) *Spectatorial Essays*. London: Chatto and Windus. pp. 174–179.
18. Forster, E.M. (2000) *Aspects of the Novel*. London: Penguin Classics.
19. Woolf, V. (1974) *The Common Reader*. Second Series. London: Hogarth Press. pp. 16–24.
20. Woolf, V. (1948) *Common Reader*. London: Hogarth Press. pp. 219–231.
21. Murry, J.M. (1922) The Stories of Ivan Bunin's. *Times Literary Supplement*. 20 April. pp. 256.
22. Anisimov, K.V. (2016) Paschal motifs in Ivan Bunin's “Light Breathing”. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6 (44). pp. 83–94. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/44/6
23. Woolf, V. (1977) *The Diary: in 4 vols.* Vol. 1 (1915–1919). London: Hogarth Press.
24. Woolf, V. (1966) *Collected Essays: in 2 vols.* Vol. 2. London: Hogarth Press. pp. 230–232.
25. Woolf, V. (1966) *Collected Essays: in 2 vols.* Vol. 2. London: Hogarth Press. pp. 162–181.

УДК 882.09(075.8)

DOI: 10.17223/19986645/50/14

И.И. Плеханова

ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ В ПРИМЕНЕНИИ К ПОЭТИЧЕСКОМУ МЫШЛЕНИЮ ЕКАТЕРИНЫ БОЯРСКИХ

В статье рассматривается лирика Екатерины Боярских как выражение новой тенденции – разработки внедискурсивного образа мышления. Его цель – обретение нового языка, преодоление культурной заданности мировосприятия, вторичности ассоциаций, филологической рефлексии над формой. Междисциплинарный подход позволяет охарактеризовать сочетание неопределяемости лирического самосознания и неназываемости феноменов как поэтическое выражение неклассической картины мира, как художественную версию принципа неопределенности.

Ключевые слова: Е. Боярских, внедискурсивное мышление, принцип неопределенности, междисциплинарная методология, новое поэтическое сознание.

Методологические установки

Новое приходит в поэзию как небывалый язык и образ мышления. Новое в современной лирике связано с выходом за пределы дискурсивной заданности, т. е. сложившихся моделей самоопределения: эстетической, философской, религиозной и др. Причина – ситуация универсальной нестабильности: от неклассической научной картины мира в физике и космологии до очевидных исторических перемен с угрозой сокрушительных геополитических, социальных, культурных, антропологических перспектив [1, 2]. Чуткость поэта – неотменяемое качество подлинно творческого дара, как и непредсказуемость его самовыражения. Когда вся цивилизация – от социальных моделей до мировой системы отношений, от ментальности до экономики – перестраивается на совершенно новых основаниях, эта тектоника не только переживается, но осваивается в поиске личных основ существования, а в творчестве – тем, слов, форм, ритмов, самого образа высказывания. Это уже не комбинационная игра концептуализма с готовыми моделями, а ничем не заданный поиск нового языка для отражения беспрецедентно развивающейся реальности и рефлексии при её восприятии.

Новая лирика – переживание неясности состояния мира, причина – неопределенность самосознания человека, не только растерянность, но понимание невозможности полной самоидентификации и потому неизбытная несамотождественность. Это переживают представители разных поколений – независимо от наличия – отсутствия идейной доминанты в сознании. Так религиозно мыслящий О. Чухонцев (род. в 1938 г.), переходя на язык научной гносеологии, описывает итоги долгой жизни как утрату опор вовне и внутри себя:

уходит и уплывает
всё уплывает и всё уходит <...>

дерево стачивается в труху ибо шашель жив
только он и жив а потом развеивается мгла
и в ясном режущем свете дня зияет
онтологическое ничто абсолютный ноль
пустота которой можно залюбоваться

будь Наблюдающий но за отсутствием оного
нет и объекта
(«уходит и уплывает...») [3. С. 73]

У А. Родионова (род. в 1971 г.), полного сил живописца маргинального урбанизма, в качестве наблюдателя представлен носитель иносознания – за-пределного, внечеловеческого, абсурдно-отрешённого:

Кот глядит из-за окошечка
на прохожих, на машины
на воробушка, на голубя
кот глядит из той квартиры
<...>
котик, как мой мёртвый родственник
не по крови, а по нервам
прозревает из-под простины
суету живых консервов
(«Кот глядит из-за окошечка...») [4. С. 9].

Упразднение роли поэта в качестве наблюдателя – зеркала, органа познания, любви, сопереживания миру – симптом перехода лирики из модуса прямой я-рефлексии в запечатление остранных присутствия сознания в реальности, которая тоже не имеет семантически чётких или же ценностно определённых координат. Это может быть интуитивным отражением ситуации неопределенности – как общего состояния мира и неясности человека самому себе, а может стать темой творчества. Думается, такова главная тема лирики иркутского поэта Екатерины Боярских (род. в 1975 г.). В последнем на настоящий момент сборнике стихов тема неопределенности как ситуации открытия возведена в стихотворении «Двойное дно» в степень декларации:

Я разучилась это разлучать. Огонь похож на счастье, мост на старость.
Ручей, как мысль, уходит из-под ног.
Я отключилась это отличать и становлюсь похожа на дорогу,
мы с ней растём в долину и в длину и на спине лежим под вечным солнцем,
пока вода руками моет мрамор.

Я потерялась в этом приземленье, где полдороги отдано потоку,
где часть ручья накрыла часть пути.
Пока вода не делает ошибок, пока дорога с ней наедине,
они непобедимо равносильны. Двойное дно, двойное освещенье –
неотделимы, неопределимы. Тогда и я оправдана вдвойне.

(курсив мой. – И.П.) [5. С. 32]

В первой строке заявлена творческая позиция – открытие не перетекающего всеединства разнородного, а неразличимости его взаимоотражений:

«Огонь похож на счастье, мост на старость». Неразличимость не объективна – таков выбор поэта, стремящегося к неопределенности собственного «я»: «Я отключилась это отличать и становлюсь похожа на дорогу». Неопределенность – не потеря субъектности, но условие вхождения в среду, которая лишена чётких границ. Лирический сюжет развивается как двойственное самопознание – в стабильном и в подвижном, как опора сразу на твёрдое (путь) и несущее (поток), а само движение становится творением стиха: «Дойти до этой строчки и вернуться, / и не вернуться, и не пожалеть» [5. С. 32]. Творение не ведёт к отчётливо сбывающемуся самовыражению творца, оно неясно, текуче, неполно, раздвоено и отчуждённо: «Я заблудилась в этом воплощенье. <...> Пока я то, что знает обо мне» [5. С. 32]. Ценность двойственного состояния сознания-творения в том, чтобы сохранить верность органичной стихии, включиться, погрузиться и утвердиться в подвижном – «ощущать родное дно единого теченья» [5. С. 32]. Содержание зреющего стиха чрезвычайно, как откровение, но суть его мерцает – это и всезнание, и пророчество, и сообщение об отсутствии значимого: «Я расскажу, как было и как будет, / я расскажу, как было и не будет, / я расскажу, как не было и будет, / и замолчу, как не было и нет» [5. С. 33]. Так неопределенность заявлена как источник вдохновения, образ самосознания и исчерпывающая полнота известия. Это особая целостность – подвижная взаимообусловленность неустойчивого и очевидного, когда опорой остаётся личная воля, которая ищет резонанс с внешней нестабильностью.

Такая познавательно-творческая коллизия может быть описана по аналогии с *принципом неопределенности* в гносеологии. Термин пришёл из неклассической физики: В. Гейзенберг сформулировал его как объективное условие исследования, когда невозможно одновременно точно измерить как импульсы, так и координаты частиц. Релятивистский принцип применяется к описанию «субатомных взаимодействий» [6], но фактор неопределенности вошёл в гносеологию как методологическая установка, допускающая неабсолютность точного знания. Так в теории относительности истина зависит от условий наблюдения: «одновременность может быть определена только относительно данной системы отсчёта» [7. С. 281]. Допущение неопределенности в познании коррелирует с *принципом дополнительности*, с увязкой разнородного: так, по И. Пригожину, «бытие и становление должны рассматриваться не как противоположности <...> а как два соотнесённых аспекта реальности» [7. С. 383]. Сокрытое целое включает в себя непредсказуемую нестабильность как условие существования: «...быть может, существует более тонкая форма реальности, охватывающая законы и игры, время и вечность» [7. С. 384] – а это уже предмет описания для поэзии. И. Пригожин оставлял за ней право на истину – собственную «концептуализацию» [7. С. 290], на участие в общем процессе, ибо «каждый язык способен выразить лишь какую-то часть реальности» [7. С. 290].

Расположенность к восприятию неопределенности, органичная способность осваивать новое, нестабильное, ненадёжное – показатель соответствия индивидуума современной социокультурной ситуации. Это проявляется в мышлении и творчестве (на языке психологии – «в регулятивном единстве интеллекта и аффекта»), в процессе «смыслообразования и самосознания

личности (в регуляции свободных действий и свободы выбора)» [8]. Переход из природного существования в режим функционирования информационной цивилизации, переключение сознания с созерцания на поисковую активность, требующую аналитической рефлексии, актуализирует интеллектуальную доминанту сознания. М. Ямпольский указывает на изменение общей ментальности: «Сегодняшняя ситуация в культуре, в той мере в какой она бросает вызов системе двоичных оппозиций, неотвратимо сталкивает нас с проблемой неопределенности» [9. С. 44]. Более того, сама культура становится теперь источником фундаментальной неясности: она, как «некая вторая природа, созданная человеком, в которой мир обработан по законам языка и смысла», уже сама «создаёт вторичный слой неопределенности» [9. С. 7].

М. Ямпольский, исследуя интеллектуальную рефлексию неопределенности визуальном искусстве XX в. (знаки, живопись, кинематограф), выявляет «механизм порождения неопределенного», когда «смысл колеблется между видимым и словесным, символическим и воображаемым, дейксисом и анафорой» [9. С. 45]. Примечательно, что этот тип рефлексии оперирует авторитетными дискурсами, знаками, занимается перекомбинацией мистических значений, рецепций, углублением в тайны. Рациональное прочтение эзотерических знаков «вечного знания» сочетается с динамикой темпорального восприятия зыбких смыслов в их становлении. Так неклассический тип художественной рефлексии коррелирует с неклассическим типом научного мышления: восприятие мерцающей семантики удовлетворяет как эвристический эффект, процесс важнее результата, неопределенность самоценна как состояние рефлексии.

Цель обсуждения феномена неопределенности в поэзии Е. Боярских – раскрыть системность его присутствия в лирических темах, формы проявления в языке, образности, субъектной идентификации и ритме. Задача состоит в определении степени самобытности художественного мышления поэта – осуществления рефлексии через освоение культурного опыта, т. е. представление своего видения в соотнесении с известными дискурсивными практиками, или создания собственной картины мира – изобретения языка, ассоциаций, приёмов выстраивания целостного смысла на основе нетождественности означаемого и означающего.

Открытие темы и векторы её осознания-освоения

Лирика Екатерины Боярских – сплав пронзительной чуткости к внутренней жизни окружающего мира (природа, предметье, пространство в движении) с интенсивной культурной рефлексией (сказывается филологическое образование, помноженное на культурный контекст всемирной отзывчивости, в котором росло первое поколение постперестройки). Названия вышедших книг показывают движение от высокоинтеллектуального самоопределения к поиску собственной и уникальной формулы целого. В первой книге «Dagaz» (2005) интегрирующим началом стал знак – последняя руна германского алфавита Dag, символизирующая полдень, свет, середину лета [10. С. 338]. Название книги «Женщина из Кимея» (2009) расшифровывается на

первой странице отсылкой к роману Урсулы Ле Гuin «Техану» как природно-книжный образ лирического «я» – это «старая рыбачка, никакая не ведьма и совсем ничему не обученная; но она придумывала песни» [11. С. 6]. Книга прозы «Палеоветер» (2015) содержит фантастические истории и лирические заметки, её название даёт определение силе, соединяющей в себе стихию природы и времени, с которой поэт входит в резонанс: «Кто зовёт на этом ветру: перероди меня наново, навсегда с миром, и пусть на обожжённых холодах лицах его ещё раз зазвенит отчаянье. Тогда ветер успокоится» [12. С. 111].

Название книги «Народные песни дождевых червей» (2016) связывает все стихи сложной ассоциацией: черви представляют как «почву», так и парадоксально трансформированную гиперболу «сожившей с ума анатомии» у Маяковского – «Сплошное сердце – / гудит повсеместно» («Люблю», 1922) [13. С. 520], ибо у дождевых червей целых пять сердец. Если в предшествующей книге «червяк тихонько плачет, / пять сердец его не бьются о любви – земля молчит» [11. С. 53]), то теперь «сердце» бьётся почти во всех стихах сборника. Так стихотворение «Словарь освобождения» начинается с природной благодати: «Маленькие дожди / идут под землю / дружить с червями» [5. С. 30], – разворачивается как тема печальной любви, представляя сердце коммуникатором, прикладываемым к «переговорному устройству», и завершается творческим катарсисом: «После ясной болезни / словарь освобождения / помнится» [5. С. 30]. Так поэтическому «словарю освобождения» можно внимать «как пению червяка», но не в ключе певца, как это было у Бродского («Примечания папоротника», 1989) [14. С. 50]: каждый текст Боярских можно уподобить подвижному длинному телу – сплошной сердечной системе, а всю книгу «народных песен» – многоголосию сердец, многих и разных в каждом отдельном стихотворении. Так филологическая культурная память стремится укорениться в земле даже не корнями слов, а физиологией, жизненной «почвой» пения, его органической неизбежностью – откликом на дожди, тепло и сердечную волю.

Очевидна тенденция к «натурализации» поэтического мышления и слова, что в наблюдениях критики за эволюцией Е. Боярских одобряется как «движение от стихотворной филологичности – к онтологичности» [15]. Действительно, интеллектуальная герметичность – следствие обособления культуры от природы, когда стихию едва ли не замещает «языковая тайна, “лингвистическая бездна”» [16. С. 84], как высказал своё ощущение писатель, герой В. Макарина. Исследования констатируют, что «сближение поэзии с филологией – магистральная линия развития поэзии в XX веке» [16. С. 6]. «Филологизм текстов» проявляется в том, что язык «всё больше и больше становится не столько средством высказывания, сколько объектом внимания» – это «сосредоточенность поэтов в рефлексии над словом, грамматической формой, строением фразы, логикой формирования значения, поведением слова в изменяющемся мире» [16. С. 6]. Но в случае Е. Боярских языковая игра, думается, стала средством запечатления той самой неопределенности, когда природа, окружающий мир видится заново, без культурных установок, – и состояние сразу целостности, подвижности и самобытности передано в рефлексии познания мира и языка как средства его отображения.

Образ мышления поэта сочетает аналитическую системность с чуткой непосредственностью рефлексии: стихи в книгах разведены по разделам, названия которых образуют общий вектор познания, отдельные тексты представляют его импрессионистические сюжеты. Композиция стихотворения прихотлива, реальное впечатление – как рычаг, который переворачивает мир, становится импульсом для развертывания спектра ассоциаций, самих себя развивающих фантазий, концовка – как замок, охватывает целое. Классическая форма силлабо-тонического стиха с точной рифмой тяготеет к интонации дольника, делая сложное естественным. Так состояние природного времени, став метафорой, воспринято и пережито как образец для своей судьбы:

Вот и сгорела бумажка лета,
как деревянная школа где-то
в воображаемом междуречье,
преображенная до нигredo,
до красоты обнажённой печи
посередине пустого поля.
Выгореть бы до дневного света,
до оглушительного покоя.
Я понимаю именно это,
когда выдумываю другое [5. С. 23].

Финал как будто раскрывает творческий принцип – нетождественность образа смыслу, неопределенность, нефиксированность семантики как инструмент игры – в том числе и превращения жуткого в прекрасное («красота обнаженной печи»). Требование ясности самосознания парадоксально ищет иносказания. Ещё одно короткое стихотворение – «Третий этаж» – подтверждает действенность того же творческого принципа – название как будто не соответствует содержанию, ибо откровение любви переживается на «втором этаже», а «третий» представляет собой недосягаемую тайну хрупкого мироздания – с ненадёжной мыслительной конструкцией, не позволяющей его освоить:

Выше я не ходила – всё сгнило, только ползком,
а на втором лежит огромное сердце.
Если кто босиком, слышно, как оно бъётся.
А если раздеться и лечь на пол,
то ничего, кроме него,
не остаётся [5. С. 26].

Неопределенность предполагает мерцание смысла сказанного, что вообще соответствует природе образа, но Е. Боярских её акцентирует, в том числе в авторефлексии. Книга «Dagaz» выстроена как суточный цикл переживаний, вырастающий до метафоры, что и зафиксировано в названиях разделов: «Утро» – «День» – «Вечер» – «Ночь». Подвижность являет себя как в импрессионизме, когда смысл и образ открываются в ореоле освещённости и временности. Первый цикл начинается с «Умывания земли» – восхищения неразличимостью личного и общего существования: «Пока живородящая спала,
/ живых мальков выплескивала мгла / и ясен был янтарный промежуток – /

скользящий перелив небытия, / и половина их была как я – / из тазика умылась и воскресла» [18. С. 15]. Последнее стихотворение завершающего цикла «Ночь» – «Под солнцем времяя рек...» – указывает на метафорическое родство ночи с зимой, на пульсацию смысла: «под солнцем времяя рек не замечает, как меняются / летучие сезоны, как немыслимо мерцают времена» [18. С. 89]. Лирический сюжет отрещения сознания от собственного «я» венчается как будто полным освобождением:

Усталость отменяется внутри, как неспособная
к особому полету,
светло, и неизвестные окрестности божественно-пусты,
и голова
не думает о том, кто отрубил ее, стрекочет, и щекочет,
и летает,
и бездумно чуть заметно повторяет:
ну, пожалуйста, пожалуйста, прости меня, прости меня,
прости меня, прости меня, прости
«Под солнцем времяя рек...») [18. С. 89].

Мотив «отрубленной» головы может трактоваться как ассоциация с веющей головой растерзанного менадами Орфея – воскрешающей миссией поэзии [19. С. 9], но в контексте переживания неопределенности этот образ, скорее, передаёт чувство освобожденного, «чистого» сознания – тот тип лиризма, который реализует подвижность, незаданность, самобытность мышления.

В первой книге заявлен принцип неопределенности «я», который станет началом разработки всей темы, поскольку процесс познания неназываемого есть двойная рефлексия – сразу об объекте и о субъекте в их взаимодействии. Это движение к буквальному самоопределению – кто «я»? каковы границы и образы «я» – душа, дух, сознание? каким поэт ощущает себя в поиске смыслов? В стихотворении «Ллес» цепочка образов-определений ненарекаемого пространства приводит к местоимениям, к субстантивации изобретённых наречий: «Чудо, глиняных линий сон, / безымянных движений сонм – / нет в нем ничего, ничьего. / Тут места не от мира сего, / ничуть глухая, нездесь» [18. С. 43]. Само название с удвоенной «лл», видимо, сплав глагола «люблю» с «лесом». Поэтическое самосознание теряется в идентификации: «Я гляжу сквозь природу глаз, / я ишу единственный лес, / но он все уходит в даль <...> я рада держать эту боль. / Какого я рода? <...> Я скитаюсь в преддверьях, а в дверь не проник, / слишком устал для таких дверей, / самодвижный, / самодержавный крик / запускаю ввысь, как воздушный змей, / запомнил многое, забыл одно, / берега мои рассыпятся, вынырнет дно, / берега мои воротятся, хлынут ключи, / но и в новые ворота тот же лес застучит» [18. С. 44]. Так осознаётся условие творчества – открытие небывалых слов совершается через самоотречение, требующее отречения от языковых норм и грамматических форм самоопределения.

В «Женщине из Кимея» лирическое самосознание отвечает на другой вопрос – какова цель призвания? Оно связано с определением в неведомом пространстве и открывающимся в неизвестность времени:

Какая тень до родины дочитает, на небо
переберётся?

Долго. В холодном свете сидеть на чужом пороге
по времени – на рассвете, у времени – на дороге,
не говорю – вдыхаю и выдыхаю,
не кто такая – куда, для чего такая.

(«О вечном холоде и вечном огне») [11. С. 37].

Развивается тема не столько мук творчества, когда бросает то в жар, то в холод, а обретения состояния, охватывающего оба энергетических полюса, перевоплощения в никому не ведомое двуединство: «Тьмы тем, снег в снег – аспирин и вата, / это твоя расплата, твоя зарплата, / глупая кочерыжка, бедная деревяшка, / это твоя награда – что ничего не страшно. / Горе меня не видит, город меня непомнит. <...> Мир погасил, имени не спросил – / вечный огонь горит. / Он не погас, он горит за нас. / Из нас. Из последних сил» [11. С. 37]. «Я» переживает череду метаморфоз, ассоциируется сначала с «тенью», теряет «имя», а в итоге превращается в «нас» – происходит не умножение, а упрочение чувства субъектности – через переживание общности судьбы творцов.

Лирическая проза книги «Палеоветер» содержит в разделе «Горан» рефлексию собственного творчества. Сербское мужское имя стало образом языка, на котором мыслит поэт, – одновременно узнаваемого и неизвестного: «Горан – это отсутствие Горана. Дай ему имя, и оно заговорит. Ты услышишь, как говорит отсутствие того, что с тобой говорит» [12. С. 113]. Неопределенность включает в себя опору на смысл и его преодоление: «Отталкнись от этого имени, откажись от него. Отталкивайся от имени как от трамплина, выпрыгни в имя, как в окно» [12. С. 113]. Так начинается творчество заново, безопорный поиск подлинного слова: «Горан – это то, делает из тебя его отсутствие» [12. С. 114]. Творение начинается с самозабвения и ощущения себя одновременно чем-то вроде Протея и сгустка буйной энергии: «Я не человек, товарищ фермер, – рапортую поймавшему меня на территории сознания. Я дикая игра, я взрываю коридоры под землёй, я уйду живым в любую минуту, в воронёную траву без окошек. На моём месте вырастет чистый лист» [12. С. 114]. Объёмы открытого и познанного обусловлены несамотождественностью: «Принимай всё, отвергай всё – ты примешь не больше, чем кое-что, отвергнешь не больше, чем кое-что, потому что сам ты – кое-что» [12. С. 115]. Несамотождественность – условие всеохватности: «Здравствуй, аутичная табуретка. Отпусти меня, я тебя не понимаю, я не хочу быть в доме, не хочу истории, я могу быть заново и хочу неизвестных слов. Какая-то ты живая и бесконечная. Я не понимаю тебя. Я или пойму всё сразу, или я навсегда я, а ты – это табуретка» [12. С. 117]. Уйти от жёсткой формы, от её примитивной функциональности – императив преодоления всех границ, а неорганизованность, бесструктурность – условие проявления небывалого: «У меня нет сюжета – проясняется речь. У меня нет скелета и построения, я не закон, а дракон из воздуха. <...> Я больше дракона, сильней сравнений. Нет другого воздуха, только я» [12. С. 125–126]. Неопределенное «я» отражается в текучем и изменчивом: «Дай я посмотрю на тебя, говорит речь. Так, чтобы мы были одно. Правда. Молчать. Молчать» [12. С. 126]. Правда, подлин-

нность, молчание, тишина, пустота – образы состояния абсолютной насыщенности и безмерности – венчают творение, устремлённое в бесконечность познания и мира и своего «я».

Типология мышления и специфика самоопределения в неопределённости

Неопределенность как тема и образ мышления сближается с метафизикой – объектом осознания (непостижимое), образом определения (косвенное называние) и способом высказывания (стихия речи). Взаимообусловлены цели – открытие небывалого и самоопределение в нём. Так описывал познавательный процесс М. Хайдеггер: «Только на основе удивления – т. е. открытости Ничто – возникает вопрос “почему?” <...> Вопрос о Ничто нас самих – спрашивающих – ставит под вопрос. Он – метафизический» [20. С. 26]. Соотнесение с философским направлением современной поэзии перспективно, поскольку его расцвет пришёлся на 70–90-е гг. XX в., но к началу XXI в. главные фигуры или ушли (И. Бродский, Г. Сапгир, Г. Айги, Е. Шварц), или остались стихи (И. Жданов, О. Седакова), а новые поэты (Б. Рыжий, В. Павлова, И. Ермакова, М. Степанова, А. Родионов и др.) обратились лицом к живой жизни – её органике и физиологии. Место Е. Боярских в этом ряду – переходное: отрешённо метафизическое мышление сосредоточено на физически пронзительном восприятии реальности, когда неопределенность открывается как таинство очевидного мира.

Проживание неопределенности – как первозданности мира и его неназываемости, окольности высказывания о нём и о себе – стало принципом творчества, когда исчерпал себя путь культурных аллюзий. Так «путешественник ниоткуда» не хочет опираться на узнавание – «Память рядом, но за барьером» – и выпадает из времени («из которого я исчезла»), чтобы праздновать общую свободу творческого существования: «Разделённый на до и после, / мир открыт для неповторенья. / Полный доступ. Дырявый космос. / Лестница ангелов оперенье» («Дождь сиреневый, камень белый...») [5. С. 51]. Между физикой и метафизикой нет границ: в тексте, как и в сознании, нераздельно соприсутствуют видимый сиреневый дождь, таинственные чёрные дыры, мистические воздушные пути (лестница из сновидения Иакова [Быт. 28:12]) – это не эклектика опыта и культурного знания, но вариации чуткости к тайнам при перетекании зрения в умозрение.

Четвёртая книга представляет правду такого мирочувствования как простоту: «Народные песни дождевых червей» разделены на «Простые вещи», «Простые песни» и «Существа». Казалось бы, простота предполагает ясность «вещей» и потому исключает их неопределенность, но если она понимается как чистота сознания и субстанции знания, то это требует освобождения от конкретного. Познание-творчество совершается через боль и потерянность, этой темой экспрессивно открывалась «Женщина из Кимея»: «Где начинаю – шрам, ожог, / безвестно жив, неизвестно цел <...> а я не та, я не там, никто – / я след от зубов огня» («Шрам») [11. С. 9]. Теперь боль и чуткость концентрируются во взгляде: «на месте сердца будет око» («По Встречной, по Первой-

чальной...») [5. С. 14]. Субстанциальность сознания («простые вещи») достигается через освобождение от частных определений: «Взгляд живёт, / оставив пустые латы / голода, пола, дела, породы, платы. <...> ...я сбылась, забылась / и стала взглядом» («Там, на окне, огонь под открытым ветром...») [5. С. 11]. Субстанция личности – душа, а её материя – воздух, и здесь события вершатся вопреки законам физики: «Воздух принял облик человека, / поменял себя с собой местами. / Допустил провалы и просветы, / упустил неважные детали. <...> Бесконечный, запертый в конечном, / воздух понимает, что он воздух, / и бросает камень человечий / в пропасть человеческого роста. <...> Этот воздух прожил этот облик. / Этот облик любит этот воздух» («Воздух») [5. С. 34–35]. Последние слова фиксируют «простую форму» существования «я», но когда облик пытается осознать себя как отдельное существо, то самый надёжный приём – апофатическое определение: «Так вот я кто – не камень, не зола. / Не дерево, молчащее, как время» («Так вот я кто. Не камень, не зола...») [5. С. 63]. Нетождество, отсекая версии и будто бы приближаясь к цели, на самом деле открывает бесконечный ряд соотнесений – и утверждается в отрицании как положительном узнавании себя.

Состояние неопределённости передают языковая игра и метаморфозы образов. Так, вслед за отчуждением от точного имени меняются грамматические формы выражения субъектности: «имени одного моего не сказать никому, / об этом ни втайне, ни въяве не говорят. <...> Помоги, вода, уноси меня тысячу лет подряд / от имени его моего, / потому что оно – огонь и зелёный цвет. // Я нёс реку, пока она меня проносила по дальнему / бескрайнему дню (здесь и далее курсив мой. – И.П.)» («Зелёная молитва тебе») [11. С. 76]. Поэт говорит от имени человека вообще: «Преобрази, господи, поменяй – / так и просил, пока находилось сил. <...> Я и того, что не было, не сумел. / Я – ничего взамен» [5. С. 31]. В стихах, начинающихся со строки Л. Коэна, «я» как будто продолжает жизнь иного сознания: «Я слышал леса сильный хор, / я подошёл к нему, как вор, / и нёс с собой одну лишь тьму слепую» («Я слышал леса сильный хор...») [5. С. 45]. Так же в метаморфозах местоимений через игру слов совершается переход из одного пространства в другое: «А строка не линия, а окно, и за ней темно, и она не она – оно, / оно не сплюшь и не дышь, и не врёшь, не ждёшь, / в воздушном сыром трамвае едешь по сентябрю, и дождь» («Черновик») [5. С. 27].

Образ собственного мышления отрефлексирован. С одной стороны, это чистая игра воображения, когда «разум видит без опоры зренья» («Вторжение») [11. С. 104], с другой – резонанс с прихотью стихий (искусно представленной). Воображение работает как раскрывающийся веер – как расширение окоёма и спектра ассоциаций: «У меня из глаз идут два огромных веера, / а когда уходят вниз – ветер всё сметает» («Чтобы кровь текла, на то есть уставы...») [5. С. 19]; «Город как веер. Это почти Китай. / Здесь инфантильно, банально, больно, ветreno и никак» («Черновик») [5. С. 27]. «Веер» и «ветер» – не только родство корней, их объединяет мотив движения как трепета души. Классический образ ветра как мировой стихии ассоциируется с ускользающим от форм и модусов сознанием – оно одновременно ощущается в себе, наблюдается извне и стремится к расширению: «Ветер в воротах гор. / Ветер во всех воротах. / Это душа. Она не знает покоя. / Я её не ишу. Она

исчезает. / Из берегов в праберега уходит» («Праберега») [11. С. 78]. Образ стихии становится антропологическим определением: «Вот человек. Он *неподвижный ветер.* / Это всего лишь схема, где будет слово» («Что это было – лилии ли, трава ли...») [5. С. 59]. «Схема» – это метафора-оксюморон «неподвижный ветер», но слова в ней так же летучи и стремительны в своих превращениях, как и ветер. Пример: «Увидела во сне стихи про сне <...> и наступает день, когда я тень» («Стихи про сне») [5. С. 29]. Цель игры в превращения – «достать словами неслова» («Так вот я кто. Не камень, не зола...») [5. С. 62], т.е. создать особую смысловую ауру, охватывающую весь спектр метаморфоз, приблизиться к ощущению некоей атмосферы, пронизанной таинством сверхзначимости всего и вся. Недоговорённость – состояние рассеянной, но ощутимой энергии осмыслинности всего – предстаёт сокровенным свойством мира: «Ветку – ветреную подружку, / да слова неизвестно чьи / вспомнит ветер, безлюдем полон» («Девочки и солнечный ветер...») [5. С. 69]. Трепетное и просветлённое сознание – как мировая душа – пронизывает пространство и находит отклик в сердце поэта.

Эстетика неопределенности, как и мышление, – вне антitez, бинарных оппозиций и каких-либо жёстких конструкций. Когда мир воспринимается как открытие, исключена любая предвзятость. Так пейзаж неухоженного городского пространства, «беспризорного предместья», обретает статус самобытности, когда поэт охватывает его движением своего взгляда: «Два пьяных движут инвалида / к кирпичной четырёхэтажке. / Лежит кроссовок. В нём обида. / Полуоткрытый, бесшабашный. / По деревянному предместью, / где нет ни тленья, ни сиянья, / а только дар неповторенъя / и светлый пар непониманъя» («По Встречной, по Первоначальной...») [5. С. 14]. Так же чудесно развернётся метафора «имя лодки» как синтез двух условностей – неназываемого «имени» и таинственной «небесной лодки», которая совсем не похожа на полумесяц. Идеальный образ неуловим: «имя чудесной лодки / будет нам вместо брода, / вместо вина и моста, / вместо плата и хлеба» («Имя лодки») [5. С. 9], но его миссия сверхзначима: «на берегу печали / не береги печали – / не уступай молчанию / слова преображенъя» [5. С. 9]. Неопределенное по содержанию, неноминативное слово определяется по функции – оно опора для существования в безбрежности и пространства, и творческого состояния. В finale метафора как будто получает экспрессивное имя – это «чудо», но и оно преображается в нечто неназываемое: «Чудо моё, останься. / Смотрит, не исчезает. / Будто с небесной лодки / смотрит. Не исчезает» [5. С. 10]. Оказывается, «чудо» не соединяется с «небесной лодкой», а присутствует вне формы – оно абсолютно независимо и все-таки откликается, поэтому благодатно.

Незаданность мышления проявляется в несистемном решении главных мировоззренческих вопросов: так вера не религиозна, но имманентна поэтическому сознанию. Бог включён в общий контекст бытия, отношение к нему ситуативно. В первом сборнике «Жалоба холода и ее прекращение» отрефлексирован переход от наива изначального анимизма к спору с высшей силой – источником дара: «Раньше верила древу и древым богам, / тогда читала грозу по слогам. <...> Ты молчишь, ты не можешь быть. / Чтобы ты совсем не пропал, / пока я в силах тебя творить, / буду за тебя говорить / со мной»

[18. С. 80–81]. Местоимения, обозначающие испытывающую, но провиденциальную силу, пишутся малыми буквами, но образ лестницы – стиха и медиатора – очевидно мистический: «Лестница сбрасывает меня, / рвет и терзает, как малый зверь, / но нет зверя сильнее огня, / и нет укуса светлей огня, / и нет пути быстрее огня, / и нет потемок истинней тех, / куда он гонит меня» [18. С. 81]. В стихах о непрочности, призрачности видимого мира – его фундаментальной неопределённости и потому неопределяемости в словах – роль Вседержителя сводится к одному из образов: «Вот Пантохратор стоит на шкафу, / стоит наверху и исходит в труху / и держит всё то, что исходит в труху» («Она догорает, и падает свет...») [11. С. 99]. В стихах-мольбах о спасении детей («Детское море») есть обращение «боже», но оно завершается не смиренением, но упрёком-упованием: «Не делай с ними то, что ты сделал с нами» [5. С. 10].

В отличие от тематики рефлексии, эмоциональный тон лирики Е. Боярских отличается ясностью, глубиной, силой и тонкостью переживаний и в медитации, и в страстиах и в отчаянии. Чувства пронзительны, всеохватны и определённы – это любовь, печаль, восхищение, нежность, сострадание... Тоска расставания ассоциируется с образом отсечённой ветки: «Под спудом, под гневом улик и обид / фантомная ветка горит» («Ветка») [5. С. 43]. Но и тут восприятие мира безмерно-подвижно: «и нет ничего надо мной, подо мной – / один океан ледяной. <...> один / океан / золотой» [5. С. 43]. Примечательно, что переживание творчества головокружительно, связано не с полётом, а с купанием в безмерности: «я кувыркаюсь в воздухе через небо» («Голуби») [11. С. 12]. В игру классических органов чувств включаются интеллектуально-эвристические и вестибулярные ощущения. Так описано состояние самоопределения в мире – двуединое стремление к небу и земле в образе двукрылой птицы: «Выбор сделан... их два <...> Перевёрнутой каруселью / завертелись, разорвались, / и одна накрывает землю, / а другая несётся вниз» [5. С. 70].

Неопределенность – состояние полноты существования, она не нуждается в отрицательной номинации, напротив – открывает простор для эвристического поиска. Поэтический принцип неопределенности создаёт духовное напряжение между неясностью объекта и несамотождественностью субъекта. Игра идёт как бы заново – в неустойчивом мире и почти без правил: поэт выигрывает, обретая самобытность, здешний мир, благодаря ему, раскрывается отзывчиво и непредсказуемо. Поэзия остаётся строительным элементом целого.

Литература

1. Аттали Ж. Краткая история будущего. СПб.: Питер, 2014. 288 с.
2. Назаретян А.П. Нелинейное будущее: Мегаисторические, синергетические и культурно-психологические предпосылки глобального прогнозирования. М.: МБА, 2013. 440 с.
3. Чухонцев О.Г. Выходящее из – уходящее за. М.: ОГИ, 2015. 86 с.
4. Родионов А. Звериный стиль. М.: Новое литературное обозрение, 2013. 112 с.
5. Боярских Е. Народные песни дождевых червей. New York: Ailuros Publishing, 2016. 73.
6. Франк Филипп. Философия науки: Связь между наукой и философией / пер. с англ.; общ. ред. Г.А. Курсанова. 2-е изд. М.: ЛКИ. 2007. 512 с. (Из наследия мировой философской мысли;

- философия науки.) [Электронный ресурс]. URL: <http://texts.news/filosofiya-nauki-knigi/nauka-metafizika-printsipe-16033.html> (дата обращения: 23.04.2017).
7. Пригожин И.Р. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой / И.Р. Пригожин, И. Стенгерс. М.: Книга по требованию, 2012. 430 с.
8. Корнилова Т.В. Принцип неопределенности в психологии: основания и проблемы [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. науч. журн. 2010. № 3 (11). URL: <http://psystudy.com/index.php/num/2010n3-11/320-kornilova11.html> (дата обращения: 23.04.2017).
9. Ямпольский М. «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 688 с.
10. Шейнина Е.Я. Энциклопедия символов. Москва: ООО «Издательство АСТ»; Харьков: ООО «Торсинг», 2003. 591 с.
11. Боярских Е.Г. Женщина из Кимея. М.: Время, 2009. 128 с.
12. Боярских Е. Палеоветер: [Малая проза]. М.: Культурная революция, 2015. 128 с.
13. Маяковский В.В. Избранные произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1963. Т. 1. 668 с.
14. Бродский И. Пейзаж с наводнением. Нью-Йорк: Ардис, 1996. 207 с.
15. Абдуллаев Е. В поисках поступка: Шесть поэтических сборников 2016 г. // Дружба народов. 2017. № 3 [Электронный ресурс]. URL: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2017/3/v-poiskah-postupka.html> (дата обращения: 03.08.2017).
16. Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени // Знамя. 1998. № 1. С. 5–106.
17. Зубова Л.В. Языки современной поэзии. М.: Новое литературное обозрение, 2010. 384 с.
18. Боярских Е.Г. Dagaz. М., 2005. 96 с.
19. Кукулин И. «Останемся живыми голосами»: поэзия Екатерины Боярских // Боярских Е.Г. Dagaz. М., 2005. С. 5–11.
20. Хайдеггер М. Что такое метафизика? Время и бытие: Статьи и выступления. М.: Республика, 1993. С. 16–27.

THE INDETERMINACY PRINCIPLE IN THE APPLICATION TO CATHERINE BOYARSKIKH'S POETIC MENTALITY

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2017. 50. 209–223. DOI: 10.17223/19986645/50/14

Irina I. Plekhanova, Irkutsk State University (Irkutsk, Russian Federation).
E-mail: oembox@yandex.ru

Keywords: E. Boyarskikh, extra-discursive thinking, indeterminacy principle, interdisciplinary methodology, new poetic consciousness.

The lyrics of Catherine Boyarskikh are considered as an expression of a new trend – the development of an extra-discursive thought pattern. The acquisition of a new language, the overcoming of cultural predetermination of the world perception, of the recurrence of associations, of philological reflection over form are the aim of the extra-discursive thought pattern. The interdisciplinary approach allows characterising the combination of the indeterminacy of lyrical self-consciousness and the indistinguishability of phenomena as a poetic expression of a non-classical world view, as an artistic version of the indeterminacy principle.

The indeterminacy principle is used in non-classical physics as an assumption of inaccuracy of one of their simultaneous measurements – coordinates and kinetic momentum of particles. In psychology, this is a characteristic of the degree of tolerance of the individual to the instability of the world, which has already become universal in science, politics, and culture. It requires the distinctness of thinking and readiness for challenges. One of these challenges is the indeterminacy of meanings that modern art generates. The crisis of self-consciousness in the newest lyrics was expressed in the mistrust in the poet as an observer, participating in the determination and assertion of the content of life itself.

The works of E. Boyarskikh can be characterised as the development of the indeterminacy principle in poetic mentality. The difference from the physical principle lies in the instability of both the external reality and the lyrical self-consciousness of the poet. The first factor reflects the influence of

objective changes (the non-classical scientific world view) and the subjective worldview of E. Boyarskikh: she “forgot how to separate” the incomparable (“Fire is like happiness, a bridge is like anility”). The lyricism of pure consciousness and the identification of oneself with the vision are developed: “I came true, I forgot / and became a glance”. The artistic embodiment of the indeterminacy principle is diverse: the apophatic self-determination of the individual, language game, negative nominations, the antithesis of the title and the content of the poem, etc. The aim of the poet’s work is to see the world unbiased, new, holistic and in the dynamics of the transformation of meanings.

Indeterminacy as a theme and thought pattern converges with metaphysics: the object of comprehension is incomprehensible, the image of definition is non-naming, the way of saying is speech unpredictability. The aims are interdependent: the discovery of the unprecedented and self-determination in it, when questioning puts the questioner in question. The metaphysical direction in the lyrics developed at the end of the twentieth century, new poets (B. Ryzhiy, V. Pavlova, I. Ermakova, M. Stepanova, A. Rodionov, etc.) turned their faces to the living life – its physiology and organics. The place of E. Boyarskikh in this series is in the unity of the dully metaphysical thinking and the shrilly physical sensation of reality.

References

1. Attali, J. (2014) *Kratkaya istoriya budushchego* [A Brief History of the Future]. Translated from French. St. Petersburg: Piter.
2. Nazaretyan, A.P. (2013) *Nelineynoe budushchee. Megaistoricheskie, sinergeticheskie i kul’turno-psikhologicheskie predposyalki global’nogo prognozirovaniya* [Non-linear future. Mega-historical, synergetic and cultural-psychological prerequisites for global prediction]. Moscow: Izdatel’stvo MBA.
3. Chukhontsev, O.G. (2015) *Vyhodyashchee iz – ukhodyashchee za* [Leaving from – leaving for]. Moscow: OGI.
4. Rodionov, A. (2013) *Zverinyy stil'* [Animal style]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
5. Boyarskikh, E. (2016) *Narodnye pesni dozhdevykh chervey* [Folk songs of earthworms]. New York: Ailuros Publishing.
6. Frank, Ph. (2007) *Filosofiya nauki. Svyaz' mezhdu naukoy i filosofiyey* [Philosophy of Science. The connection between science and philosophy]. Translated from English. 2nd ed. Moscow: Izdatel’stvo LKI. [Online] Available from: <http://texts.news/filosofiya-nauki-knigi/nauka-metafizika-printsipte-16033.html>. (Accessed: 23.04.2017).
7. Prigozhin, I.R. & Stengers, I. (2012) *Poryadok iz khaosa: Novyy dialog cheloveka s prirodoy* [Order from Chaos: A New Dialogue between Man and Nature]. Moscow: Kniga po trebovaniyu.
8. Kornilova, T.V. (2010) The uncertainty principle in psychology: foundations and challenges. *Psikhologicheskie issledovaniya*. 3(11). [Online] Available from: <http://psystudy.com/index.php/num/2010n3-11/320-kornilova11.html>. (Accessed: 23.04.2017). (In Russian).
9. Yampol’skiy, M. (2010) “*Skvoz' tuskloe steklo*”: 20 glav o neopredelennosti” [“Through the dull glass”: 20 chapters on uncertainty]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
10. Sheynina, E.Ya. (2003) *Entsiklopediya simvolov* [Encyclopedia of symbols]. Moscow: OOO “Izdatel’stvo AST”; Kharkov: OOO “Torsing”.
11. Boyarskikh, E.G. (2009) *Zhenschina iz Kimeya* [A woman from Kimei]. Moscow: Vremya.
12. Boyarskikh, E. (2015) *Paleoveter: [Malaya proza]* [Paleowind: [Small prose]]. Moscow: Kul’turnaya revolyutsiya.
13. Mayakovskiy, V.V. (1963) *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works]. Vol. 1. Moscow; Leningrad: Sov. pisatel’.
14. Brodskiy, I. (1996) *Peyzazh s navodneniem* [Landscape with a flood]. N.Y.: Ardis.
15. Abdullaev, E. (2017) V poiskakh postupka. Shest’ poeticheskikh sbornikov 2016 g. [In search of a deed. Six Poetic Collections of 2016]. *Druzhba narodov*. 3. [Online] Available from: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2017/3/v-poiskah-postupka.html>. (Accessed: 3.08.2017).

16. Makanin, V. (1998) *Andegraund, ili Geroy nashego vremeni* [Underground, or Hero of Our Time]. *Znamya*. 1. pp. 5–106.
17. Zubova, L.V. (2010) *Yazyki sovremennoy poezii* [Languages of modern poetry]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
18. Boyarskikh, E.G. (2005) *Dagaz*. Moscow: OGI.
19. Kukulin, I. (2005) “Ostanemsya zhivymi golosami”: poeziya Ekateriny Boyarskikh [“Let us remain alive voices”: the poetry of Catherine Boyarskikh]. In: Boyarskikh, E.G. *Dagaz*. Moscow: OGI. pp. 5–11.
20. Heidegger, M. (1993) *Vremya i bytie: Stat'i i vystupleniya* [Time and Being: Articles and speeches]. Translated from German. Moscow: Respublika. pp. 16–27.

UDC 82.02

DOI: 10.17223/19986645/50/15

D.S. Tulyakov

«THE ATTEMPT AT OBJECTIVITY»: MODERNISM IN WYNDHAM LEWIS'S AUTOBIOGRAPHY

*The article considers Wyndham Lewis's autobiography *Blasting and Bombardiering* (1937) as an instrument for reassessing modernism and representing it to the wider readership of popular literature. Lewis's employment of autobiography to conceptualise modernism and position himself within/towards it is a step away from his criticism where modern subjectivity, historical approach to the self, and fictionalisation of autobiography are repudiated. Such change was motivated not only by Lewis's intention to make money on the audience's taste for autobiographies and at the same time raise his profile in the recent literary history. The choice of genre also reflects Lewis's post-war disillusionment with transformative yet detached modernism, with whose aesthetic standards the writer, nevertheless, wanted to maintain association. In this context, the populist intent of the autobiography can be seen as a means of rethinking the failed modernist attempt at objectivity. With the help of the form of autobiography, Lewis playfully subjects to detachment modernism itself, undermining the assumptions of its commitment to difficulty, elitism, and autonomy and highlighting the related tensions within his own aesthetics.*

Keywords: autobiography, modernism, Wyndham Lewis, popular literature, subjectivity.

1. Introduction

Modernist fiction stands in an ambiguous relationship to autobiography. One of the most prominent features of autobiography is its ability to account for the “inward realm of experience” of its author [1. P. 823], and the overall value and specificity of the genre are intrinsically connected with this “‘insider’ quality” [2. P. 5]. On the one hand, an emphasis on the inwardness of the experience is a key characteristic of modernist literature, or at least of some its best-known novels. Much of modernist fiction is considered in terms of the “inward turn” towards subjectivity and exploration of mental processes [3. P. 118–122]. On the other hand, the fact that the inward experience narrated in autobiography belongs to its author, who is, in this case, identical to the narrator and the protagonist [4. P. 5], means that the distance between a literary work and its creator is minimised. This distance, however, is no less a crucial feature of modernist literature than its supposed “inward turn” as one of the strongest associations of modernism is with artifice and aesthetic self-consciousness [5. P. 25]. Therefore, even when dealing with the “inward realm of experience,” modernists are expected to value sophisticated and oblique artistic forms rather than straightforward “autobiographical” narration about their own personal experience and emotions.

T.S. Eliot characteristically claims that “the more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates” [6. P. 21]. Emphasis on such separation does not define modernism in general but rather distinguishes the variety of modernism “based on highly antisubjectivist or impersonal poeties” [7. P. 27]. If what is common to the modernism of Ezra Pound, T.S. Eliot, Wyndham Lewis, and Joyce (or, in Lewis's famous coinage,

“the Men of 1914”) is their refusal to inquire into the self’s inner realm [8. P. 251], then it is hardly obvious why they had anything to do with autobiography, where such inquiry is natural and inevitable. The fact that Lewis was the only modernist of this group who not only disputed the extremities of subjectivism but also wrote autobiographies makes his place within this canon unique and requires explanation.

As a rule, a modernist engagement with autobiography is conceptualised in terms of literary experiment and movement away from the conventions of the genre. Max Saunders has recently argued for the great significance of autobiography in modernist and modern literature, claiming that “modern English literary history is shaped by its conflicting responses to life-writing” [9. P. 10]. His analysis of a broad range of authors including Marcel Proust, James Joyce, Gertrude Stein, and Ezra Pound shows that modernists criticised, reinvented, and played with autobiography in their fiction [Ibid. P. 293]. This is also true, perhaps, to a slightly lesser extent, with respect to modernist autobiography, which is generally taken to contest the received generic conventions and oppose the traditional narrative of the self’s development and fulfilment. Maria DiBattista and Emily O. Wittman observe that modernist autobiographies often focus on short periods of time instead of addressing the author’s life up to the point of writing, choose seemingly insignificant episodes for the narration, interfere with the sequence of events and chronology, disfigure the story by omissions and divagations, and “colonize” unfamiliar formats, such as travel writing and promotional materials [10]. Overall, modernists are expected to transform some received standard of autobiography into a characteristically unusual and challenging work by rethinking the concepts of the self and the personality, experimenting with style, narration, and genre of their life-writing.¹

However, privileging the most daring and original modernist life-writing does not account for autobiographies which, being written by a modernist artist and concerning modernism thematically, are less experimental or do not put formal innovation on display. This is the case with the first of Wyndham Lewis’s autobiographies, *Blasting and Bombardiering: Autobiography (1914–1926)* (1937), a book where the author examines his experience as a soldier and an artist in the years from 1914 to 1926². Although habitually quoted in the histories of English modernism and the studies of Lewis’s painting and writing, *Blasting and Bombardiering* has been seldom discussed in detail, perhaps, because of the very turn from the high modernist artistic experimentation to a more popular mode of expression it represents. Modernism and popular culture, however, were never mutually exclu-

¹ For instance, William Butler Yeats’s writings collected in volume *Autobiographies* (1955) represent the condition of “modernist fragmentation and alienation” of the individual [11. P. 76]; Gertrude Stein’s *Autobiography of Alice B. Toklas* (1933) effects a “major shift to modernist autobiography by eschewing the romantic conception of the autobiographical subject … to construct herself as a modernist work of art” [12. P. 177]; and H.D.’s memoir *Tribute to Freud* (1956) “refuses smoothness and linearity in favor of formal experimentation such as repetition, correction, juxtaposition, and an apparent randomness” [13. P. 254].

² Before *Blasting and Bombardiering*, Lewis published an untitled short piece about his early years as a writer in a collection of autobiographical essays by different authors, *Beginnings* (1935). In 1947 Lewis finished his second full-length autobiography, *Rude Assignment: A Narrative of my Career Up-to-Date* (1950).

sive and absorbed, influenced, and mediated each other in a variety of ways [14. P. 744]. In fact, Lewis's autobiography, which was addressed to a wide audience, appeared in the context of several "modernist memoirs" of the late 1920s and 1930s which sought to provoke a wider readership's interest in modernism by making the authors who insisted on impersonality and detachment look more personal and familiar [15. P. 37–38]. What makes Lewis's case special is that for him autobiography was not a forced concession to the mass literature of the day but rather a logical step in the development of his modernism.

As a rule, the critics of *Blasting and Bombardiering* focus on the selectivity and bias in Lewis's account of his past [16. P. 92; 17. P. 232], which are explained by his intention to attract the "ordinary" readers and to convince them that he is a no less important figure in the literary history than such better known modern writers as Pound, Joyce, or Eliot [18. P. 38–40; 19. P. 201–202]. However, Lewis's autobiography is more than a belated attempt at self-promotion and historical revision. It can also be interpreted as a satire on the history of modernism, which Lewis depicts as a movement so utopian and short-lived that, unable to make a real impact, it can only exist as a historical attraction [18. P. 74–76]. Drawing on Rosenquist's recognition of the satirical dimension in *Blasting and Bombardiering*, I argue that this autobiography is uniquely modernist because in it Lewis simultaneously elaborates his understanding of what the authentic modernism was supposed to be and challenges the viability of this conception under the present conditions. The genre of popularly written autobiography allows Lewis not only to promote himself and his account of modernism but also to achieve proper detachment from this movement. Thus, when reassessing modernism, Lewis both remains true to the key principle of detachment, which he locates in the writing of "the Men of 1914," and undermines it catering for the audience and pursuing his pragmatic goals.

The following section starts by considering Lewis's reflections on the problems concerning the modern self, subjectivity, and autobiography, all of which raise the question why Lewis decided to write a book of this genre. It is then argued that Lewis's relationship to his readership underwent a gradual change, which effected a shift from criticism to an autobiography whose pragmatic focus is in stark contrast with the principles expressed in this criticism. It is further suggested that Lewis, nevertheless, struggles to maintain continuity between the idea of modernism in his critical writings and his autobiography, which is why it is possible to interpret the latter as an important next stage in his evaluation of modernism, not just a book of self-promotion hastily written for the market. In sum, *Blasting and Bombardiering* is productively conflicted in that it produces a stereoscopic objectified assessment of modernism, allowing Lewis to locate himself both within and outside it.

2. Subjectivity and Autobiography in Lewis's Criticism

Much of Lewis's criticism published in the late 1920s and early 1930s is devoted to the problems concerning the modern self and its "peculiar condition of 'subjectivity'" [20. P. 103]. Although Lewis does not often associate his repudiation of the modern type of subjectivity with autobiography, his criticism implies a partial devaluation of the autobiographica 226as well. As a rule, Lewis mentions

autobiography in a negative context, as a manifestation of the deluded modern subjectivity and not as a valuable means of individual expression.

According to Lewis, the modern subject has recently undergone a major crisis: surrounded by the uniformity of the modern industrial, political, and cultural phenomena, people are no longer capable of holding stable and independent beliefs. The modern self is deprived of a viable public sphere and, therefore, restricted to its own mental world, which makes it not only limited but also highly suggestible and fundamentally inauthentic. To be a person under the conditions of modernity means to be a superficial product of the democratic promotion of individuality, which in fact is constantly being robbed of any freedom by stultifying industrialisation, deceptively impartial progress, ubiquitous advertisement, and run-of-the-mill production of mass culture and the media. The subjectivity peculiar to this condition is bound up with the inability to think outside the dominating system of thought, which makes a personal opinion the opposite of a truly personal expression. As a consequence of the industrial unification and the mass model of subjectivity imposed by it, "personal expression is recognized only on condition that it is agreed not to be the expression of a person, and that there is no person, in short, there at all" [21. P. 120].

Although Lewis is not in principle against personal or subjective expression, his criticism suggests that modernity leaves almost no place for an individual capable of such an expression. The possible exception is the artist, whose standpoint Lewis adopts to criticise modernity. The artist's subjectivity, however, is inseparable from impersonality [Ibid. P. 174] and, as Lewis at length explains in his essay "'Detachment' and the Fictionist," is channelled into art [Ibid. P. 227–230], not autobiography.

Lewis not only denounces the inauthentic subjectivity and the modernity it is contingent upon but also sketches a model of the self which is unaffected by the latter's adversary influence and can act with more independence. The self which can resist the suppressive impact of modernity and make its own use of it is a prerequisite of an artistic, or any profoundly creative, intelligence. Moreover, the self is of great significance not only to the artists but to everyone—to 'us'—because it is "our only terra firma in the boiling and shifting world," which "must cohere for us to be capable at all of behaving in any way but as mirror-images of alien realities" [22. P. 132]. Other than coherence, the ideal self is characterised by "consciousness and responsibility" [21. P. 130], reliance on intellect [20. P. 78–80], and a degree of individualism, which designates not "an individualist abortion, bellowing that it wants at all costs to 'express' itself", but "a constancy and consistency in being, as concretely as possible, one thing—at peace with itself, if not with the outer world" [23. P. 62]. Summarising Lewis's positive account of the self, Andrzej Gałiorek describes it as "structural and trans-historical", with an emphasis on "organisation, order, and stability" [24. P. 5–6]. The modern artist, then, is responsible for producing art which corresponds to this conception of a consistent and detached self.

Lewis did not expect autobiography to embody this vision of the self. On the contrary, when he set out to criticise the destructive tendencies in modern art and thought, subsuming them under one heading as manifestations of relativistic, dependent on fashion, passively receptive, artistically impotent, and subjectivist "Time-mind," he denigrated autobiography by saying that, along with history and

biography, it is “more truly than anything else, the proper expression of ... *chronological philosophy*” [22. P. XVIII]. Later on, Lewis makes his point about the connection between “Time-philosophy” and autobiography clearer in his discussion Proust. Lewis maintains that autobiography is similar to history, which is always selective, never impartial, and always ideological, because it is also “an account of the Past, seen through a temperament of certain complexion, and intended to influence its generation in this sense or in that” [Ibid. P. 247]. Moreover, the trouble with history, exacerbated by its scientific prestige, is that it can be easily presented and perceived as unconditional truth and thus can be used as an instrument of ideological manipulation akin to advertising. The same applies to autobiography, “the history of a person written by himself,” which is, essentially, merely “propaganda for all that the ‘time’-hero has favoured” [Ibid. P. 248]. In Proust’s novels, which Lewis considers his autobiographies, the author turned himself “into a historical personage” [22. P. 249]. What is wrong with such artistic method is that, according to Lewis, by valorising the subjectivity of the author’s past experience, the resulting work both misleads the reader and misrepresents its subject. Above all, Lewis declares Proust’s novel invalid as a work of art because its obsession with the past precludes creativity and removes it from the concerns of the present, making it hardly valuable for anyone but its author in his “private mental cave” [20. P. 103].

Lewis believed that if art was to offer a more penetrating and critical insight into the human self, it had to differ in method from autobiography. If the self is taken to be a solid, consistent and organised unity, then art, “a constant stronghold ... of the purest human consciousness” [Ibid. P. 23], can do justice to it better than a first-person historical account. This does not mean that autobiography is worthless, but, in Lewis’s view, such attempts as Proust’s to turn it into art (a novel) are destined to fail. For this reason, Lewis criticises Joyce’s *A Portrait of the Artist as a Young Man* (1916), claiming that because its author is “fundamentally autobiographical ... scrupulously and naturalistically so,” his accurate representation of his childhood and youth “is not promising material” [Ibid. P. 98]. Unlike Proust’s, Joyce’s “autobiographical” book is not accused of being propaganda of the subjectivist viewpoint. This time Lewis criticises the autobiographical element of the novel for stimulating what he sees as passively copyist attitude in Joyce’s writing.

It bears repeating that Lewis’s rejection of autobiography is far from wholesale. In fact, it concerns not autobiography as a genre, but mostly the uncritical and inartistic use of a romanticised history of the author’s life in a work of fiction. In a similar vein, when Lewis opposes “*chronological philosophy*,” he wishes not to entirely cross out the history of the humanity, but to endorse a rational account of it where past is not merged with present, remaining “a Past in which events and people stand in an imaginative perspective, a *dead* people we do not interfere with, but whose integrity we respect” [Ibid. P. 223].

Surprisingly, Lewis begins *Blasting and Bombardiering* not by reiterating this carefully maintained difference between autobiography and art but, on the contrary, by claiming that any autobiography is inescapably “a kind of novel” and that he is merely the “hero” of his [25. P. 1]. Thereby, from the outset of Lewis takes an approach which, according to his own criteria, is most likely to result in an inaccurate and deceptive picture of his personality and past, not unlike the one exemplified

fied in Proust’s fiction. Even if the autobiography did not misrepresent its author, as, according to Lewis, Joyce’s book does not, it would only be an inferior novel hardly worth the artist’s effort.

Thus, *Blasting and Bombardiering* is written against some of its author’s ideas concerning the self and modern art as its most productive form of expression. Lewis seems to write an autobiography despite his conviction that it is likely to be just bad art; that excessive attention to one’s subjectivity deforms the self instead of reinforcing its essential integrity; that writing a history, including the history of one’s self, is an ideological act.

This contradiction can be explained if we consider *Blasting and Bombardiering* not as something created for aesthetic appreciation but as an instrument of promotion of its author and his conception of modernism. In this case, the autobiography’s shortcomings as a novel, which Lewis was ready to admit,¹ turn into the features that provide its author with the opportunities to create publicity for himself and at the same time address the intricacies of literary modernism.

3.“Becoming a ‘Popular’ Author”

It is accepted that Lewis’s principal intention in *Blasting and Bombardiering* was to give an account of modern art and literature in 1914–1926 that would emphasise his significance within it. Critics agree that the autobiography was a reaction to the neglect Lewis faced after the war, lagging behind the better-known modernist writers like Joyce or Eliot [18, 19, 27]. To correct this underestimation, Lewis turns his autobiography from a book of gossip stories and reminiscences about his famous contemporaries [28] into a “project of retrospective reconstruction” [19. P. 202] aimed at recovering his pre-war artistic reputation and revisiting, alongside his personal experience, the history of modernist literature. This project involved many difficulties because Lewis wanted to restore some of his faded avant-garde fame while at the same time conveying his disillusionment with pre-war attempts at truly transformative revolutionary art and to occupy an honourable place alongside Pound, Eliot, and Joyce in the literary history while retaining the position of an independent artist and critic of modernism outside the fashionable mainstream. However, what is remarkable is not only the trouble Lewis took to make his uneasy case [18. P. 39–40], but also his turn from intellectually demanding criticism to autobiography, which, as the foregoing analysis suggests, contradicts the stance Lewis had earlier taken towards subjectivity, art, and autobiography. The following section traces the process which eventually led Lewis to addressing the unsophisticated readership of autobiographies.

In *Blasting and Bombardiering*, Lewis famously notes: “It is somewhat depressing to consider how as an artist one is always holding the mirror up to politics without knowing it” [25. P. 4]. It is a perfect expression of Lewis’s profound disenchantment with the modernist art after the First World War. Incapable of enacting radical social and cultural change, which was the ultimate objective of Lewis’s pre-war avant-garde movement Vorticism and on which he insisted harder than

¹ In a letter to Julian Symons, Lewis wrote: “Very naturally, a page of a novel, such as *The Revenge for Love*, takes me as long to write as twenty pages of *Blasting and Bombardiering*—except where the latter demands more formal attention” [26. P. 247].

ever in the post-war pamphlet *Caliph's Design* (1919), art is defined here as a mere reflection of what it is unable to alter. By this Lewis did not mean that art should be abandoned altogether, only that this limitation has to be recognised and considered if modernism was to retain anything of the revolutionary drive which had brought it to life. This is why in the late 1920s and early 1930s Lewis works out “‘critical’ modernism,” accusing the advanced contemporary authors of practicing art “that simply offered ‘new styles’, or that, pretending to rebel against the conformism of the bourgeois society, was actually saturated with regressive and imitative ideology” [29. P. 126–127].

Lewis repeated that his criticism was written not for the highbrow public, but for “the general educated man or woman” (Lewis 1993: xi). His aim was to propose a system which would allow them “to read any work of art presented to them, and, resisting the skilful blandishments of the fictionist ... understand the ideologic or philosophical basis of these confusing entertainments” [20. P. 109]. By the time Lewis was working on his autobiography, however, he became sceptical about the possibility of such enlightenment. He acknowledged that his criticism “treated of topics which only a handful of people in England know or care anything about” and noted: “I might as well have been talking to myself all that time” [25. P. 5].

It is more likely that by “all that time” Lewis means his period of increased philosophical and critical activity in the late 1920s and early 1930s rather than all his career up to the moment of writing. Still, if we consider this early avant-garde phase as well, the dynamics of Lewis’s relationships with his readership may be roughly sketched as follows. In the Vorticist journal *BLAST* (1914–1915) Lewis proclaimed that the modern art he was bringing to England “will not appeal to any particular class, but to the fundamental and popular instincts in every class and description of people” and this way will “make individuals, wherever found” [30. P. 25]. Vorticism was not an art to be appreciated by an already existing audience; it was supposed to elevate the most promising people from the audience by transforming them into the only state that makes such appreciation possible—into individuals. Lewis expected his later criticism to fulfil a task similar to the function he had earlier ascribed to art (although it is important to remember that *BLAST* was a “review” which contained criticism as well as art and fiction). For instance, in the introduction to *The Art of Being Ruled* (1926) Lewis states that this book “is not written for an audience already there, prepared to receive it, and whose minds it will fit like a glove” and, therefore, it “must of necessity create its own audience” [31. P. 13]. *Blasting and Bombardiering*, then, marks Lewis’s refusal to attempt to transform his readership into a critically informed audience of independently thinking individuals by means of political, philosophical, and literary criticism. Lewis declares that in his autobiography he leaves his sophistication aside in order to convey his first-hand experience: “Life is what I have gone out to get in this book” [25. P. 4].

Indeed, *Blasting and Bombardiering* is not a manual for exposing the workings of ideology, although the story Lewis tells is partially about its pervasiveness, as the remark about art mirroring the politics shows. Instead, by “becoming a ‘popular’ author” [Ibid. P. 5], an autobiographer, Lewis wanted to talk to the audience in such a way that they would finally listen. His objective was to make sense of modernism and of his involvement with it and to communicate this sense to the com-

mon reader. This aim required a reversal of his previous critical approach because this time Lewis did not need to arm his readers against unwilling acceptance of received judgements. On the contrary, he made a great effort to persuade the readers of his autobiography that his understanding of modernism is informed, accurate, and should be trusted unconditionally. Lewis promises to "fix for an alien posterity some of the main features of this movement. No one is better fitted to do so ... I was at its heart. In some cases I was *it*" [25. P. 257]. Thus, Lewis presents his subjectivity not as a handicap, but as a guarantee of trustworthiness of his account of modernism. The reader is supposed to take Lewis's word for it, not recognise its historicism, which he criticises elsewhere for being propaganda.

4. Detachment and the Autobiographer

Curiously, while claiming to be as close to modernism as possible and using this claim to assume narrative authority, Lewis insists that his autobiography is based on the principles of detachment and order, which are foundational in his conception of the organised and independent self and in his idea of modernist art. In the introduction, Lewis explains that he is focusing on the war and the post-war periods because they are over and "can be written about with detachment, as things past and done with" [Ibid. P. 2]. One of the purposes of the book, then, is to "get away from war," writing about which autobiographically "may be the best way to shake the accursed thing off, by putting it in its place, as an unseemly joke" [25. P. 4]. For Lewis, the war is "a magnet" and the post-war is its "magnetic field" [25. P. 307], which should be neutralized with the help of proper "inspection" and "revision" and "a principle of order" [Ibid. P. 6]. Likewise, the modernism of Pound Joyce, Eliot, and Lewis—according to the latter, the most significant writers of their generation—is claimed to stem from detachment: "What I think history will say about the 'Men of 1914' is that they represent an attempt to get away from romantic art back into classical art, away from political propaganda back into the detachment of true literature" [Ibid. P. 252]. Thus, Lewis equates the artistic efforts of the modernists with his own intentions in *Blasting and Bombardiering*, representing both his autobiography and the modernist art as attempts to achieve detachment from the politics and the world of thoughtless "action" [25. P. 266].

Lewis also points out that the principles which underlie his autobiography are in line with his specific modernist strategies. For instance, Lewis's statement that he is "a fanatic for the externality of things" [25. P. 9] alludes to the theory of satire and the "*external approach*" [23. P. 103], which he discussed in *Men without Art* (1934). Also referring to his criticism, in the last chapter Lewis reminds the readers about his hostility to "time-philosophy" and apologises for his "inveterate obtuseness where all that is historic and chronological is concerned. It is because I cannot see things as *biography*" [25. P. 272]. This statement contradicts Lewis's earlier definition of his autobiography as "self-history" [Ibid. P. 7] or "private history" [Ibid.. P. 19] and is hardly justified by the autobiography itself, in which the author is obsessed with separating "his own career and 'epoch' ... into periods" [18. P. 40]. Nevertheless, these remarks show that Lewis made a great effort to foster a continuity between the autobiography and the modernism that preceded it.

This asserted continuity, however, is maintained in a peculiar way. Deborah Parsons, observing that in *Blasting and Bombardiering* Lewis attempts to create

“an at least *formally* ‘impersonal’ autobiography, in which the past is presented less through subjective ‘reminiscences’ than the relation of externally focused scenes and conversations,” is quick to add the book is “in actual fact anything but impersonal” [19. P. 201]. Indeed, in the beginning of his autobiography, Lewis establishes a conversational narrative tone, asks the reader to permit him “a certain informality” [25. P. 8], and performs accordingly throughout most of the book. The function of this informality, however, is not so much to diminish the distance between the author and the reader as it is to defamiliarise the experience presented in the autobiography. It has been suggested that Lewis approaches his war memories “from a detached and ironic point of view” [32. P. 76] and that carelessness and occasional sarcasm of Lewis’s recollections may, in fact, mask a trauma [33. P. 20; 34. P. 50–52]¹. Lewis was able to establish ironic distance from his expired avant-garde personas, including the “leader of the ‘Great London Vortex’” [25. P. 35–40], the society “lion” [Ibid. P. 50–53], and “the ‘author of *Tarr*’” [Ibid. P. 89–95], by employing a tone of familiarity very different from the high modernist impersonal tone one might expect.

The strategy of self-distancing, however, suggests that the aim of *Blasting and Bombardiering* is not only to create another public persona for its author while expressing a profound disillusionment with artistic avant-gardism and scepticism about ideology critique. The genre of autobiography also allows Lewis to assess modernist art from an outside, non-highbrow and unambitious point of view. More specifically, Lewis uses his book to simultaneously make a key claim about modernism and illustrate it. The claim is that after the war “artistic expression has slipped back into political propaganda and romance,” making first-rate modernist art no longer possible [Ibid. P. 252]. *Blasting and Bombardiering*, an artist’s autobiography, is a demonstration of this impossibility: “The attempt at objectivity has failed. The subjectivity of the majority is back again” [Ibidem].

Even though Lewis insists that truly modernist art, which would appeal to the public and transform the society while remaining sufficiently detached from its dominant ideology, was a utopia, his employment of the autobiographical implies that *Blasting and Bombardiering* is itself somewhat modernist. If it is impossible to get “away from political propaganda back into the detachment of true literature,” as “the Men of 1914” were struggling to do, then what should be objectified and evaluated with detachment is this failed modernist project itself. Lewis’s autobiography serves exactly this purpose as it avoids both the elitist complexity of some of Lewis’s critical works and the highbrow idiosyncratic style of his fiction. The autobiography, thus, communicates Lewis’s critical vision of modernism to the general readership in ‘their’ genre, both emphasising this movement’s unfulfilled significance and revealing its limitations.

¹ In his memories of war Lewis cultivates an image of himself as an emotionally uninvolved observer who “experienced none of the conscience-prickings and soul-searchings, none of the subtle anguish” of the other writers about the war [25. P. 8] and instead “filled the notebook with Stendhalian observations” [25. P. 53] and read Proudhon in the trenches [Ibid. P. 152]. It does not mean, though, that Lewis did not recognize the human tragedy of what happened, even if at first it had not been obvious to him [Ibid. P. 63].

5. Conclusion

Blasting and Bombardiering is a peculiar instance of modernist autobiography where most features typically defined as modernist are absent. This autobiography is not an “assault on traditional notions of what a self, indeed what life, is” [10. P. XII] because Lewis believed that such an assault, which he also recognised in the writing of his modernist peers, is harmful to the self and should be resisted. Nevertheless, the most remarkable feature of Lewis’s autobiography—its unexpected adjustment to the readership of mass literature—does not follow from the elaborate critique Lewis proposed in the late 1920s and early 1930s. Neither Lewis’s conception of the consistent, detached, and independent self nor his conviction that a valid modernism must be an objective artistic expression opposed to propaganda and capable of advancing actual social change can help to explain his sudden turn to autobiography.

One way to look at the unsophistication of *Blasting and Bombardiering* is to interpret it as a gesture against the experimentalism of the modernisms which, unlike his own, managed to gain popularity and appreciation. On the pragmatic level, Lewis may have written his autobiography to foreground his role as one of the modernism’s originators and to earn more money by attracting an audience wider than the readership of his criticism and fiction. It may help to explain why Lewis decided to write a biased history of himself despite the fact that in his own estimation it would only amount to a second-rate novel exhibiting all the weaknesses of the “chronological philosophy.” At the same time, Lewis’s intention was also to conceptualise and soberly reassess modernism, which was nipped in the bud by the First World War and therefore had not been able to fulfil its objective to forge an aesthetics of detachment and independence. In this context, Lewis’s choice of the genre may be considered as a self-reflexive commentary about the unattainability of these highbrow modernist aspirations and the necessity of a more direct address to a less sophisticated reader.

The concept of detachment, which binds together Lewis’s conception of the self and of modernist art, is also crucial in his autobiography. Lewis invites his readers to see modernism as a thing “past and over” [25. P. 2] and this way re-enacts the modernist principle of detachment in an unusual context. Setting aside aesthetic innovation and nuanced ideology critique in order to write an autobiography, Lewis manages to achieve the ultimate detachment from modernism and occupy a position on its very edge. In *Blasting and Bombardiering*, Lewis at the same time moves away from the modernist practice and continues it by other means, criticises it for its futility and popularises its principles, proves it dead and brings it to life.

References

1. Weintraub, K.J. (1975) Autobiography and Historical Consciousness. *Critical Inquiry*. 1:4. pp. 821–848.
2. Marcus, L. (1994) *Auto/biographical Discourses: Criticism, Theory, Practice*. Manchester: Manchester University Press.
3. Conroy, M. (2014) Before the ‘Inward Turn’: Tracing Represented Thought in the French Novel (1800–1929). *Poetics Today*. 35:1–2. pp. 117–171.
4. Lejeune, P. (1975) *On Autobiography*. Translated from French by K. Leary. Minneapolis: University of Minnesota Press.

5. Bradbury, M. & McFarlane, J. (1976) The Name and Nature of Modernism. In: Bradbury, M. & McFarlane, J. (eds) *Modernism: 1890–1930*. Harmondsworth: Penguin.
6. Eliot, T.S. (1951) *Selected Essays*. London: Faber & Faber.
7. Eysteinsson, A. (1990) *The Concept of Modernism*. Ithaca: Cornell University Press.
8. Nicholls, P. (1995) *Modernisms: A Literary Guide*. Berkeley: University of California Press.
9. Saunders, M. (2010) *Self Impression: Life-writing, Autobiografiction, and the Forms of Modern Literature*. New York: Oxford University Press.
10. DiBattista, M. & Wittman, E.O. (2014) Modernism and Autobiography: Introduction. In: DiBattista, M. & Wittman, E.O. (eds) *Modernism and Autobiography*. New York: Cambridge University Press.
11. Gunzenhauser, B.J. (2001) Autobiography: General Survey. In: Jolly M. (ed.) *Encyclopedia of Life Writing: Autobiographical and Biographical Forms. Volume 1*. London et al.: Fitzroy Dearborn Publishers.
12. Barros, C.A. (1999) Getting Modern: The Autobiography of Alice B. Toklas. *Biography*. 22:2. pp. 177–208.
13. Kennedy, M. (2012) Modernist Autobiography, Hysterical Narrative, and the Unnavigable River: The Case of Freud and H.D. *Literature and Medicine*. 30:2. pp. 241–275.
14. Mao, D. & Walkowitz, R.L. (2008) The New Modernist Studies. *PMLA*. 123:3. pp. 737–48.
15. Rosenquist, R. (2013) Trusting Personality: Modernist Memoir and its Audience. In: Atttridge J. & Rosenquist, R. (eds) *Incredible Modernism: Literature, Trust and Deception*. Farnham: Ashgate.
16. Kenner, H. (1954) *Wyndham Lewis*. Norfolk: New Directions.
17. Meyers, J. (1980) *The Enemy: A Biography of Wyndham Lewis*. London: Routledge and Kegan Paul.
18. Rosenquist, R. (2009) *Modernism, the Market and the Institution of the New*. New York: Cambridge University Press.
19. Parsons, D. (2010) Remembrance/Reconstruction: Autobiography and the Men of 1914. In: (ed.) Walsh, M. *London, Modernism, and 1914*. Cambridge: Cambridge University Press.
20. Lewis, W. (1972) *Paleface: The Philosophy of the 'Melting-pot'*. New York: Gordon Press.
21. Lewis, W. (1989) *Creatures of Habit and Creatures of Change: Essays on Art, Literature and Society 1914–1956*. Santa Rosa: Black Sparrow Press.
22. Lewis, W. (1993) *Time and Western Man*. Santa Rosa: Black Sparrow Press.
23. Lewis, W. (1987) *Men without Art*. Santa Rosa: Black Sparrow Press.
24. Gašiorek, A. (1999) ‘The Cave-men of the New Mental Wilderness’: Wyndham Lewis and the Self in Modernity. *Wyndham Lewis Annual*. VI. pp. 3–20.
25. Lewis, W. (1937) *Blasting and Bombardiering*. London: Eyre & Spottiswoode.
26. Rose, W.K. (ed) (1963) *The Letters of Wyndham Lewis on Art*. Norfolk: New Directions.
27. Smith, T. R. (1997) Introduction. In: Lewis W. Preliminary Aside to the Reader; Regarding Gossip, and its Pitfalls. *Modernism/Modernity* 4:2. pp. 181–183.
28. Lewis, W. (1997) Preliminary Aside to the Reader; Regarding Gossip, and its Pitfalls. *Modernism/Modernity* 4:2. pp. 181–187.
29. Edwards, P. (1998) ‘It’s Time for Another War’: The Historical Unconscious and the Failure of Modernism. In: Corbett, D.P. (ed.) *Wyndham Lewis and the Art of Modern War*. Cambridge: Cambridge University Press.
30. Michel, W. & Fox, C.J. (eds) (1969) *Wyndham Lewis on Art*. New York: Funk & Wagnalls.
31. Lewis, W. (1989) *The Art of being Ruled*. Santa Rosa: Black Sparrow Press.
32. Hardegen, C. (1998) Wyndham Lewis’s First World War Art and Literature. In: Corbett, D.P. (ed.) *Wyndham Lewis and the Art of Modern War*. Cambridge: Cambridge University Press.
33. Wood, J. (2010) ‘A Long Chuckling Scream’: Wyndham Lewis, Fiction, and the First World War. *Journal of Wyndham Lewis Studies*. 1:1. pp. 19–42.
34. Einhaus, A. (2015) Lewis and War. In: Gašiorek A. & Waddell N. (eds) *Wyndham Lewis: A Critical Guide*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

«ПОПЫТКА БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫМ»: МОДЕРНИЗМ В АВТОБИОГРАФИИ УИНДЕМА ЛЬЮИСА.

Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. 50. 224–236.
DOI:10.17223/19986645/50/15

Дмитрий С. Туляков. Департамента иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Пермь). E-mail: dstuliakov@hse.ru

Ключевые слова: автобиография, модернизм, Уиндем Льюис, популярная литература, субъективность.

В представленной статье автобиография У. Льюиса «Подрывник и бомбардир» (1937) рассматривается как инструмент переоценки модернизма и его презентации для широкой аудитории читателей популярной литературы. То, что Льюис прибегает к жанру автобиографии, чтобы концептуализировать модернизм и занять позицию извне/изнутри него, свидетельствует об отходе автора от критики современного типа субъективности, исторического подхода к индивидуальности и функционализации автобиографии в других его работах. Эта перемена вызвана не только стремлением Льюиса заработать на популярности автобиографий и укрепить свое положение в истории современной литературы. Выбор, сделанный Льюисом в пользу автобиографии, отражает также его разочарование в идее революционного и в то же время беспристрастного модернизма, с высокими эстетическими стандартами которого автор тем не менее хотел сохранить взаимосвязь. В этом контексте установка автобиографии Льюиса на популяризацию может рассматриваться как переосмысление неудавшейся попытки модернистов достичь в своем творчестве эстетической объективности. При помощи автобиографии Льюис дает модернизму оценку со стороны, переворачивая модернистские установки на усложненность, элитарность и автономность и указывая на соответствующие противоречия в собственной эстетике.

В разделе «Субъективность и автобиография в критике Льюиса» на основе анализа рефлексии автора о субъективности (которая в условиях современности становится все более типизированной и проблематичной) и автобиографии (идеологизированной презентации «я», противоположной искусству) делается вывод, что обращение автора к этому жанру в определенной степени противоречит его собственным критическим установкам. В разделе «Превращаясь в “популярного” автора» рассматривается процесс постепенного изменения отношения Льюиса к его читательской аудитории, в результате которого автор переходит от критического письма к автобиографии, чьи pragmatische установки резко контрастируют с некоторыми принципами, изложенными в более ранних работах Льюиса. В разделе «Беспристрастность и автобиограф» показано, что Льюис тем не менее прилагает значительные усилия для того, чтобы выстроить взаимосвязь между своей критикой и автобиографией, что дает основания рассматривать «Подрывника и бомбардира» не только как книгу, наскоро написанную для удовлетворения читательского спроса на автобиографии, но и как серьезное концептуальное переосмысление модернизма.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АРСЕНТЬЕВА Елена Фридриховна – д-р филол. наук, профессор кафедры германской филологии Казанского (Приволжского) федерального университета.
E-mail: elenaarsentiewa@mail.ru

АРСЕНТЬЕВА Юлия Святославовна – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры иностранных языков в сфере экономики, бизнеса и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета.
E-mail: juliaarenat251@gmail.com

ВОЛКОВ Иван Олегович – аспирант кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.
E-mail: wolkoviv@gmail.com

ГОРЕНИНЦЕВА Валентина Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры романо-германской филологии Томского государственного университета.
E-mail: anatol_valya@mail.ru

ГУБАЙДУЛЛИНА Анастасия Николаевна – канд. филол. наук, доцент кафедры истории русской литературы XX века Томского государственного университета.
E-mail: gubgub@ngs.ru

ГЫНГАЗОВА Людмила Георгиевна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка Томского государственного университета.
E-mail: 4749@mail.tomsknet.ru

ДЕМЕШКИНА Татьяна Алексеевна – д-р филол. наук, зав. кафедрой русского языка Томского государственного университета.
E-mail: demeta@rambler.ru

ДУРЯГИН Павел Васильевич – канд. филол. наук, преподаватель школы лингвистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Москва).
E-mail: pavelustug@mail.ru

ЕРИШОВА Елизавета Юрьевна – мл. науч. сотр. лаборатории лингвистической антропологии, аспирант кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии Томского государственного университета.
E-mail: li-veta@list.ru

ЕФАНОВА Лариса Георгиевна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.

E-mail: efanova@sibmail.com

ЖИЛИКОВА Эмма Михайловна – д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Томского государственного университета.

E-mail: emmaluk@yandex.ru

ИВАНЦОВА Екатерина Вадимовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного университета.

E-mail: ekivancova@yandex.ru

КОВАЛЕВ Петр Александрович – д-р филол. наук, профессор кафедры русской литературы XX–XXI веков и истории зарубежной литературы Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева.

E-mail: kavalller@mail.ru

КОРОЛЕВА Светлана Борисовна – д-р филол. наук, доцент кафедры преподавания русского языка как родного и иностранного Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова.

E-mail: an.korolev@mflsoft.ru

МОРОЗОВА Ирина Сергеевна – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Пермь).

E-mail: ismorozo@rambler.ru

ПЛЕХАНОВА Ирина Иннокентьевна – д-р филол. наук, профессор кафедры новейшей русской литературы Иркутского государственного университета.

E-mail: oembox@yandex.ru

РЕЗАНОВА Зоя Ивановна – д-р филол. наук, зав. кафедрой общего, славяно-русского языкоznания и классической филологии Томского государственного университета; профессор кафедры русского языка как иностранного Томского политехнического университета.

E-mail: resso@rambler.ru / resso@mail.tsu.ru

СМОЛЬЯНИНА Елена Анатольевна – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г Пермь).

E-mail: elen3002@yandex.ru

СТРУКОВА Татьяна Викторовна – канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка и литературы Орловского государственного института культуры.

E-mail: tatynassss@mail.ru

ТУБАЛОВА Инна Витальевна – д-р филол. наук, профессор кафедры общего, славяно-русского языкоznания и классической филологии Томского государственного университета.

E-mail: tina09@inbox.ru

ТУЛИЯКОВ Дмитрий Сергеевич – канд. филол. наук, доцент департамента иностранных языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (г. Пермь).
E-mail: dstuliakov@hse.ru

УРМАНЧЕЕВА Ирина Серафимовна – канд. филол. наук, доцент кафедры филологического образования Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина.
E-mail: isurman@rambler.ru

ЧЕРНЯВСКАЯ Валерия Евгеньевна – д-р филол. наук, зав. научно-исследовательской лабораторией «Лингвистические технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
E-mail: tcherniavskaya@rambler.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер serialного издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединённом каталоге «Пресса России». Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philoogy>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе. Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philoogy>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2017. № 50

Редактор *T.B. Зелева*

Редактор-переводчик *B.B. Каипур*

Оригинал-макет *Г.П. Орловой*

Дизайн обложки *Яна Якобсона* (проект «Пресс-интеграл»,
факультет журналистики ТГУ)

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

Подписано в печать 26.12.2017 г. Формат 70x100 $\frac{1}{16}$.

Печ. л. 15,0; усл. печ. л. 20,8; уч.-изд. л. 20,6.

Тираж 500 экз. Дата выхода в свет 12.01.2018 г. Заказ 2951. Цена свободная

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

ООО «Издательство ТГУ», 634029, г. Томск, ул. Никитина, 4

Журнал отпечатан на оборудовании Издательского Дома

Томского государственного университета,

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49

<http://publish.tsu.ru>; e-mail: rio.tsu@mail.ru